

Алексей Печкин-Шаурбин

Сувар



Как чувашии стали частью Руси

Алексей Печкин

**Сувар 3 Как Чуваши
стали частью Руси**

«Автор»

2026

Печкин А. В.

Сувар 3 Как Чувашки стали частью Руси / А. В. Печкин —
«Автор», 2026

1551 год. Триста лет назад их прадедов вырезали за то, что не покорились. Теперь на Волге Казанское ханство, и сувары правобережья снова живут между двух сил, которые берут с них ясак и людей. Сотник Ахплат едет с посольством к московскому царю — просить защиты и места в его войске. В дороге он получит бумагу, новое имя для своего народа и сына, который хочет только одного — отомстить. Впереди Свияжск, измена и прощение, мосты под огнём и осада Казани. Это книга о людях, которые выбрали сторону сами, — и о том, чего стоит такой выбор.

© Печкин А. В., 2026

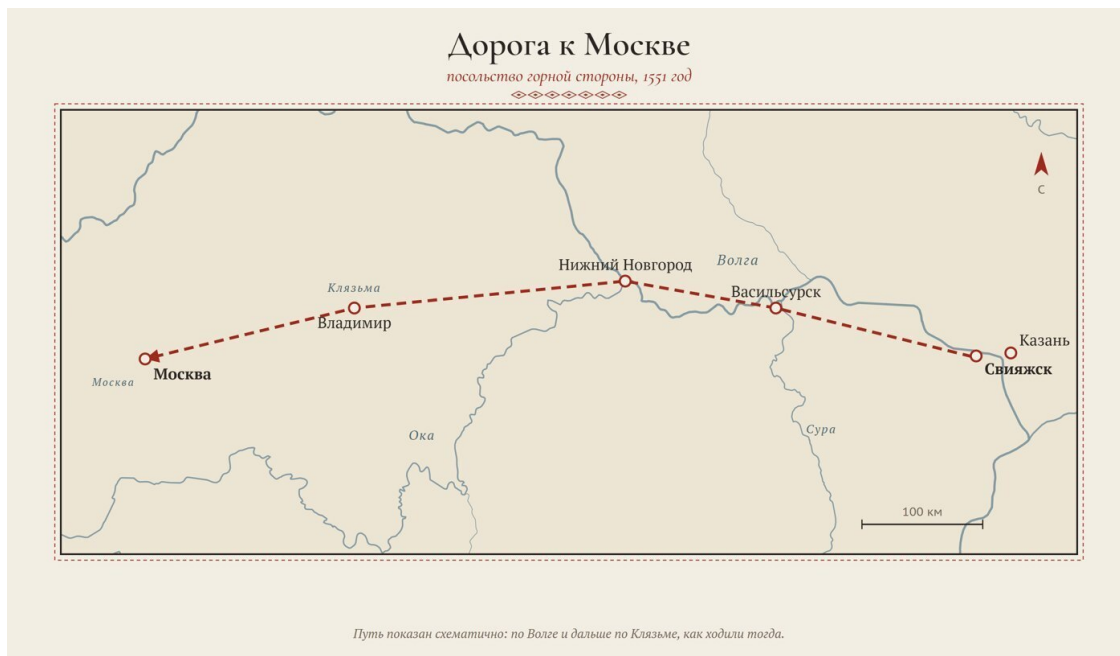
© Автор, 2026

Содержание

Карта	5
Часть I. Дорога к царю	6
Глава 1. Покажите свою правду	6
Глава 2. Монета на дорогу	14
Глава 3. Чьи вы и откуда	21
Глава 4. Пятьдесят живых	29
Глава 5. Брод на Савале	36
Глава 6. Сура	44
Глава 7. Муромский лес	51
Глава 8. До указа	58
Глава 9. Государь	65
Глава 10. Сено в Анаткасси	74
Глава 11. Курултай	82
Глава 12. Двое из девяти	89
Карта	98
Часть II. Подготовка	99
Глава 13. Одним словом	99
Глава 14. Ни одной деньги	106
Глава 15. Кислая ягода	113
Глава 16. Старые книги	120
Глава 17. Все изменили	127
Глава 18. Горшок	136
Глава 19. Стол на Суре	144
Глава 20. Мосты и гати	151
Глава 21. Арское поле	159
Глава 22. Землекопы	166
Глава 23. Хлеб слаще калача	173
Час	180
Конец ознакомительного фрагмента.	181

Сувар 3 Как Чуваши стали частью Руси

Карта



Дорога к Москве: путь посольства в 1551 году. Показан схематично.

Часть I. Дорога к царю

Глава 1. Покажите свою правду



Анчик. Стан у Круглой горы; Арское поле, июнь 1551 года

Стрел было тридцать.

Анчик высыпал их из колчана на рогожу, разложил по пяти в ряд и сосчитал. Потом собрал, сложил в колчан оперением вверх и высыпал снова. Опять тридцать. Колчан был берестяной, отцов, с новым дном, и береста на дне ещё не потемнела, и стрелы ложились в него с сухим стуком, как ложатся в корзину лучины.

— Ты их растеряешь до утра, — сказал Урга. — Сыплешь и сыплешь.

— Я считаю.

— Тридцать. Я отсюда вижу.

Урга сидел у соседнего огня на седле, снятом с коня, и резал хлеб. Хлеб был домашний, последний, круглый, уже каменный с одного бока, и Урга резал его на колене, от себя, толстыми ломтями, и первый ломоть отдал сыну, а второй не взял сам, а положил на седло рядом.

Сыну было восемнадцать, звали его Тимеш, и лук у него был новый. Лук ему клеили всю весну, в Анаткасси «Нижнем конце», у старого Кашмана, который клеит луки на три села и берёт за это мёдом, и тетива на нём была свежая, жильная, и когда Тимеш натягивал её пальцем и отпускал, она пахла клеем. Тимеш натягивал и нюхал. Он делал это весь вечер.

— Перестань, — сказал Урга. — Порвёшь.

— Не порву.

— Порвёшь — новую тебе здесь никто не сошьёт.

Тимеш положил лук на колени и взялся за хлеб.

Стан стоял под новыми стенами. Стены были из брёвен, высокие, в два человеческих роста, и ещё выше башни, и всё это стояло там, где в прошлую осень был лес и голая макушка горы, по которой пасли коз. Про это в сёлах говорили всю весну и не верили, пока не видели. Анчик видел: гору, лес и потом, в конце мая, дым. Первым они увидели не город, а чужой пожар — русские на лодках сходили вверх, к Хусан «Казани», и пожгли у них посад, и дым стоял над той стороной Атӑл «Волги» два дня, и его было видно с их холмов. Отец тогда сказал: «Ну вот». И больше ничего.

Потом отец ездил с другими сотниками к хану, которого привезли русские, и отвёз мёд, и говорил там не он, а мурзы, и они вернулись присягнувшими. Анчик не видел, как присягали. Он видел, как отец вернулся, слез с коня, долго стоял у ворот и потом пошёл в избу, не расседлав.

Теперь вот стан.

Сотня пришла сюда два дня назад. Сотня — это было слово, а людей было двадцать пять: по двое с каждого из одиннадцати десятков, и Тимеш сверх, потому что пошёл с отцом, и отец, *çĕрнĕ* «сотник», и Анчик. Отец спросил на сходе, кто пойдёт. Десятники выбирали сами, и отец не спорил ни с одним. Только про Тимеша сказал: «Молодой». Урга ответил: «Я при нём». И всё.

Из Хыркасси «Соснового конца» пришли шестеро, и среди них Пайтуш, который смеялся всю дорогу. Из Ыӗлкӗс «Родника», своего села, — двенадцать, и среди них Ямаш и Уйпулат, соседи через плетень, и Элмен, который в прошлую осень женился и всё время об этом говорил. Из Анаткасси — пятеро с Ургой и Тимешем. Анчик знал всех. Он знал всех с детства, и это было странно: знать человека с детства и видеть, как он точит топор на чужом камне под чужой стеной.

* * *

Под вечер пришёл служилый.

Он был русский, в длинном кафтане, пешком, и с ним было двое стрельцов с пищалями на плечах и толмач. Толмача Анчик знал в лицо — его видели в городе, его звали Юшка, он был из казанских, крещёный, и говорил по-суварски так, будто вырос через овраг. Служилый встал у костров, развернул бумагу и стал читать.

Читал он долго и ровно, не повышая голоса. Анчик слушал. В Москве он пробыл когда-то полгода и выучил там слов тридцать, а может сорок, если считать с руганью, и теперь ловил знакомые. «Государь» он поймал. «Казань» поймал. Остальное шло мимо, одним ручьём.

В конце служилый поднял голову от бумаги и сказал громче, как будто это было главное и для этого он и пришёл:

— Покажите свою правду.

Юшка кашлянул.

— Идите воевать Хусан, — перевёл он.

— И всё? — спросил кто-то сзади.

— И всё, — сказал Юшка. — Он просто длинно говорит. Они там все длинно говорят, им за это платят.

Кто-то засмеялся. Служилый посмотрел на Юшку, Юшка сделал лицо, как будто перевёл слово в слово, и служилый свернул бумагу и пошёл к следующему огню, где стояла сотня с Савал «Цивиля», и там начал сначала. Было слышно: «государь... Казань...».

Отец сидел на корточках у огня. Он не встал, когда читали, и не встал, когда ушли.

— Что значит «правду»? — спросил Анчик.

— Значит — пойдём, — сказал отец. — Спи.

* * *

Анчик не спал.

Он лежал на рогоже и считал стрелы наощупь, не вынимая, по оперению — они торчали из колчана, как пучок сухой травы, и их можно было тронуть по одной. Тридцать. Он думал, что будет, если он за весь день не выпустит ни одной: тогда их останется тридцать, и это будет стыдно. Потом думал, что будет, если он выпустит все: тогда их не останется, и это тоже будет что-то, только непонятно что.

В Москве он был в двадцать лет. Их послали двоих, его и Ургу, с Тугаева схода — был такой сход, у старого Тугая, в зиму, и оттуда послали просить у русских, чтобы пришли и взяли их под себя, потому что казанские берут, а защитить не могут. Анчика послали, потому что он был быстрый и неженатый, а Ургу — потому что Урга был тихий и не пил. Они шли по снегу месяц. В Москве их поставили на двор и держали там полгода, кормили, и за полгода Анчик выучил тридцать слов и научился свистеть по-русски, в два пальца, так, что у хозяйки на дворе вздрагивала корова. Потом был пожар, и они вернулись.

Там, в Москве, Урга сказал ему одну вещь, когда им на яму не дали свежих лошадей, а русскому гонцу рядом дали.

«Он государев, — сказал тогда Урга. — А мы — ничьи».

Анчик тогда обиделся, а Урга не обиделся. Урга вообще не обижался.

Теперь они были чьи-то, и за это надо было идти через реку.

У соседнего огня Урга лежал на боку, а Тимеш сидел и всё-таки трогал тетиву, тихо, одним пальцем, чтобы не звенела. Урга не открывая глаз сказал:

— Спи.

— Не хочется.

— Никому не хочется, — сказал Урга. — Ляг и лежи. Лежать тоже отдых.

Тимеш лёг.

* * *

Их подняли за полночь.

Лодки были русские, большие, чёрные от смолы, с высокими бортами, и в каждую садилось человек по двадцать, и гребли в них русские гребцы, а сувары сидели на дне между банками, поджав колени, с луками на коленях. Отец сел на корму рядом с кормщиком. Анчик сел у отцовых ног.

Вода была тёплая и пахла тиной. Весла шли тяжело и ровно, в двенадцать вёсел, и гребцы не говорили ничего, только старший иногда говорил одно слово, и они все разом делали что-то с вёслами, и лодка поворачивала. Было темно, но не совсем: с севера, над лесом, небо так и не потемнело до конца, как бывает в июне, и было видно чужие плечи и край борта.

Там, куда они плыли, была Луговая сторона. Материн берег.

Мать была оттуда, луговая, и двадцать пять лет назад отец взял её из деревни вверх по реке, и там у Анчика был дядя, материн брат, и двоюродные, которых он видел раза три в жизни. Анчик подумал, где сейчас дядя: спит, наверно. Подумал, знает ли дядя, что они плывут. Подумал, что если дядя знает, то...

— Держи, — сказал отец.

Весло у ближнего гребца выскочило из уключины, и гребец зашипел, и Анчик вскочил и помог его вправить, и потом гребец дал ему весло подержать, пока перевязывал уключину ремнём, и Анчик держал, и лодку тянуло вбок, и он грёб один, неумело, и старший на носу сказал что-то злое, и гребец отобрал весло.

Когда Анчик сел обратно, он уже не думал про дядю.

* * *

К рассвету они шли.

Шли долго — от реки через луга, через мокрую низину, где хлюпало по щиколотку, через редкий лес, и опять лугами, — толпой, по сотням, у каждой сотни свой сотник впереди. Сотен было много. Анчик пробовал сосчитать, сколько, и не смог, потому что их не видно было все сразу: одни шли впереди за бугром, другие сзади в лесу. С Савала, с Сёве «Свияги», из-за Кубни, со всех сторон Горной стороны. Люди были одеты так же, как свои, и говорили так же, только по-другому тянули слова, и Анчик слушал, как тянут, и это было смешно, и он не смеялся.

Позади шли конные. Русские, дети боярские, в стёганных кафтанах и в железе, с саблями, с луками в саадаках. С ними — другие, в халатах и в высоких шапках: казанские князья, из тех, что ушли к хану, которого привезли русские. Они ехали шагом, и за ними шли кони в поводу, и у каждого было по два коня.

Анчик оглянулся на них раз. Потом оглянулся ещё.

Конные смотрели не туда, куда смотрели сувары. Сувары смотрели вперёд, на лес и на поле за лесом. Конные смотрели на сувар.

— Не оглядывайся, — сказал отец, не поворачивая головы.

— Они смотрят.

— Пусть смотрят. На то они и сзади.

Лес кончился.

Поле было ровное и длинное, с короткой травой, выбитой скотом, и по краю его шёл тын — посад, — а за тыном стояла стена, и над стеной — башни, крыши, и над крышами ещё одна стена, выше, и тонкие высокие верхушки, каких Анчик не видел нигде, даже в Москве: мечети. Всё это было серое и розовое в первом солнце, и из-за стены поднимался дым — не пожар, а обычный, утренний, от печей. Там пекли хлеб.

Сотни остановились и стали разбираться. Кричали. Сотники ходили вдоль своих и ставили их кучами.

Отец поставил свою сотню у края, возле низкой межи, по которой шли старые конские следы. Встал перед ними. Он был невысокий, широкий, в стёганой шубе, хотя было тепло, и с луком в левой руке, и левую руку он держал чуть не так, как правую, — она у него плохо гнулась с тех пор, как его в молодости придавило конём, — и Анчик смотрел на эту руку.

— Выйдут конные, — сказал отец. — Бейте по коням. Не по людям — по коням. Конь больше.

— Коня жалко, — сказал Пайтуш.

— Себя пожалей, — сказал отец. — Держитесь кучей. Кто отбился — того объедут и срубят. За конными не бегайте. Они побегут — вы стойте. Они для того и бегут.

Он помолчал, посмотрел на всех по очереди, как смотрят на дворы, когда считают, и сказал:

— Всё.

Анчик вынул первую стрелу. Он хотел положить её на тетиву, чтобы была готова, и не смог с первого раза: стрела соскочила. Он положил снова. Во рту было сухо, как будто он ел золу. Он хотел сплюнуть и не смог, нечем было.

Тимеш рядом натягивал тетиву пальцем и не нюхал.

* * *

Ворота открылись без звука — их не было слышно отсюда, — и из них вышли конные.

Сначала их было немного, десятка три, и они шли рысью, растягиваясь, и солнце было у них за спиной, и Анчик видел сначала только пыль, потом тёмное, потом лошадиные ноги. Потом их стало больше. Они шли не прямо, а вбок, наискось, вдоль всего строя сотен, и когда были шагах в ста, сразу, все вместе, взяли луки.

Стрела упала в двух шагах от Анчика и встала в землю, дрожа.

Он смотрел на неё. Она была длинная, с серым оперением, и древко у неё было крашеное, красное у ушка.

— Бей! — крикнул отец.

Анчик натянул и пустил. Он не видел, куда. Он пустил и уже тащил вторую, и вторую пустил, и третью, а вокруг все тоже пускали, и над головой шёл звук, короткий и частый, как будто рвали холст, и конные уже поворачивали, уходили вбок, и одна лошадь шла без седока и волокла за собой повод.

— Кучей! — кричал отец. — Кучей держись!

Конные отошли, развернулись и пошли снова.

Это было так: они подсакивали, пускали стрелы на скаку, по одной или по две, и уходили, и пока уходили, их били в спины, и они уходили за пыль, и там собирались, и шли снова. Анчик понял это на третий раз. Он стал ждать, когда они повернут, и бить тогда, когда они будут боком, — большой конь боком, как стена. Он пустил и увидел, как конь присел на задние ноги и пошёл кругом, и всадник его бил, и конь всё шёл кругом.

Попал ли это он — он не знал. Он не знал этого никогда потом.

На четвёртый раз конные подошли ближе. Один конь проскочил в сажени от Анчика, вдоль их кучи, — Анчик видел белую пену у него на груди, мокрую шею, чёрный ремень под брюхом, стремя, сапог в стремени, — и в лицо ему ударило запахом конского пота, горячим и кислым, и конь ушёл, а Уйпулат рядом сидел на земле и держался за ногу. Потом встал. Сказал: «Ничего». И пошёл хромая.

Стрел в колчане стало меньше. Анчик это знал рукой.

Потом конные не вернулись.

Они ушли за пыль и дальше — к воротам, к посаду, — не развернувшись, кучей, быстро, и сотни вокруг закричали, и кто-то побежал за ними, и ещё кто-то, и вся толпа качнулась вперёд, как вода, когда поднимешь заслонку.

— Стой! — крикнул отец.

Его никто не слышал. Его и Анчик не слышал, он видел только, что отец открыл рот, а крик был общий, над всем полем, и в этом крике не было слов.

Анчик побежал.

Он не решал бежать. Он просто побежал вместе со всеми, потому что все бежали, и потому что стоять одному было нельзя, и потому что это было хорошо — бежать за теми, кто бежит от тебя. Это было как пьяный. Трава била по ногам, и колчан бил по спине, и рядом бежал Тимеш и что-то кричал, смеясь, и Пайтуш бежал впереди и махал топором, и Анчик тоже кричал, сам не зная что, и ему было легко.

Конные ушли в ворота посада, последний проскочил, и створку за ним стали тянуть изнутри, и не дотянули, и толпа добежала до тына. Кто-то лез на тын. Кто-то бил в створку топором. Анчик стоял у тына, шагах в двадцати от ворот, и тяжело дышал, и видел над тыном стену, серую, в брёвнах, и на стене людей.

Люди на стене не бегали. Они стояли и что-то делали руками.

* * *

Сначала прыгнула земля.

Анчик не понял, что это. Земля под ногами дёрнулась, как дёргается телега, когда колесо сходит с камня, и он переступил, чтобы не упасть. И только потом пришёл звук.

Звук был такой, как будто небо уронили на доски. Он был не в ушах, а везде — в груди, в зубах, в земле. Анчик присел. Он не решал приседать, он просто оказался на корточках, и в левом ухе у него стало тихо, совсем, как будто туда налили воды, а в правом звенело.

Над стеной стоял белый дым. Он стоял ровно и медленно расходился.

Потом прыгнуло ещё раз, и ещё, и пошёл треск — сухой, частый, как будто ломали хвост через колено, — и это было со стены, из пищалей, и над тыном потянуло дымом, и Анчик почувствовал запах, кислый и едкий, какого он не знал.

Тимеш лежал.

Он лежал в трёх шагах, лицом в траву, и лук был под ним, и одна нога была подогнута, и он не двигался. Анчик смотрел на него. Он видел его спину и затылок и больше ничего, и Тимеш был целый, и на нём ничего не было видно, только он лежал.

Потом все побежали обратно.

Это было так же, как вперёд, только наоборот, и так же без решения: толпа качнулась и пошла, и Анчик вскочил и побежал с ней. Он бежал и не чувствовал ног. Сзади снова прыгнуло, и перед ним, шагах в десяти, из земли поднялся столб травы и пыли и опал. Кто-то упал справа. Анчик не посмотрел кто.

Он бежал и видел впереди отцову спину.

Спина была широкая, в стёганой шубе, и она бежала. Отцу было сорок шесть лет, и он бежал тяжело, широко расставляя ноги, как бегают тяжёлые люди, и лук он держал в левой руке, в той, которая плохо гнулась, и держал его неправильно, за середину, как палку. Анчик видел эту спину. Он видел её все шагов двести, пока бежали, и потом, когда вспоминал этот день, видел её первой, раньше дыма и раньше Тимеша, — и ничего с этим не мог сделать.

Потом кто-то пробежал мимо него назад.

Анчик обернулся на бегу. Урга. Урга бежал обратно к тыну, против всех, один, и люди расступались перед ним и бежали дальше, а он бежал туда.

— Урга! — закричал Анчик. — Урга!

Он кричал, а своего голоса не слышал — левое ухо было глухое, а правое звенело, — и Урга не обернулся. Урга не обернулся ни разу.

Анчик остановился. Он стоял, и его толкали, и кто-то схватил его за рукав и дёрнул, и он вырвался, и смотрел.

Урга добежал до того места, где лежал Тимеш, и упал рядом на колени. Он взял сына за плечи и перевернул. Он не пытался его поднять. Он просто стоял на коленях и держал его, и наклонил голову, и так стоял.

Ворота посада опять открылись.

Из них вышли конные, немного, десяток, может, больше, и пошли рысью, и не по полю, а туда, к тыну, где стоял на коленях Урга. Они шли не торопясь. Им не надо было торопиться.

— Урга! — крикнул Анчик ещё раз.

Его дёрнули за рукав снова, сильно, так, что он развернулся, и это был отец. Отец держал его за рукав левой, плохой рукой, и лицо у отца было серое, и он ничего не сказал, а только дёрнул ещё раз, и Анчик побежал.

Последнее, что он видел, оглянувшись: Урга на коленях, маленький, у серого тына, и к нему идут конные, и первый уже близко. Потом бугор, и больше не видно.

* * *

У лодок стояли русские.

Они стояли кучкой на берегу, трое или четверо, в хороших кафтанах, и не помогали сталкивать лодки, а смотрели, как сувары бегут к воде и лезут в лодки через борт, в воду по колено, по пояс. Один держал в руке что-то вроде дощечки. Другой смотрел на поле, откуда бежали, прикрыв глаза ладонью.

Анчик пробежал мимо них в двух шагах. Тот, что с дощечкой, сказал другому что-то коротко и спокойно. Анчик разобрал одно слово, «пиши», — правым ухом, левое так и не слышало, — и ещё, кажется, число. Второй кивнул.

Потом Анчик был в воде, и вода была холодная, не как ночью, и кто-то втащил его в лодку за пояс, и он упал на дно между чужими ногами и лежал.

Лодка отвалила.

* * *

Гребли молча.

Анчик сидел на дне и смотрел на свои руки. Руки дрожали, и он зажал их между колен, и они дрожали там. Во рту была горечь, и его тошнило, и он не знал, от чего — то ли от воды, которой хлебнул, то ли от того кислого дыма. Он сглотнул и сидел.

Потом, чтобы что-то делать, он вытащил колчан из-за спины и посмотрел.

Стрел было четыре.

Он пересчитал. Четыре. Он не помнил, как пускал остальные. Он помнил первую, в пыль, и ту, что в коня боком, и больше не помнил ни одной. Двадцать шесть стрел ушли куда-то, и где они теперь лежат — в траве, в конях, в людях — он не знал и не узнает.

Отец сидел на корме, рядом с кормщиком, как ночью.

Он сидел, положив руки на колени, и когда лодка вышла на середину и перестали оглядываться, он поднял голову и стал считать.

Считал он вслух и негромко, по порядку дворов, как считают на сходе: сначала Ылкуп, от верхнего конца, потом Хыркасси, потом Анаткасси. Он говорил имя и смотрел туда, где сидел этот человек, и человек говорил «здесь» или поднимал руку, и отец шёл дальше. Люди были в двух лодках, и из второй, которая шла рядом, тоже отвечали, через воду.

— Ямаш.

Никто не ответил.

Отец подождал. Потом сказал следующее имя, и тот ответил, и отец пошёл дальше.

— Уйпулат.

Уйпулат сидел в соседней лодке с перетянутой ногой и поднял руку.

— Уйпулат, — сказал отец ещё раз, как будто записывал.

Он шёл дальше.

— Элмен.

Никто не ответил. Отец подождал.

Хыркасси. Пайтуш — никто не ответил. Отец подождал так же, как в первый раз, и сказал следующее. Потом Анаткасси. Один. Второй. Третий ответил из другой лодки. Отец сказал:

— Урга.

И замолчал.

Лодка шла. Гребцы гребли. Вода шла вдоль борта и журчала у кормы. Анчик смотрел на отца, а отец смотрел на свои руки, на колени.

— Тимеш, — сказал отец. И не стал ждать ответа, и не стал говорить дальше.

Он помолчал. Потом поднял голову и начал сначала:

— Ылкуп. Верхний конец...

Он снова шёл по дворам, по порядку, и называл, и ему отвечали те же самые люди теми же словами, и на Ямаше он снова подождал, и на Элмене, и на Пайтуше, и дошёл до Анаткасси, и назвал первого, и второго, и третьего, и сказал:

— Урга.

И снова остановился там же.

Кормщик посмотрел на него и ничего не сказал. Анчик сидел на дне, держал колчан с четырьмя стрелами и ждал, начнёт ли отец в третий раз.

Отец сидел и смотрел на воду. Потом разжал руки на коленях, снова их сложил, поднял голову и сказал:

— Ъӓлкус.

Глава 2. Монета на дорогу

Ахплат. Анаткасси; Ылкуп, конец июня 1551 года

Косили на нижнем лугу, всем Ылкуп «Родником», в один ряд.

Ахплат шёл пятым. Он косил каждый год и каждый год в общем ряду, хотя мог бы и не косить: *сёртуй* «сотнику» за то, что он раскладывает ясак, судит мелкое и ездит в город отвечать, село выкашивало его полосу само. Он косил, потому что, если не косить, то стоять у копён и смотреть, а смотреть он не любил. Коса у него была старая, отбитая с вечера, и шла хорошо, и он шёл за Ильмуком и не отставал.

Он считал.

В ряду было двадцать две косы, а в прошлый год — двадцать шесть. Ямаш косил всегда вторым, сразу за старшим, и шёл широко, и за ним оставался прокос в полторы косы. Элмен косил в хвосте и всё время останавливался, потому что говорил. Их не было. Их прокосы шли сейчас по траве ничьи, и в них вставляли бабы с граблями, и бабы косили не хуже, но реже, потому что за каждой бабой ещё двор.

Шестой десяток: было девять рук, стало восемь. Второй: было десять, стало девять. В Хыркасси «Сосновом конце» — у Пайтуша двое братьев, там рук хватит. В Анаткасси «Нижнем конце»...

Он дошёл до конца прокоса, повернул косу, провёл по ней брусом раз и другой и пошёл обратно.

В Анаткасси он не досчитал.

* * *

После полудня он пошёл туда пешком.

Анаткасси стоял ниже по реке, у дороги, двадцать три двора, и дорога шла через него насквозь, и поэтому в Анаткасси всегда всё узнавали первыми и первыми всё теряли. Двор Урги был третий от брода. Изба старая, крыша ещё крепкая, плетень кривой. Ворота стояли настежь. Их не закрыли, когда уходили, потому что Урга говорил, что к вечеру через два дня вернётся, а за два дня ничего не случится.

За два дня ничего и не случилось. Случилось за две недели: во двор зашла соседская корова и объела грядку с луком, а свиньи подрыли угол сарая.

Ахплат постоял у ворот.

Потом вошёл, выгнал из угла свинью, закрыл дверь в сарай, подпёр её колом. В избу не пошёл. Взял с плетня кусок старого лыка, ещё один нашёл на земле, свил вдвое, свёл створки ворот и увязал их снаружи крест-накрест, туго, чтобы скот не лез.

Узел вышел некрасивый. Он перевязал.

Соседка вышла со своего двора и встала у плетня. Её корова и объела лук. Она держала в руках горшок и не знала, куда его деть.

— Корову его я к себе взяла, — сказала она. — Доить некому.

— Держи у себя.

— Долго?

— Пока не скажут.

— Кто скажет?

Ахплат не ответил. Он подёргал узел, узел держал.

— Тимешу бы столб, — сказала соседка.

— Поставят.

— А Урге?

— Урге не знаю, — сказал Ахплат и пошёл дальше.

* * *

Дворов было четыре, и имён четыре.

Он ходил по ним до вечера. В каждом он входил, садился на лавку, если давали, а если не давали, стоял у двери, и говорил имя. Говорил сначала имя, потом «на поле перед Хусан «Казанью»», потом, где его видели последний раз. Больше он ничего не говорил, потому что больше ничего не знал.

Тел не привезли. Их никто не мог привезти.

У Ямаша была мать и две сестры. Мать сидела у печи и чистила репу и не остановилась, пока он говорил. Когда он замолчал, она положила репу в горшок и спросила: «Лук его где?» Он сказал, что лук остался там. Она кивнула и стала чистить следующую.

У Элмена была жена, молодая, с прошлой осени. Она стояла в сенях и держалась за косяк, и когда он сказал имя, она сказала: «Он говорил, что к сенокосу». И больше ничего не сказала, и он стоял, пока из избы не вышла её свекровь и не увела её.

В Хыркасси он пошёл вечером, через поле. У Пайтуша был отец и двое братьев, и отец выслушал, и сказал: «Смеялся?» — «Смеялся». — «Он всегда». И налил ему пива, и Ахплат выпил, стоя.

Сарый, *вунпй* «десятник» Хыркасси, встретил его у околицы. Он стоял у своего серого коня и чистил ему копыто.

— Пайтуша ты водил, — сказал Сарый.

— Я.

— Под пушки.

— Под пушки, — сказал Ахплат.

Сарый поставил копыто на землю и выпрямился. Он был моложе на тринадцать лет, выше на голову и смеялся громче всех в трёх сёлах, и зуб у него спереди был сломан. Сейчас он не смеялся.

— Казанский ты был, — сказал Сарый. — Двадцать лет с казанским сборщиком пиво пил. А теперь чей?

— Теперь присягнули.

— Ты присягнул.

— Все присягнули, — сказал Ахплат. — И ты.

— Я последний, — сказал Сарый. — Я, может, ещё подумаю.

Он поднял другое копыто. Ахплат постоял и пошёл обратно.

В Анаткасси был четвёртый двор — Урги. Туда он уже сходил. Там некому было говорить.

* * *

Вечером у Ахплата в избе сидел Амак.

Амаку было семьдесят шесть. Он был *юмйс* «хранитель имён» — помнил, кто чей, какой род откуда, кого как называли и кого как поминать, и на переключке осенью выкликала звал дворы, а Амак говорил роды, и никто ни разу не слышал, чтобы он сбился. Он плохо слышал на левое ухо и поворачивался к говорящему правым, и поэтому всегда сидел так, чтобы все были справа.

— Столбы в *юпа* «месяц столбов», — сказал Амак. — Четыре. Тел нет, значит, над пустыми скажут то, что над пустыми говорят.

— Четыре, — сказал Ахплат.

— Четыре, — сказал Амак.

— Урга, — сказала от печи Айвика.

Амак повернулся к ней правым ухом.

— Урга не убит, — сказал Ахплат. — Урга взят.

— Кто видел?

— Анчик видел. Он стоял на коленях, и к нему шли конные.

— Шли, — сказал Амак. — А дошли?

Ахплат молчал.

— Может, дошли и срубили. Может, взяли. Может, он встал и ушёл, — сказал Амак. — Ты не знаешь, и я не знаю. Анчик тоже не знает.

— Если взяли — он живой.

— Если взяли, — сказал Амак. — А если нет? Поставишь столб живому — плохо. Не поставишь мёртвому — тоже плохо.

— И что?

— Не знаем — значит, не называем, — сказал Амак. — Будет весть — назовём. Как надо будет, так и назовём.

Айвика поставила на стол миску и ничего больше не сказала.

* * *

Конный из города приехал на другой день к обеду.

Он был русский, сын боярский, в кафтане и в шапке с меховым околышем, хотя было жарко, и с ним был толмач — не тот Юшка, которого видели у костров, а молодой, рябой, из казанских, говоривший по-суварски медленно, как по льду. Конный с коня не слез. Толмач слез и стал у ворот.

— Воеводы велели, — сказал толмач. — Сотнику быть в городе. Будут писать, кто к государю поедет. От вас — сотник и кто при нём.

— Когда быть?

Толмач спросил конного. Конный сказал.

— Не мешкая.

— Это когда?

— Это сейчас, — сказал толмач. — У них всё не мешкая, а потом неделю сидишь.

Конный смотрел вверх ворот на двор, на избу, на Айвику у амбара. Он смотрел, как смотрят на чужой двор, когда прикидывают, сколько с него. Потом сказал ещё что-то, между делом, не глядя на Ахплата, и толмач перевёл так же, между делом:

— Он говорит, ваших на поле сто побито да полсотни взято. А положено — служили честно.

Ахплат кивнул.

Конный повернул коня. Толмач сел, и они поехали к Анаткасси и к дороге, и Ахплат стоял у ворот, пока не осела пыль.

Сто и полсотни. Это было на всех, на все сотни, что стояли в поле. Из них четверо — его. И пятый — неизвестно, в каком числе, в первом или во втором.

Он пошёл в амбар и стал помогать Айвике пересыпать прошлогоднее зерно.

* * *

Совет был вечером, в избе. Совет — это было громко сказано: Айвика, Анчик, Амак у печи, мать у стана. Дочь приходила из Хыркасси днём и ушла до сумерек, с малым на руках.

— Ехать, — сказала Айвика.

Она сказала это сразу, не спрашивая. Она была выше мужа на полголовы, и в избе ей приходилось наклоняться под полатами, и она наклонялась, не замечая. Рубаха на ней была с луговым узором, красным по белому, а на голове — *сурпан* «покрывало замужней», суварское. Двадцать пять лет она так носила. Бабы Сялкус за двадцать пять лет её узор так и не переняли — шили своё, как шили их матери, — а она их *сурпан* надела в первый же день и больше не снимала.

— Ехать, — сказала она. — Раз зовут — надо ехать. Не поедешь — другие поедут и скажут за тебя.

— Что везти?

Она стала считать. Считала она про себя, по-своему, по-луговому, чуть шевеля пальцами, — он это знал двадцать пять лет, — и потом говорила вслух уже по-суварски.

— Мёд. Два бочонка своих и сколько сотня даст. Меха — куницы в амбаре одиннадцать, бобёр два. Это на поминки. Хлеба на дорогу — сухарей два мешка, пшена мешок, толокна. Соль у нас есть на месяц. Коней — твой, Анчиков, в телегу пару. И два коня в поводу.

— Два — зачем?

— Поминки, — сказала Айвика. — Им там кони нужны. У них там все на конях, я видела.

— Где ты видела?

— В городе. Ты не смотрел, а я смотрела.

Анчик сидел на лавке у двери.

— Я поеду, — сказал он.

— Никто не спрашивал, — сказал Ахплат.

— Я дорогу знаю. Я там был.

— Пять лет назад.

— Дорога та же, — сказал Анчик. — Я знаю, где ямы, где броды. Я знаю, как с ними говорить. Я знаю слова.

— Тридцать, — сказал Ахплат.

— Сорок.

— С руганью.

— Ругань там тоже нужна, — сказал Анчик.

Амак у печи засмеялся — коротко, в бороду. Айвика не засмеялась. Она смотрела на сына, на то, как он сидит — на краю лавки, ногу поджал, как будто сейчас встанет и пойдёт, — и Ахплат видел, что она смотрит, и знал, о чём. Сын неделю ел плохо и спал плохо и два раза ночью вставал и выходил во двор. Про поле он рассказал один раз, коротко, и больше не рассказывал.

— Поедешь, — сказал Ахплат.

Анчик кивнул и не встал.

Ахплат положил руки на стол, левую поверх правой, — левая гнулась плохо, и он её так укладывал, чтобы не видно было, — и сказал то, что думал с того дня, как приехал конный:

— Раз к царю — скажу про девятерых.

Никто не спросил, про каких. В трёх сёлах это знали все.

Пять лет назад, в ту зиму, когда Анчик с Ургой ушли в Москву просить, чтобы русские пришли и взяли их под себя, девять мужиков из Анаткасси поехали с рыбой и шкурами на лёд, к устью Сёве «Свияги», на зимний торг. Туда пришли русские, с воеводами, на конях по льду, и взяли всех, кого нашли на торгу, — и своих, и чужих, и казанских, и из Анаткасси девятерых. Взяли и увели вверх по реке. И всё. Пять лет про них ничего не было: ни слуху, ни человека, ни костей. Анчик тогда был в Москве, просил за них за всех. А их в это время вели мимо, может, по той же дороге.

— Скажешь, — сказал Амак от печи. — А кто тебя слушать будет?

— Не знаю.

— Там мурзы будут говорить. Янтуду будет говорить.
— Пусть говорят, — сказал Ахплат. — Я своё скажу. Сзади. Тихо.
— Тихо там не слышно.
— Тогда громко, — сказал Ахплат.

* * *

Мать сидела у стана.

Эрнепи было семьдесят один. Она ткала каждый день, пока было светло, и стан у неё стоял у окна, и челнок ходил медленно, но ровно, и за двадцать пять лет, что Айвика жила в этой избе, Эрнепи ни разу не дала ей свой стан. На голове у неё был *хушпу* «шапка замужней» — высокая, шитая, с серебром по краю: обрезки серебра, старые монетки, бляшки, всё, что собралось в роду за столько лет, что никто не помнил, откуда что. Она носила его каждый день. Она говорила, что без него голове холодно.

Слева на хушпу, у края, висела одна монета, не такая, как другие. Гнутая. Она была больше остальных, тоньше, и согнута посередине, как будто на неё наступили, и письмо на ней было не наше, в завитках, а края стёрты до блеска. Ахплат помнил её с тех пор, как помнил мать. Его бабка носила её, и бабкина мать, говорили, тоже.

Эрнепи сняла руки со стана. Подняла их к голове и долго возилась с ниткой на левом краю, потом взяла со стана нож и перерезала нитку. Монета осталась у неё на ладони.

— На дорогу, — сказала она. — Там всё за серебро.

Ахплат не пошевелился.

— Бери, — сказала мать. — Не мне же её в Москву везти.

Он встал, подошёл и остановился перед станом. Мать не отдала ему монету сразу. Она смотрела на неё, повернула на ладони пальцем, как поворачивают уголёк.

— Эта монета из Великого города, — сказала она. — Когда его жгли, наши — сувары — оттуда вышли. Все вышли, кто успел. И монета на шапке вышла. Стрелу остановила — потому и гнутая.

— Кто жёг? — спросил Анчик от двери.

Он не вставал всё это время, а тут встал.

— С востока пришли, — сказала Эрнепи. — Их тогда как-то звали. Не помню.

— Как звали?

— Не помню, говорю, — сказала она. — Мне бабка говорила. Бабке — её бабка. Как звали, не говорили. Говорили — с востока. Жгли. Наши вышли.

Она помолчала, глядя на монету.

— А до того наши ещё больше были, — сказала она. — Это уже не бабка. Это старики Атнеровы говорили, когда я в этот двор пришла: в самом начале рода был Авитохол, и перед ним Рим ворота открывал.

— Что такое Рим? — спросил Анчик.

— Город, — сказала Эрнепи. — Больше Великого. Где-то там. — Она махнула рукой в сторону, где никто из них никогда не был.

Анчик смотрел на монету.

Амак у печи повернулся к ним правым ухом, послушал, пошевелил губами. Он тоже знал про Великий город. Все знали про Великий город: что он был, что большой, что сожгли. Больше про него не знал никто.

— Это давно было, — сказал Амак. — Кто жёг — тех давно нет.

Он сказал это не матери, а Анчику, и больше не сказал ничего. Никто не спросил, так ли всё было, как говорит Эрнепи, — вышли, не вышли, стрела или не стрела. Спросить было не у кого. Кто мог знать, те лежали под своими столбами, и на столбах были знаки, а не слова.

Эрнепи протянула руку.

Ахплат взял монету. Он взял её первый раз в жизни: до этого она всегда висела на матери, и трогать её было нельзя, как нельзя трогать чужую шапку. Она была тёплая с одной стороны, от головы, и холодная с другой. Он повертел её. Гнутая, как на неё наступили. По краю, где был изгиб, серебро было светлее.

Айвика подала ему шнурок, не спрашивая. Он продел шнурок в дырку, завязал и надел на шею, под рубаху. Монета легла на грудь, холодной стороной к телу, и он чувствовал её, пока она не согрелась.

— Спроси там, — сказала мать. — Знают ли про Великий город.

— Спрошу.

— Спроси. Они там всё пишут. Может, у них написано.

— Спрошу, — сказал Ахплат.

Он знал, что не спросит. Он даже не знал, как это сказать по-казански, а по-русски тем более: «Великий город» — а какой, где, когда? Там, в Москве, ему скажут про девятерых «потом» и про Великий город тоже «потом», и ему не хватит ни денег, ни слов на оба «потом». Он знал это и всё равно сказал «спрошу», потому что мать смотрела.

Мать кивнула и взялась за челнок. На хушпу слева теперь было пустое место и два обрывка нитки. Она их не заправила.

* * *

Сборы шли два дня.

Бочонки катили из Анаткасси и из Хыркасси, по одному с десятка, и Ахплат принимал их у ворот, как принимал ясак, и ставил метку на каждом углём: откуда. Из Хыркасси пришло два бочонка вместо трёх. Сарый прислал сказать, что третий у него худой, не довезут. Ахплат велел Анчику записать Хыркасси два и не спорить.

— А если спросят, почему два? — сказал Анчик.

— Кто спросит?

— Там.

— Там не спросят, — сказал Ахплат. — Там никто не знает, сколько дворов в Хыркасси. Это мы знаем.

Из Анаткасси с последним бочонком пришли люди с тех девяти дворов. Не все: пришли от шести, от троих не пришли, потому что в одном дворе никого не осталось, кроме старухи, а в двух ушли на покос. Они стояли у ворот и не входили. Ахплат вышел к ним сам.

— Скажу, — сказал он.

— Кому?

— Кто будет слушать.

Старший из них, отец Тойпулата, седой, в прожжённой шапке, достал из-за пазухи тряпицу и развернул. В тряпице была деревянная ложка, резаная, с конской головой на черенке.

— Его, — сказал он. — Если найдёшь — отдай. Он узнает.

Ахплат взял ложку и завернул обратно в ту же тряпицу. Другие смотрели. Ни у кого больше ничего с собой не было, и им было неловко, и они стояли.

— Имена скажи, — сказал Ахплат.

Они сказали, по порядку дворов, и он повторил за ними: Сэпит, Тойпулат, Янтуш, Ахтупай, Ильмаш, Айтуган, Энтимер, Тимкке, Сентти. Девять. Он повторил ещё раз, уже без них, и отец Тойпулата кивнул на каждое имя, как будто проверял.

— Все, — сказал он.

— Все, — сказал Ахплат.

Ложку он положил в мешок с сухарями, на дно, и потом, подумав, достал и переложил за пазуху.

Янтуду прислал через овраг человека сказать, что выезжает до света и ждать никого не будет, а кто хочет, пусть едет с ним. Янтуду-мурза жил через овраг двадцать лет, его отец жил там до него, женат он был на девушке из Анаткасси и говорил по-суварски лучше жены, и жена за это на него сердилась. С Ахплатом он пил пиво, а молился отдельно, у себя. В городе к государю звали его тоже.

Ехали пятеро: Ахплат, Анчик и трое с телегой и конями — Ильмук с Ыллу, у которого была лучшая пара на верхнем конце, и двое из Анаткасси, потому что у Анаткасси к царю было своё дело, и пусть Анаткасси видит сама.

* * *

До света у ворот было холодно и мокро.

Роса лежала на телеге, на бочонках, на рогожах, и кони стояли, опустив головы, и один переступал и звякал удилами. Айвика вынесла последний мешок и положила сверху, и Ахплат видел, что в мешке сверху, под завязкой, лежит свёрнутая белая рубаха — новая, неношенная. Он не стал спрашивать зачем.

Через овраг, на той стороне, горел огонь, и в огне было видно Янтуду на серой кобыле. Кобыла была тучная, и Янтуду был тучный, и вместе они были похожи на копну на ногах. Янтуду поднял руку и помахал.

Ахплат стал считать вслух.

Он считал так же, как считал ясак, когда его везли в Хусан: по порядку, называя, трогая рукой.

— Мёд — двенадцать бочонков. Десять от сотни, два своих. — Он тронул крайний. — Куниц одиннадцать. Бобров два. Сухарей два мешка. Пшено. Толотно. Соль. Котёл. Два коня в поводу, серая и гнедой. Анчиков. Мой. Пара в телеге.

— Двенадцать бочонков, — сказал Анчик.

— Двенадцать.

— А людей?

— Людей пять, — сказал Ахплат.

Он потрогал рубаху через ворот. Монета была там, согрелась, и он её не почувствовал сразу, а потом почувствовал.

— И девять, — сказал он.

Айвика стояла у ворот, держась за столб. Мать не вышла: у неё с утра не шли ноги. Амак не пришёл, потому что было рано, а Амак говорил, что провожают вечером, а утром только смотрят в спину.

— Езжай, — сказала Айвика.

Ахплат сел на коня. Левая рука, как всегда, не сразу нашла повод, и он взял его правой и переложил.

— Одиннадцать куниц, — сказал он ещё раз, для себя, и тронул коня.

Глава 3. Чьи вы и откуда



Ахплат. Город на Сёве, конец июня 1551 года, «лета 7059»

Брёвна в стене были мечены.

Ахплат увидел это не сразу. Он въехал в ворота, слез, отдал повод Ильмуку и пошёл пешком вдоль стены, потому что к избе, где писали, велели идти вдоль стены, и шёл, и смотрел себе под ноги, где была щепка и навоз, а потом поднял глаза. На каждом бревне, у торца, была зарубка. Где одна, где две, где крест, где крест и черта. Метки шли снизу вверх, по порядку, ряд за рядом, и в каждом углу начинались заново.

Так метят избу, когда её разбирают, чтобы перевезти. Он сам так метил, когда отец перевозил амбар с горелого места: каждое бревно своей меткой, чтобы потом сложить, как стояло. Только амбар был шесть венцов на шесть. А тут стена шла от реки до оврага и дальше, за угол, и вся была в метках, и башни были в метках, и Ахплат стоял и смотрел, и какой-то русский с бревном на плече обошёл его и что-то сказал.

— Сверху привезли, — сказал Янтуду. Он шёл сзади, пешком, и отдувался. — По воде. Там срубили, пометили, разобрали, сюда спустили и собрали. В четыре недели.

— Кто считал?

— Что считал?

— Брёвна, — сказал Ахплат. — Кто-то же считал.

Янтуду посмотрел на стену.

— Кто-то считал, — согласился он. — Хорошо считал. Ни одного лишнего.

Город пах новым деревом. Весь, от ворот до реки. Смолой, свежей щепой, сырой корой, и поверх всего — дымом, навозом, людьми. Улицы были, и их не было месяц назад: Ахплат помнил, как здесь рубили лес на склоне. Стояла церковь, деревянная, высокая, с крестом, и на ней висел колокол, и пока Ахплат шёл, колокол ударил раз и замолчал, просто так, без

причины, и никто на улице не повернул головы. Был торг: лавки в ряд, на лавках соль, железо, холст, и русские бабы у лавок, и суварские мужики, и казанские, и мордва.

— Соль почём? — спросил Ахплат у ближнего.

Ему сказали. Он пересчитал в уме на мёд. Выходило дороже, чем в Хусан «Казани» в прошлый год, и дешевле, чем в Хусан сейчас, — там, говорили, соль стала вдвое.

* * *

Изба, где писали, стояла у самой стены, новая, как всё, с крыльцом, и у крыльца была очередь.

Очередь была длинная и шла в два ряда вдоль стены избы и по улице, и стояли в ней сувары разных сотен — с Сёве «Свияги», из-за Кубни, с Савал «Цивилия», из лесов за Сяр «Сурой», — и мурзы с Горной стороны со своими людьми, и мурзы стояли отдельно, у крыльца, в тени, и им выносили квас. Суварам кваса не выносили. Сувары стояли на солнце и говорили о соли.

— Вдвое, — говорил кто-то. — Я тебе говорю — вдвое.

— Это в Хусан вдвое. А тут?

— Тут дешевле.

— Тут дешевле, а денег нет.

— Денег нет — мёдом бери.

— Мёдом не берут. Им деньги подавай, московские, с конём.

— С каким конём?

— На деньге конь, — сказал тот. — Сам видел. Конь, а на нём человек с копьём.

Ахплат встал в хвост. За ним встали Анчик и Янтуду. Янтуду, постояв, махнул рукой и пошёл к крыльцу, к мурзам, в тень, и Ахплат видел, как ему там подали квас.

Впереди стоял человек в хорошей шубе, с чеканным поясом, круглолицый, лет сорока пяти, и оглядывался, как оглядываются, когда ждут, что их узнают. Его узнали.

— Байдеряк, — сказал кто-то. — Ты же был уже.

— Был, — сказал человек в шубе. — Я за своими пришёл. Своих привёл.

— А тебя уже писали?

— Писали. — Байдеряк повернулся ко всем и расправил плечи. — Я записанный.

— Ну и как тебя записали?

Байдеряк сказал. Ахплат не понял. Байдеряк повторил медленно: имя, а за ним отцово имя, но не так, как говорят дома — «сын такого-то», — а по-другому, с хвостом.

— Барзаев, — сказал Байдеряк. — Отец был Барзай. А писарь написал — Барзаев. У них так. — Он оглядел очередь, проверяя, все ли слышали. — Я теперь Байдеряк Барзаев. Как русский.

— А отец знает?

— Отец умер, — сказал Байдеряк. — Ему всё равно.

Кто-то засмеялся. Байдеряк не обиделся; он был доволен. Он был сотник с Савала, и у него было, говорили, триста дворов, и его люди стояли на броду через Савал, и кто шёл на запад, тот его не миновал. Ахплат слышал про него давно, а видел первый раз.

— Ты откуда? — спросил Байдеряк, увидев, что Ахплат на него смотрит.

— С Сёве. С верховья, слева.

— Сколько дворов?

— Сто двенадцать.

— Мало, — сказал Байдеряк.

— Мне хватает.

— Сейчас хватает, — сказал Байдеряк. — Потом посмотрим.

Он отвернулся к своим. Очередь сдвинулась на шаг.

* * *

Ждали до полудня. Потом до после полудня.

Когда Ахплат взойшёл на крыльцо, у него затекли ноги и хотелось пить. В сенях было темно и прохладно, пахло чернилами и сырой глиной от печи, которую ещё не топили. Из сеней дверь была в избу, и дверь была открыта, и в избе за столом у окна сидел человек и писал.

Он сидел, наклонившись к бумаге так низко, что почти лёг на неё носом. Он был русский, лет тридцати пяти, в простом кафтане, с пятнами чернил на рукаве, и когда писал, водил головой вслед за пером. На столе лежала стопа бумаги, стояла чернильница, песочница, лежало несколько перьев, и стоял маленький окованный ящик с прорезью в крышке.

Рядом с ним, на лавке у стены, сидел Юшка. Тот самый, что переводил у костров. Он сидел, вытянув ноги, и ел сушёный горох из горсти.

— Следующий, — сказал Юшка по-суварски, не вставая. — А, знакомый. Живой?

— Живой, — сказал Ахплат.

— Вот и хорошо. Живых писать проще.

Писарь дописал строку, поднял голову и прищурился на Ахплата, как на дальнее. Лицо у него было усталое и простое, и глаза красные.

— Третьяк Ондреев, — сказал Юшка, показав подбородком. — Подьячий. Он пишет, я говорю. Ты отвечай, что спросят.

Третьяк обмакнул перо и спросил что-то короткое. Юшка перевёл, и перевёл не по-казански, а сразу по-суварски, как спрашивают дома у чужого на дороге:

— *Камӑн эсӗ, ӳҫтан?* «Чей ты и откуда?»

И Ахплат ответил так, как отвечают дома.

Он не думал, как отвечать. Так спрашивали его всю жизнь: на сходах, на свадьбах, на дороге, у чужих ворот, — и так он отвечал, и так отвечали все, и отец, и дед, и так было надо. Сначала имя. Потом чей сын. Потом из какого рода. Потом мать — из какого рода мать, — и бабка по матери, из какого рода она. Потом село, и какой конец, и на какой реке, и какая река в какую впадает, чтобы спрашивающий знал, куда ехать, если что.

— Ахплат, — сказал он. — Кёмелев сын. Из Атнеровых. Мать — Эрнепи, из Сакаровых, что с верхнего конца. Бабка по матери — из Урмаевых, с Сёве, с того берега. Ыӑлкуҫ «Родник», верхний конец. Речка наша в Сёве слева, два дня от устья конному...

Юшка переводил. Он переводил быстро, в полголоса, чуть отставая, и Ахплат слышал за своими словами русские — «сын», «мать», — и говорил дальше.

Третьяк поднял руку.

— Короче, — сказал он. — Кто таков?

Юшка перевёл одним словом:

— Короче.

Ахплат остановился.

Он стоял посреди избы и не знал, как короче. Короче было нельзя. Если сказать только имя — это как сказать «дерево» и не сказать, какое. Если сказать только село — это как сказать «лес». Он смотрел на Третьяка, и Третьяк смотрел на него, щурясь, с пером над бумагой, и перо ждало, и с пера набухала капля.

— Кто ты? — сказал Юшка, уже от себя, тише. — Одним словом. Ему одно слово надо. Одним словом.

Было одно слово. Его говорили редко — дома его не было нужно, дома все и так знали, кто они. Его говорили про себя, когда надо было сказать про всех сразу: про три села, про

Савал, про тех, за Сӑр, про тех, кто был раньше. Его говорили старики, когда вспоминали. Его говорила мать, когда сказала про Великий город: наши — сувары — оттуда вышли.

— Сувар, — сказал Ахплат.

Юшка кивнул, как кивают, когда слово знакомое, и сказал Третьяку по-казански, как привык говорить двадцать лет на казанских торгах:

— *Чуаш* «чуваши».

* * *

Третьяк писал долго.

Ахплат смотрел на перо. Слово он сказал короткое, одно, и Юшка передал его одним словом, ещё короче, — а перо шло и шло, от края к середине листа, и дальше, и остановилось, и Третьяк обмакнул его ещё раз и дописал. Ахплат чувствовал за спиной Анчика. Анчик стоял у двери и смотрел туда же, на перо, так, что Ахплат слышал, как он дышит.

— Что написано? — спросил Ахплат.

Юшка спросил Третьяка. Третьяк поднёс лист к самым глазам и прочитал вслух, ровно, для порядка:

— «Горние стороны черемиса, сотник Ахплатко Атнеров с товарищи».

Юшка перевёл. Ахплат слушал. Своего имени он сначала не узнал: оно было с хвостом, как у Байдеряка отцово.

— Ахплатко, — сказал Юшка. — Это ты. Это они так ласково. У них все так в бумаге — Ивашко, Федько. Не обижайся.

— Атнеров? — спросил Ахплат.

— Род, — сказал Юшка, послушав Третьяка. — Ты сказал род — он и написал.

— Атнер мне не отец.

Юшка перевёл. Третьяк поднял голову.

— А кто? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Ахплат. — Давно был. Род так зовут.

Юшка перевёл. Третьяк пожал плечами и опустил голову к листу.

— Ну так и будешь Атнеров, — сказал он.

Юшка перевёл и это, и добавил от себя:

— Хорошо ещё, что не Кёмелев. Кёмелева они бы переврали. А Атнеров — чисто.

Ахплат молчал. Он стоял и смотрел на лист, где было написано то, чего он не мог прочесть, и слушал то, что ему читали, и в этом прочитанном было «черемиса», было «Ахплатко», было «Атнеров», было «с товарищи», и не было ни Сӑлкуш, ни матери, ни реки, ни того одного слова, которое он сказал.

— Там нет того, что я сказал, — сказал он.

Юшка перевёл. Третьяк вздохнул.

— Черемиса горняя, — сказал он, не поднимая головы. — Так пишут.

— Черемиса — это луговые, — сказал Ахплат Юшке. — Это моя жена. Это за Атӑл «Волгой». Мы — нет.

— Ему всё равно, — сказал Юшка. — У него так в наказе. Горная сторона — черемиса горняя. Луговая — черемиса луговая. Ему так велели.

— Скажи ему.

— Что сказать?

— Сувар, — сказал Ахплат.

Юшка посмотрел на него. Потом повернулся к Третьяку и сказал, так же, как в первый раз, по-казански:

— *Чуаш*.

Третьяк положил перо.

Он сидел и тёр переносицу двумя пальцами, закрыв глаза, долго, как трут, когда устали смотреть на мелкое. За окном кричали у крыльца: кто-то лез без очереди. Юшка ел горох. Анчик у двери не дышал.

Потом Третьяк вздохнул, взял перо, обмакнул, наклонился к листу — так низко, что Ахплат перестал видеть его лицо, — и написал что-то над строкой, между строк, мелко, коротко. Подул. Поднёс лист к глазам и прочитал вслух:

— «Горные стороны черемиса, а по их — чуваша...»

Юшка перевёл. Перевёл он это последнее слово не переводя: сказал, как сказал Третьяк.

— Чуваша, — сказал Юшка. — Это ты. Это он твоё слово приписал. Не по форме, между прочим. Ему за это попадёт, если найдут.

Ахплат стоял.

Он слышал в этом слове своё. Оно было там — как бывает слышно своего коня в чужом табуне, по ржанию, не видя. Сувар — чуаш — чуваша. Его слово прошло через Юшкин рот и через Третьяково перо и вышло с другой стороны другим: пережёванным, с казанским хвостом и с русским, и всё-таки почти его. Если бы оно вышло совсем чужим, он бы спорил. Но оно вышло почти.

Поправить он не мог. Грамоте он не знал ни русской, ни казанской, ни какой. Он мог сказать ещё раз — «сувар», — и Юшка сказал бы ещё раз «чуаш», и Третьяк бы приписал ещё раз, и вышло бы то же самое, только два раза.

— Добро, — сказал Ахплат.

Юшка перевёл «добро». Третьяк кивнул, не поднимая головы, и дописал в строку что-то ещё, короткое.

— Сколько дворов? — спросил Юшка.

— Сто двенадцать.

— Сёл?

— Три.

Третьяк дописал. Ахплат видел, как перо поставило два знака и ещё два, и понял, что это числа. Числа были короткие. Сто двенадцать дворов вышли у него короче, чем «Атнеров».

* * *

— Следующий, — сказал Юшка.

Ахплат отошёл к стене и не вышел. Он ждал Янтуду, потому что Янтуду велел подождать.

Янтуду вошёл с крыльца, из тени, с мокрыми от кваса усами, и встал перед столом, как встают мурзы, — прямо, заложив руки за пояс. Третьяк прищурился на него, спросил, Юшка перевёл — уже не по-суварски, а по-казански, — и Янтуду ответил по-казански коротко, как отвечают, когда знают, как надо отвечать писарю: имя, отцово имя, земля. Он знал. Его и раньше писали, казанские.

Третьяк писал недолго.

— «Янтуду-мурза», — прочитал он и приписал ещё слово, и сказал, не Янтуду, а Юшке, как говорят о деле: — Татарин. Татар — в особый список, к столу выше.

Юшка перевёл Янтуду по-казански. Янтуду кивнул, как будто ему сказали, что дождь. Ахплату Юшка перевёл отдельно:

— Его — выше. Ты — ниже. Он татарин, ты чуваша. Так у них.

Янтуду посмотрел на Ахплата, чуть приподнял бровь и ничего не сказал.

Ахплат стоял у стены и думал, что вот и оба слова — и Янтуду своё, и он своё — получили из одного рта, одной рукой, в один день, у одного стола. И Янтуду своё, кажется, получил целым, а он своё — пережёванным. А может, и Янтуду тоже; Янтуду не скажет.

— С письма — пошлина, — сказал Юшка.

* * *

Пошлина была не с Янтуду: Янтуду уже заплатил, у крыльца, какому-то человеку с ящиком. Пошлина была с Ахплата.

— Сколько? — спросил Ахплат.

Юшка спросил. Третьяк сказал. Юшка перевёл число, и число было в московских деньгах, а московских денег у Ахплата не было ни одной. Были мёд в бочонках, куницы в мешке, два коня в поводу — у ворот, под Ильмуком, — и ничего такого, что лезет в прорезь ящика.

— Мёдом можно? — спросил он.

— Мёдом нельзя, — сказал Юшка. — У него ящик маленький. Бочонок не пролезет.

Янтуду у двери усмехнулся. Он полез было к поясу, где у него висела кожаная калита, — и Ахплат это увидел и покачал головой. Янтуду убрал руку.

Ахплат сунул пальцы за ворот рубахи и вытащил шнурок. Монета вышла на свет, тёплая, гнутая, и закачалась. Он снял шнурок через голову, развязал узел — узел завязывала Айвика, и развязывался он плохо, — снял монету и положил на стол, перед Третьяком, на край бумаги.

Третьяк взял её. Поднёс к глазам. Повертел. Положил на ладонь и подкинул немного, взвешивая.

— Не наша, — сказал он. — Гнутая.

Юшка перевёл.

— Серебро, — сказал Ахплат.

Юшка перевёл.

Третьяк ещё раз подкинул монету на ладони, как подкидывают, когда прикидывают.

— Серебро и гнутое серебро, — сказал он.

Юшка перевёл это и развёл руками: мол, так и есть, ничего не поделаешь.

— Хватит? — спросил Ахплат.

Третьяк не ответил. Он открыл ящик маленьким ключом, который висел у него на шнурке у пояса, положил монету внутрь — она звякнула обо что-то, — закрыл, повернул ключ. Потом взял перо и что-то пометил сбоку, на полях, мелко.

— Хватит, — сказал Юшка. — Сдачи не будет.

Ахплат постоял ещё. Шнурок остался у него в руке, пустой. Он свернул его и сунул за пазуху, туда, где лежала завёрнутая в тряпицу ложка с конской головой.

Сколько её носили — мать не знала, и бабка не знала. Её носили на шапке, и в голодные зимы её не меняли на зерно, и в пожары её выносили вместе с детьми. А здесь её взвесили на ладони и положили в ящик за одну строчку, и строчка была не про него, а про черемису.

— Пошли, — сказал он Анчику.

* * *

Вечером пошёл дождь, мелкий, тёплый.

Костры жгли под стеной, в загоне, где стояли обозы тех, кого писали. Сувары разных сотен сидели у своих огней, и мурзы у своих, в шатрах, и между огнями ходили русские — стрельцы, служилые, работники со стройки, — и смотрели, кто тут. У огня, где сидели Ахплат с Анчиком и Ильмук с анаткассинскими, остановились двое стрельцов, с пищалью под мышкой, чтобы не мокли фитили. Один сказал что-то и засмеялся. Второй сказал громче, в их сторону:

— Эй, чуваша! Огня дай!

Анчик вздрогнул. Ахплат тоже услышал.

Слово пришло к огню раньше, чем они. Третьяк написал его днём, в избе, над строкой, мелко, не по форме, — а вечером оно уже ходило по загону в чужих ртах, и стрельцы не знали, откуда оно, и им было всё равно. Ахплат сидел и смотрел на стрельца. Стрелец смотрел на него и ждал огня.

Ильмук поднял из костра головню и подал. Стрелец зажёг от неё фитиль, кивнул, сказал «спаси бог» — это Ахплат понял — и пошёл.

— Быстро они, — сказал Ильмук.

— Им надо как-то звать, — сказал Ахплат.

К ночи пришёл ещё один.

Он был высокий, долговязый, рыжеватый, в мокром кафтане и в мокрой шапке, и с шапки у него капало на нос, и он всё время вытирал нос рукавом. С ним был Юшка. Он подошёл к огню, снял шапку, стряхнул её, надел обратно и сказал что-то вежливо, с наклоном головы.

— Это Истома, — сказал Юшка. — Шелепов. Сын боярский. Пристав. Он с вашим обозом до Москвы пойдёт. Он говорит — добрый вечер.

— Добрый вечер, — сказал Ахплат.

Истома сел на корточки у огня, не спросив, и протянул к огню руки. Руки у него были длинные и красные от холода, хотя холода не было. Он сказал что-то ещё, долго.

— Говорит, — сказал Юшка, — выходите через три дня. Обоз большой: ваши, мурзы, стрельцы, дети боярские. Он при вас. Он говорит: держитесь при стрельцах. Татары вас по дороге ловить будут.

— Кто? — спросил Анчик.

— Татары, — сказал Юшка. — Казанские. Кто ж ещё.

Истома, услышав своё слово, кивнул и сказал ещё раз, прямо Анчику, отдельно, как говорят непонятливому:

— Та-та-ры.

И показал рукой на восток, туда, где за стеной и за рекой была Хусан.

Для него это было просто имя. Так он звал тех, кто там, как Ахплат звал бы луговых — луговыми, а мордву — мордвой. Он сказал его и забыл, и стал снова греть руки, и спросил что-то про коней, и Юшка перевёл, и Ахплат ответил, сколько коней, и Истома кивнул и показал на пальцах, что запомнил. Потом встал, вытер нос, сказал ещё что-то вежливое и ушёл к следующему огню, и Юшка за ним.

* * *

Легли под телегой.

Дождь шёл, и по рогоже над головой стучало, и с краю натекало, и Ахплат подвинулся от края. Анчик лежал рядом, на спине, и Ахплат слышал, как он шевелит губами — не шепчет, а именно шевелит, так, что слышно было только, как губы размыкаются.

— Что ты там? — спросил Ахплат.

Анчик перестал.

— Чтобы не забыть, — сказал он.

— Что?

Анчик помолчал. Потом сказал вполголоса, по-русски, и Ахплат не понял ни одного слова, кроме своего имени с хвостом и последнего, которое приписали. Анчик сказал это ровно и чисто, как Третьяк, — с теми же остановками, в тех же местах, — и Ахплат понял, что он повторяет то, что читали вслух в избе. Всё, от первого слова до последнего.

— Ты понимаешь, что там? — спросил Ахплат.

— Половину, — сказал Анчик. — «Черемиса» понимаю. «С товарищи» понимаю. Твоё имя понимаю. «Сто двенадцать».

— Остальное?

— Остальное — нет. — Анчик повернулся на бок. — Всё равно запомню. Потом кто-нибудь переведёт.

Ахплат лежал и смотрел в рогожу. Там, где на груди раньше лежала монета, было пусто и прохладно, и он положил туда ладонь. Под ладонью была только рубаха.

Анчик опять зашевелил губами. Ахплат послушал. Губы размыкались в тех же местах, что в первый раз, — и последнее слово было то же.

Он не стал спрашивать ещё. Он лежал и считал ночёвки до Москвы. Анчик говорил — месяц. Месяц — это тридцать ночёвок. Он считал их от сегодняшней, по одной, называя про себя, где какая будет, и на двенадцатой сбился, потому что дальше не знал мест, и начал сначала.

Глава 4. Пятьдесят живых

Бахтияр. Казань, конец июня — июль 1551 года

Сначала говорили, что это не город.

Говорили на торгу, в мечети после пятничной молитвы, в бане, у ворот. Говорили: русские поставили на Круглой горе, на устье Зоя «Свияги», гуляй — телегу на колёсах, стену из досок, которую привезли по воде и соберут назад, когда надоест. Говорили: три недели постоят и уйдут. Говорили: пусть стоят, нам что. И смеялись.

Бахтияр тоже смеялся. Он был на торгу, когда это сказали первый раз, и засмеялся вместе со всеми, потому что было смешно: город, который привезли в лодках.

Через месяц смеяться перестали.

Перевоз через Волгу напротив устья Зоя закрыли. Перевоз ниже закрыли. Лодки с правого берега не приходили: ни с мёдом, ни с хлебом, ни с лыком, ни с людьми. Соль в городе стала вдвое. Потом немного больше, чем вдвое. Бахтияр считал: мешок соли в прошлый рамадан стоил столько-то, теперь — столько-то и ещё треть сверху. Он записал это на последнем листе книги, где записывал цены, и больше не записывал, потому что каждую неделю пришлось бы писать новое.

Бахтияру было пятьдесят пять лет. Двадцать шестой год он собирал ясак с правого берега: сотни по Зоя, по малым рекам, по лесам до самой Суры. Три дня конному от города до дальних сёл, и в каждом селе его знали, и он знал каждого сотника, каждого десятника и половину дворов по именам. Всё это было записано. Книга лежала у него дома в сундуке, в холщовом чехле, и в ней было двадцать пять лет, по году на разворот, и двадцать шестой был начат.

Двадцать шестой он начал в месяце *мухаррам* «первом месяце года». Написал год, написал сотни по порядку, как всегда. Под сотнями не написал ничего.

* * *

В день боя его поставили на стену.

Ставили всех посадских, у кого были руки. Пришёл человек от улусного бека, прошёл по улице, стучал в ворота и говорил: на стену, к Арским воротам, взять что есть. У Бахтияра был лук, старый, сыновний, из которого сын стрелял мальчиком, и была сабля, которую он не вынимал из ножен лет десять. Он взял лук. Сабля была тяжёлая, и колени у него болели.

На стене было тесно. Стояли плечо к плечу: посадские, *шакирды* «ученики медресе», два кожевника, водонос, какой-то купец в дорогом халате, который всё время спрашивал, долго ли. Между ними стояли пушкари у пушек, и пищальники, и эти не спрашивали ничего.

Бахтияр смотрел вниз, на поле.

Поле было Арское, перед посадом, ровное, со скотом выбитой травой. По полю шли люди. Их было много, и они шли не рядами, как ходят русские, и не лавой, как ходят конные, а толпами, кучами, по сотням, и у каждой кучи впереди был человек. Шли пешком. Бахтияр прищурился. Шапки. Он узнал шапки раньше, чем понял, кто это.

Такие шапки носили по Зоя. Войлочные, серые, с отворотом. Бахтияр двадцать пять лет видел их у себя под окном ясачной избы, когда привозили мёд.

Он стал искать. Две кучи, справа, у межи, — сотни с малой реки, левого притока Зоя, в двух днях от устья. Одна — Ахплата. Он узнал Ахплата по тому, как тот стоял: невысокий, широкий, лук в левой руке. Ахплат всегда держал левую руку так, немного не так, как правую, потому что она у него плохо гнулась, — Бахтияр знал это, потому что видел, как Ахплат ставит бочонки на весы. Левой он не поднимал.

Он никому не сказал, что узнал.

Потом из ворот вышли конные, и был бой, и Бахтияр смотрел. Он видел, как сувары бьют навесом, как конные кружат, как конные уходят. Он видел, как конные ушли к посадку и как сувары побежали за ними — все, толпой, и те две кучи у межи тоже. Он видел, как они добежали до тына.

Рядом ударила пушка. Бахтияр присел, как присели все. Купец в дорогом халате упал на колени и не встал. Стену трянуло. Потом ударила ещё одна и ещё, и по всей стене пошёл треск пицалей, и дым закрыл поле, и Бахтияр кашлял и не видел ничего. Когда дым отнесло, сувары бежали обратно. Все. У тына остались лежать. Их было видно: на траве, по одному, по двое.

Из ворот посада вышли конные ещё раз.

Бахтияр не стрелял. Лук он держал в руке и за весь день не натянул. Об этом его никто не спросил.

* * *

Пленных привели к вечеру.

Их держали во дворе за ханской конюшней, в загоне, где раньше держали коней на продажу. Когда Бахтияр пришёл, их уже сосчитали без него: пятьдесят. Их сосчитали, как считают скот, — по головам, в воротах загона, — и записали одно число.

За Бахтияром послали на другой день, после утренней молитвы. Пришёл писец из *дивана* «ханской канцелярии», молодой, в хорошем халате, с чернильницей на поясе.

— Нужен список, — сказал писец. — По именам. Откуда кто. Их будут решать, а решать без списка нельзя.

— Кто решать?

— Не мы с тобой, — сказал писец. — Правый берег ты знаешь. Я не знаю. Никто в диване не знает. Сказали — Бахтияр знает.

— Бахтияр знает, — сказал Бахтияр. — Бахтияру за это двадцать пять лет платили. А теперь, выходит, опять надо.

Писец не понял, шутка это или нет. Бахтияр не стал объяснять.

Он взял свою чернильницу, свой *калам* «тростниковое перо», стопу бумаги и доску, на которой писал в дороге, положив на колени, и пошёл.

* * *

Во дворе за конюшней пахло конским навозом, мочой и мокрой соломой. Пленные сидели у стены, в тени, кто на соломе, кто прямо на земле. Руки у них были свободны, ноги у многих связаны верёвкой одна к другой, коротко, так, чтобы можно было ходить, а бежать нельзя. У ворот стояли двое караульных с копьями и играли в кости на перевёрнутом ведре.

Бахтияр сел на чурбак у ворот, положил доску на колени, лист на доску, обмакнул калам. *Бисмиллаһ* «Во имя Аллаха».

— По одному, — сказал он.

Караульный встал и стал подводить.

Бахтияр писал так, как писал всегда. Имя. Отцово имя. Село. Сотня — по имени сотника. Если человек был из его сёл, он писал ещё десяток. Если нет — не писал, потому что не знал, как там устроено. Писал он по-тюркски, арабским письмом, справа налево, мелко и ровно, и строка у него всегда кончалась там, где кончалась строка, — не раньше и не позже.

Первый был с *Савала* «Цивилия». Бахтияр его не знал. Спросил имя — человек сказал. Спросил отца — сказал. Спросил село — сказал. Бахтияр записал.

Второй был из-за Кубни. Этого он не знал тоже.

Третий был из его сёл.

Бахтияр поднял голову и увидел лицо, которое видел под окном ясачной избы каждую осень лет пятнадцать. Лицо было в грязи, и над бровью была засохшая ссадина. Человек смотрел на него и молчал.

— Кушман, — сказал Бахтияр. — С Кинеры.

— Я, — сказал человек.

— Ты мне с позапрошлой осени полбочонка должен.

Человек смотрел на него.

— Я помню, — сказал он.

Бахтияр записал: Кушман, отцово имя, Кинера, сотня, десяток. На полях против него ничего не написал. Долг был в другой книге. Долг из той книги в эту не переносят.

Пятый был из его сёл. Восьмой. Одиннадцатый. Бахтияр знал их. У этого он принимал мёд, и мёд у него всегда был тёмный, гречишный, и он просил за него больше. У этого была хромая лошадь, и он каждый год обещал, что к следующей осени будет новая, и каждый год приезжал на той же. Этот был десятник, и в позапрошлый год он спорил с Бахтияром из-за веса, и оказался прав, и Бахтияр тогда перевесил и записал, как было.

Они смотрели на него. Он писал.

Никто из них не просил. Никто не сказал ему ни одного плохого слова. Один спросил, есть ли вода. Бахтияр сказал караульному, и караульный принёс ведро. Бахтияр подождал, пока человек напьётся, и спросил отцово имя.

К полудню он записал тридцать один.

* * *

Урга был тридцать седьмой.

Караульный подвёл его, и Урга стал перед Бахтияром и не сел, хотя другие садились. Верёвка на ногах была короткая, и он стоял, широко расставив ступни. Щиколотки над верёвкой были стёрты до красного. Сутулый, как всегда. Лицо серое.

Бахтияр знал его. Урга, из Анаткасси «Нижнего конца», сотня Ахплата. Третий двор от брода. Вдовец. Сын. Отца Урги Бахтияр тоже знал: в первый свой год он принимал у него мёд, и отец Урги был такой же сутулый и такой же тихий и умер на девятую зиму.

— Урга, — сказал Бахтияр.

— Бахтияр, — сказал Урга.

Бахтияр написал имя. Потом отцово имя: он помнил его сам, спрашивать не пришлось. Потом Анаткасси. Потом сотня Ахплата. Потом десяток.

Потом остановился, потому что Урга сказал:

— Скажи моим.

Бахтияр поднял голову.

— Скажи, — сказал Урга. — Ахплату. Что я здесь. Ты ведь к ним едешь.

— Ездил, — сказал Бахтияр.

— Ну.

— Мне туда теперь нельзя, — сказал Бахтияр.

Он сказал это ровно, как говорят о весе. Это и был вес: перевоз закрыт, на правом берегу русский город, сотни присягнули. Бахтияр не мог туда поехать, как не мог поехать в Москву. Ему нечего было там делать, и его там бы взяли.

Урга стоял и смотрел на него. Потом посмотрел на доску, на лист, на калам.

— Тогда запиши, — сказал Урга. — Что живой.

Бахтияр посмотрел на строку. Строка кончилась там, где надо: имя, отец, село, сотня, десяток. Больше в строке ничего не полагалось. Для «живой» в строке не было места, потому

что в этом списке все были живые — мёртвых не приводят во двор за конюшней, — и писать это было лишнее.

Он повернул калам и написал на полях, против строки, мелко, одно слово: *тере*«жив».

Урга не умел читать. Он смотрел на поле листа, куда пришлось слово, и Бахтияр видел, как он смотрит.

— Написал, — сказал Бахтияр.

— Что написал?

— Что живой.

Урга кивнул. Потом сказал:

— Тимеш там остался.

Бахтияр не знал, кто такой Тимеш. Потом вспомнил: сын. Он видел его два раза, мальчиком, когда Урга привозил мёд. Мальчик сидел на телеге и считал бочонки вслух и сбивался.

— У тына, — сказал Урга. — Я к нему вернулся. А они подъехали.

Бахтияр ничего не сказал. Он не стал писать это на полях: в этом списке мёртвых не было.

Караульный тронул Ургу за плечо. Урга пошёл обратно к стене, мелко переступая, и сел в тени, и опустил голову на колени.

* * *

Пятидесятым был мальчик лет шестнадцати с Сяр «Суры», из леса, по-суварски он говорил так, что Бахтияр понимал каждое третье слово. Бахтияр переспрашивал дважды. Записал.

Он пересчитал строки. Пятьдесят. Сошлось с тем числом, которое записали в воротах. Из его сёл — девятнадцать. Из сотни Ахплата — один.

Он отдал лист писцу из дивана. Писец прочитал, шевеля губами, и спросил, что это на полях против тридцать седьмого.

— Жив, — сказал Бахтияр.

— Они все живые.

— Этот — особо.

Писец посмотрел на него, пожал плечами и спрятал лист в рукав.

— Что с ними будет? — спросил Бахтияр.

— Решат, — сказал писец. — Обменяют, может. Русские тоже наших держат. Может, продадут. Может, раздадут по дворам, кто работников просил. У беков свои мысли, у дивана свои, у крымских свои.

— Когда?

— Когда договорятся, — сказал писец. — Ты посиди, если хочешь. Скоро скажут.

Бахтияр посидел. Потом встал, собрал калам, чернильницу, доску и ушёл.

Он не стал ждать, что скажут. Ему это было не нужно. Список он написал. Остальное было не его работа.

* * *

Домой он пошёл не сразу, а через ясачную избу.

Изба стояла у Ногайских ворот, низкая, каменная снизу и деревянная сверху, с широкой дверью, чтобы вкатывать бочонки. Внутри были весы — большие, на цепях, с двумя чашами, в которые ставили бочонок целиком, — полки вдоль стен, лари для воска, крюки для связок куниц и лыка. Полки были пустые. Воск прошлого года ушёл в ханскую казну зимой. Куницы ушли ещё раньше. Лари стояли открытые, и в одном лежала дохлая мышь.

Габдулла, его помощник, сидел на пороге и чинил сапог. Габдулле было за шестьдесят, он двадцать лет катал бочонки на весы и снимал их с весов и за эти двадцать лет ни разу не уронил ни одного.

— Писал? — спросил Габдулла.

— Писал.

— Наших много?

— Наших девятнадцать.

Габдулла покачал головой и воткнул шило в подошву.

Бахтияр прошёл к весам. Тронул чашу. Чаша качнулась, вторая пошла вверх, потом обе постояли, покачались и остановились вровень. Он посмотрел на стрелку. Стрелка стояла посередине.

— Ровные, — сказал он.

— Ровные, — сказал Габдулла с порога. — Класть нечего.

— В прошлый год левая врал на четверть фунта.

— Я подпилил, — сказал Габдулла. — Зимой. Делать было нечего, я и подпилил.

— Теперь ровные.

— Теперь ровные, — сказал Габдулла. — Теперь бы только положить.

Бахтияр постоял у весов. Потом пересчитал крюки на стене — сорок два, он знал, что сорок два, — и лари — восемь, — и пошёл к двери.

— Осенью что? — спросил Габдулла.

— Осенью с левого берега соберём. С Арской стороны, с Ногайской. Там сёла есть.

— А с правого?

— С правого русские соберут, — сказал Бахтияр. — Весы у них, говорят, свои. Пусть сами подпиливают.

Габдулла засмеялся и уколол шилом палец. Бахтияр подождал, пока он перестанет трясти рукой, и пошёл домой.

Дома ели.

Ели во дворе, под навесом, потому что в доме было душно. Жена поставила котёл с похлёбкой, лепёшки, простоквашу. Дочь пришла со своими — двое, мальчик и девочка, — и девочка сразу полезла на колени к деду, а мальчик сел рядом с дядей и стал смотреть на его саблю. Сын пришёл последним, со стены, в пыли, и сабля у него была настоящая, ханская, и он не отстёгивал её за едой.

Бахтияр ел медленно. Он всегда ел медленно, и жена за тридцать лет перестала его торопить.

— Писал? — спросил сын.

— Писал.

— Много?

— Пятьдесят.

— Твоих много?

— Девятнадцать.

Сын оторвал лепёшку и макнул в простоквашу.

— Твои ясачные теперь русским служат, — сказал он. — Двадцать шесть лет ты с них брал, а они пошли и русским присягнули. И под наши пушки пришли.

Бахтияр доел то, что было в ложке.

— Мои ясачные двадцать шесть лет мне служили, — сказал он. — Теперь пусть русские у них мёд взвешивают. Посмотрим, кто кого обвесит.

Сын засмеялся. Бахтияр не засмеялся — он никогда не смеялся своим шуткам, — но сын засмеялся, и жена хмыкнула у котла, и дочь, и тогда Бахтияр тоже чуть двинул углом рта.

Смеялись недолго.

— Там у них десятник есть, — сказал Бахтияр. — В Кинере. Он меня в позапрошлый год на весе поймал. Я ему недовесил полфунта, а он заметил. Русские так не умеют. Русские на глаз берут. Он их поймает.

— Он сейчас у нас в загоне сидит, — сказал сын.

— Кто?

— Твой десятник. Ты его сегодня писал.

Бахтияр посмотрел на сына. Сын не шутил. Бахтияр вспомнил одиннадцатого, десятника из Кинеры, который спорил из-за веса.

— Да, — сказал он. — Писал.

Больше за едой про это не говорили. Жена спросила про соль. Дочь рассказала, что у соседей родилась тёлка. Внучка у Бахтияра на коленях заснула, и он сидел и не двигался, чтобы не разбудить, пока жена не забрала её.

* * *

На улице у ворот его окликнули.

Это был Митя — работник соседа, русский. Сосед купил его лет семь назад на торгу, молодым, из какого-то набега на русские земли, и Митя с тех пор жил у соседа, носил воду, колол дрова, пас овец за городом и выучился говорить по-казански так, что его понимали на торгу. Он был рослый, белобрысый и всегда весёлый. Он стоял у соседских ворот с вёдрами на коромысле и смотрел на Бахтияра.

— Татарин, — сказал Митя. — Слышь, татарин. Правда, что ваших пленных сегодня писали?

Он сказал это по-русски, и слово «татарин» Бахтияр понял. Митя звал так всех на их улице — и соседа, и Бахтияра, и водоноса, и муллу, — так, как Бахтияр звал бы его «урус». Это не было обидно. Это было, как зовут по имени, когда имени не помнят или когда имя неважно. Остального Бахтияр не понял.

По-русски Бахтияр знал три слова. Он выучил их лет двадцать назад, когда впервые сидел в ясачной избе рядом с русским полоняником, который помогал носить мешки.

— Здоров будь, Митя, — сказал Бахтияр.

Митя засмеялся, поправил коромысло и понёс вёдра во двор. Бахтияр посмотрел ему вслед. Митя не знал, что пленные, которых писали, были не русские. Митя вообще ничего не знал про правый берег, про Зоя, про сотни. Для Мити все, кто за рекой и за стеной, были одно.

Для Бахтияра — нет. Для Бахтияра это были сто двенадцать дворов Ахплата, и сорок дворов Кинеры, и шестьдесят восемь у Савала, и так далее, до Суры, всего столько-то, и каждый двор с именем.

Он вошёл в свои ворота и закрыл их на засов.

* * *

Ночью он открыл книгу.

Он достал её из сундука, снял чехол, положил на низкий столик у лампы. Раскрыл на двадцать шестом годе. Разворот был начат в мухарраме: год, сотни по порядку, справа налево, ровным столбцом. Сотня Ахплата была седьмой сверху. Под каждой сотней было оставлено место — столько строк, сколько дворов, — и все строки были пустые.

Бахтияр положил на разворот ладонь. Он всегда так делал, прежде чем писать: проверял, ровно ли лежит лист, не вздулся ли. Лист лежал ровно.

Двадцать пять разворотов назад была его первая осень. Он перелистал к ней. Сотня Ахплата — тогда не Ахплата, а его отца, — сто четыре двора. Мёд, воск, куницы, лыко. Против

трёх дворов — недоимка. Против одного — «сгорел». Он перелистал вперёд. Сто шесть. Сто девять. Сто двенадцать. Отец умер, стал Ахплат. Урга: сначала отец Урги, потом Урга. Недоимка в голодный год. Недоимка отдана. Двадцать пять лет.

Всё это была страна, куда ему больше не въехать.

Он перелистал обратно, к двадцать шестому.

Вычёркивать он не стал. Вычёркивать было нечего: строки были пустые, в них ничего не было написано. И вычеркнуть сотню — значит сказать, что её нет. А она была. Она стояла сегодня на поле, в серых шапках, у межи, и бежала под пушками, и один её человек сидел в загоне за конюшней, и против него на полях было написано *тере*.

Бахтияр обмакнул калам.

Под сотнями, в самом низу разворота, где он всегда писал итог года, он написал год — девятьсот пятьдесят восьмой, месяц *раджаб* «седьмой» — и два слова: *жыелмады* «не собрано».

Он посмотрел на них. Буквы вышли ровные.

Потом подул на лист, подождал, пока высохнет, закрыл книгу, надел чехол и убрал в сундук. Лампу он погасил не сразу. Он посидел ещё немного, положив ладонь на крышку сундука, и потом погасил.

Глава 5. Брод на Савале

Анчик. Дорога от города на Сёве на запад; брод через Савал, начало июля 1551 года
Обоз растянулся на версту, и Анчик ездил вдоль него с утра до вечера.

Он был провожатый отцовской партии — так сказал Истома через Юшку, и так записали где-то, — и это значило, что он ехал то впереди, то сзади, и смотрел, где брод, где яма, где телега села, и кричал, и показывал, и опять ехал. Отцовская партия была маленькая: одна телега, два коня в поводу и пятеро людей. Но за отцовской партией шли другие, из соседних сотен, и они тоже спрашивали Анчика, потому что он был молодой, с конём и знал дорогу, а их провожатые не знали. К полудню первого дня он охрип.

Обоз был такой, какого на Сёве «Свияге» не видели никогда. Впереди ехали стрельцы — двадцать, в красных кафтанах, с пищалями поперёк седла и с бердышами за спиной, — и с ними Истома на гнедом мерине, долговязый, в мокрой, как всегда, шапке, хотя дождя с утра не было. За стрельцами — мурзы, каждый со своими людьми, в шёлку и в сукне, на хороших конях, и с ними их телеги, крытые. Мурзы ехали отдельно и ставили шатры отдельно. Главные у них были двое, Магмет и Ахкубек, — их имена кричали утром, когда трогались, и вечером, когда вставали, — но их самих Анчик видел только со спины: две спины в шёлку на двух белых конях. Дальше шли сувары, сотня за сотней, у каждой одна-две телеги с поминками. Мёд в бочонках, меха в мешках, воск кругами, и кони в поводу. Сзади ехали дети боярские, шестеро, с луками в саадаках, и Юшка на смиренной кобыле, которая всё время останавливалась щипать траву.

— Юшка, — кричал Истома, оборачиваясь. — Юшка!

— Я здесь, — отвечал Юшка. — Это она не здесь.

* * *

Вечером второго дня встали у ручья, на лугу, и жгли костры.

Истома пришёл к их костру сам. Он приходил ко многим кострам, по очереди, садился на корточки, грел руки, спрашивал про коней, про людей, про хлеб, — и уходил к следующему. Анчику это нравилось. Он не видел раньше, чтобы русский так делал. В Москве русские к ним не приходили: к ним водили.

Юшка сел рядом с Истомой, потому что без Юшки Истома мог сказать только «добрый вечер» и «кони».

— Анчик, — сказал Истома.

Он сказал почти правильно. Русские говорили «Анчик» по-разному: одни «Анчак», другие «Янчик», а Истома сказал почти как дома, только мягче.

— Он говорит, ты в Москве был, — сказал Юшка.

— Был.

— Он говорит, какие слова знаешь.

Анчик сказал несколько. Истома засмеялся на одном и сказал что-то Юшке.

— Он говорит, это слово при стрельцах не говори, — сказал Юшка. — Они обидятся. Или обрадуются, смотря кто.

Потом Истома рассказывал. Он рассказывал долго и негромко, глядя в огонь, как рассказывают своё, и Юшка переводил, отставая, а Анчик ловил русские слова, какие знал.

— Он говорит, он из Рязани, — переводил Юшка. — Рязань — город, на Оке, туда, на полдень. Он говорит, давно, при прадедах его прадедов, пришли на Рязань татары. Много. Всё пожгли, город взяли, людей побиили. Князя убили. И его прадеды будто бы вышли оттуда, из огня, с одной иконой. Всё бросили, икону вынесли.

— Какую икону?

Юшка спросил. Истома ответил.

— Николы, — сказал Юшка. — Это их святой. Который на дорогах помогает. — Он послушал ещё. — Он говорит, икону потом всё равно потеряли, в другой пожар, лет сто назад. А рассказ остался.

— Кто пришёл? — спросил Анчик. — Как ты сказал?

— Татары, — сказал Юшка.

— Те же, что эти? Что в Хусан «Казани»?

Юшка спросил. Истома пожал плечами и сказал коротко.

— Татары и есть татары, — перевёл Юшка. — Он говорит, их всех так зовут. И тех, и этих.

Анчик смотрел на Истома.

— А наш Великий город тоже с востока сожгли, — сказал он. — Бабка говорила. Пришли с востока и сожгли. Наши оттуда вышли. Монета на шапке вышла.

Юшка перевёл. Истома поднял голову от огня.

— С востока? — сказал он. Это слово Анчик понял и без Юшки, оно было простое. Истома сказал ещё что-то, кивнул сам себе и показал рукой туда, куда показывал в городе у костра, — на восток, где за спиной у обоза осталась Сёве, и Атёл «Волга», и за Атёл Хусан.

— Он говорит — так они и есть, — сказал Юшка. — Татары. Кто ж ещё с востока ходит.

Анчик больше ничего не спросил.

Он сидел и смотрел туда, куда показал Истома. Там было темно, и в темноте горели костры задних сотен, и дальше ничего не было. Он думал про бабкину монету, которую отец отдал писарю за строку, — про то, что она была из Великого города, и Великий город сожгли, и бабка не помнила, как звали тех, кто жёг. А Истома помнил. У Истома была своя Рязань и свои прадеды с иконой, и те, кто жёг Рязань, пришли с того же востока, и их звали одним словом, и тем же словом звали тех, кто стоял на стене в Хусан и бил из пушек, когда упал Тимеш.

Раньше это были две вещи: бабкин город и поле перед Хусан. Теперь это была одна.

Анчик не сказал этого вслух. Он просто сидел и смотрел, и ему было тепло, и хотелось встать и что-то делать, а делать было нечего, и он встал и пошёл проверить коней, хотя кони были проверены.

Отец не пошёл за ним. Отец сидел у огня и молчал. Потом, когда Истома ушёл к следующему костру, отец сказал Юшке:

— Он хороший человек?

— Истома? — Юшка подумал. — Мокрый только всё время. А так хороший.

* * *

За Кубнёй начались сёла, которые не присягали.

Это было видно сразу. Ворота закрыты, у ворот никого. Бабы у колодцев поворачивались спиной. Хлеба не продавали ни за мёд, ни за соль, ни за деньги: мурзы посылали людей спросить, и люди возвращались пустые. В одном селе у околицы стояли мужики с кольями и смотрели, как идёт обоз, и не уходили, пока не прошёл последний конный.

Анчик проезжал мимо, и один мужик сказал ему по-суварски, негромко, но так, чтобы слышал:

— К русским едешь? Хвост им носить?

Анчик повернул коня. Отец с телеги сказал:

— Анчик.

Анчик повернул коня обратно.

За околицей из-за плетня выскочил мальчишка лет восьми и кинул в обоз камень. Камень попал в бочонок на отцовской телеге и отскочил. Мальчишка убежал. Ильмук на передке выругался, и один из анаткассинских слез с телеги, чтобы бежать за мальчишкой.

— Сядь, — сказал отец.

— Он камнем.

— Сядь, — сказал отец. — Не отвечать.

Анаткассинский сел. Отец слез сам, подошёл к бочонку, осмотрел, где попал камень, потрогал пальцем. Обруч был цел, клёпка цела.

— Цел, — сказал он и сел обратно.

— А если бы не цел? — спросил Анчик.

— Тогда было бы одиннадцать, — сказал отец. — Всё равно бы не отвечали.

* * *

К Савал «Цивилю» вышли на пятый день, утром.

Анчик ехал впереди с двумя конными из соседней сотни — Истома послал их смотреть брод. Дорога спускалась к реке по оврагу, крутому, заросшему, и на дне оврага было сыро и прохладно, и пахло прелым листом. Река внизу была неширокая, в межень, светлая, с каменистым дном, и берега у неё были высокие, обрывистые, и по обоим берегам росла ольха, густо, до самой воды.

Брод был там, где дорога. Вода на броду стояла коню по колено, может чуть выше. На том берегу дорога выходила из воды на песчаный откос и уходила вверх, в такой же овраг.

Анчик переехал брод и слез с коня на том берегу.

Песок там был истоптан. Это было понятно: здесь ходили все, кто шёл на запад или с запада. Но поверх старых следов были новые — свежие, чёткие, с водой, ещё стоявшей в ямках. Конские. Много. Они шли из воды на берег, потом вдоль берега вниз, в ольшаник, и там пропадали.

Анчик пошёл вдоль них, согнувшись. Следы были некованные — такие бывают у степных коней, — и шли кучей, и было их двадцать, может тридцать. В одном месте на ветке ольхи висел клочок конского волоса, серого. В другом месте кто-то слезал с коня: был след сапога, узкий, с каблуком.

— На рассвете, — сказал один из конных.

— Туда ушли, — сказал Анчик и показал вниз по реке.

— Или там стоят.

Анчик посмотрел вниз, в ольшаник. Там было тихо. Там было слишком тихо: утром в ольшанике у реки всегда кто-нибудь есть — сорока, дрозд, утка в заводи. Сейчас там не было никого.

Он сел на коня и поехал назад через брод, не торопясь, чтобы из ольшаника не видели, что он торопится. Когда выехал из оврага, погнал.

* * *

Истома выслушал через Юшку, сидя в седле. Он не переспрашивал. Он посмотрел на овраг, на реку, на обоз, растянувшийся по дороге, и сказал несколько слов своим, и стрельцы стали слезать с коней.

— Он говорит, — сказал Юшка, — стрельцы станут на этом берегу, наверху, над бродом. Им сверху видно будет. Ваши лучники — в ольху, по обе стороны от брода, на этом берегу и на том. Телеги пойдут по одной. Не толпой, а по одной. Каждая переходит, выходит наверх, тогда следующая.

— А если там стоят? — спросил отец.

— Он говорит — если стоят, то пусть лучше мы знаем, где они, чем они знают, где мы, — сказал Юшка. — Это он так думает. Я бы вообще не ходил.

— Другого брода нет, — сказал Анчик.

— Вот и он говорит, — сказал Юшка.

Отец отдал телегу Ильмуку и взял лук. Анчик взял свой. Стрел у Анчика было теперь сорок: после поля он наделал новых, всю неделю до отъезда сидел и строгал, и отец не мешал. Отец собрал лучников из трёх сотен, человек тридцать, и повёл их вниз по оврагу, в ольшаник.

Анчика он поставил на том берегу. Сам остался на этом.

Анчик перешёл брод пешком, с луком над головой, и вода была холодная, по пояс в самом глубоком месте, и дно скользкое. На том берегу он залез в ольху, шагах в тридцати ниже брода, с ним ещё пятеро из чужой сотни, и сел на корточки у корней, так, что брод был виден сквозь листья наискось.

Ноги у него были мокрые до пояса. Штаны липли. Он думал, что простудится, и думал, что это глупо — думать сейчас про простуду.

Первая телега пошла.

* * *

Первая прошла. Вторая прошла. Колёса скрипели на камнях, кони тянули, возница кричал, вода бурлила у ступиц, и телега выползала на песок, и её тянули вверх, в овраг. Третья. Четвёртая. Мурзы переходили верхом, по двое, не дожидаясь, и их шёлк был мокрый по колено.

Отцова телега пошла шестой.

Ильмук вёл пару под уздцы, стоя по колено в воде, и телега шла тяжело, потому что бочонки — двенадцать — лежали в ней в два ряда. Анаткассинские шли сзади и держали задок. Телега дошла до середины.

Из ольшаника ниже брода, на том берегу, где сидел Анчик, — шагах в сорока ниже, за поворотом, — вышли конные.

Они вышли в воду сразу и все, без крика. Двадцать, может больше. Молодые, в стёганных халатах, в войлочных шапках, на невысоких лохматых конях, и кони шли по воде, поднимая брызги, и всадники уже держали луки. Они шли не на берег. Они шли на брод — на середину, на телегу, на Ильмука с парой. А за конными, по отмели, из той же ольхи, бежали пешие — мужики в серых войлочных шапках, как свои, с топорами и кольями, — и Анчик узнал шапки: такие носили за Кубнёй, в тех сёлах, где закрывали ворота.

Анчик вскочил.

Сверху, с того берега, ударило.

Это был не гром и не пушка. Это было короче и суше, но так же громко: двадцать пищалей разом, и звук ударил в воду, в ольху, в уши, и отозвался в овраге, и сразу над тем берегом встало белое. Дым. Белый и густой, он пошёл вниз, к воде, и лёг на воду, и в нём стало ничего не видно.

Кони на воде встали на дыбы. Все сразу — и казанские, и отцова пара в телеге. Анчик видел, как пара рванула вбок, как Ильмук повис на узде, как телега накренилась, как одно колесо поднялось из воды, мокрое, и медленно, очень медленно, пошло вверх.

Телега опрокинулась.

Бочонки посыпались в воду. Анчик видел, как один ударился о камень и лопнул. Второй. Мёд пошёл по воде жёлтым.

— Бей! — крикнули справа.

Анчик натянул и пустил.

Он пустил в дым, в тёмное, которое двигалось в дыму. Потом ещё. Потом дым отнесло, и он увидел всадника прямо перед собой, шагах в двадцати, боком, на сером коне: всадник стоял в воде и тянул за повод чужого коня — одного из тех двух, что шли в поводу за отцовской телегой, — и конь не шёл.

Анчик натянул. Рука дрожала. Стрела лежала на тетиве неровно, и он поправил её пальцем, и потерял всадника, и нашёл снова, и пустил.

Стрела вошла всаднику в плечо. Анчик видел, как она вошла: всадник дёрнулся, как дёргается человек, которого толкнули, и выпустил повод. Стрела торчала у него из плеча, сзади, и качалась. Всадник обернулся — Анчик видел его лицо, молодое, с тонкими усами, удивлённое, — и ударил коня пятками, и поскакал. Вниз по воде, к своим. Со стрелой в плече. Он скакал и не падал.

Анчик стоял и смотрел.

Он думал, что если попасть, то человек падает. Так было в рассказах, и так он думал всю неделю, пока строгал стрелы. А человек не упал. Человек поскакал дальше и увёз его стрелу.

У Анчика тряслись руки. Он смотрел на них. Руки тряслись так, что лук в левой ходил, как ветка на ветру, и правая, пустая, не могла достать стрелу из колчана — пальцы попадали мимо.

* * *

Со стороны брода закричали. Не казанские — свои, по-русски.

Анчик посмотрел.

Посреди брода, у самой опрокинутой телеги, бился конь. Не отцов — стрелецкий, гнедой, в красном чепраке. Он лежал на боку в воде и бил ногами, и вода вокруг него кипела. Под конём был человек. Стрелец. Анчик видел его руку над водой и шапку, красную, которую несло течением. Стрелец не мог выбраться: конь лёг на него, на ногу, и держал.

Анчик побежал.

Он не решал бежать. Он бросил лук на корни ольхи и побежал из-за деревьев в воду, как тогда на поле, только теперь не вместе со всеми, а один, и никто за ним не бежал. Вода била по коленям. Мимо свистнуло — стрела, не ему, куда-то. Он добежал до коня. Конь бил ногами. Анчик увернулся от копыта, схватил стрельца за ворот кафтана и потянул. Стрелец был тяжёлый и мокрый, как мешок с зерном. Не шёл.

— Нога! — крикнул стрелец по-русски. Это слово Анчик знал.

Анчик бросил ворот, нырнул руками в воду, нашёл под водой ногу, сапог, стремя. Сапог застрял в стремени, и нога была под конским боком, и конь давил. Анчик рванул сапог. Не шло. Он рванул ещё раз, и сапог сошёл с ноги и остался в стремени, и нога вышла, босая, белая, и стрелец вынырнул и закашлялся, и Анчик потащил его за ворот к берегу, к тому, откуда прибежал, и они оба упали на песок.

Конь в воде встал сам, без седока, и пошёл, качаясь, к берегу.

Стрелец лежал на спине и кашлял, и из него шла вода. Он был немолодой, с сивой бородой, с широким красным лицом. Он повернул голову и посмотрел на Анчика.

— Ты чей? — сказал он по-русски.

Анчик не понял. Он лежал рядом на песке и дышал.

* * *

Потом снизу по реке закричали по-другому.

Анчик поднял голову. С той стороны, откуда вышли казанские, вдоль воды, по отмели, бежали люди. Пешие. Много. В серых войлочных шапках, как свои, с луками, с топорами,

с рогатинами. Они бежали по отмели и по берегу, из ольхи, и били по казанским сбоку — стрелами, в упор, — и казанские на воде завертелись.

— Байдеряковы! — крикнул кто-то. — С Савала!

Казанские повернули. Сначала один, потом другой, потом все, кучей, вниз по воде, к повороту, и за поворот. Байдеряковы бежали за ними по берегу и стреляли вслед. Кто-то из казанских упал с коня в воду. Кто-то из Байдеряковых подбежал к нему.

Потом всё кончилось.

Всё кончилось так же быстро, как началось. Анчик сидел на песке и не мог понять, сколько прошло: столько, сколько надо, чтобы сосчитать до ста? До тысячи? Солнце стояло там же. Дым над тем берегом редел и уходил вверх по оврагу.

Погони не было. Истома сверху, с берега, кричал что-то стрельцам, и стрельцы не садились на коней. Юшка потом сказал: Истома бережёт обоз. Истома сказал: догонять конных в чужом лесу пешими — это как ловить рыбу руками в мутной воде, поймашь одну, утонешь сам.

* * *

Считали до полудня.

Считал Истома, и отец считал своих, и сотники считали своих, и Анчик ходил за отцом и держал его лук.

Двое стрельцов ранены: один стрелой в руку, второй — тот, с сивой бородой, которого вытащил Анчик, — ногой: нога распухла и посинела, и он сидел у воды и держал её в холодном. Один сувар из чужой сотни, с Кубни, убит: стрелой, на той стороне, в ольшанике, недалеко от того места, где сидел Анчик. Анчик его не знал. Он видел его утром на броду, молодого, с редкой бородкой, который переходил воду с луком над головой, как Анчик. Коней нет трёх: двух казанские угнали, одного стрелецкого нашли ниже по реке со сломанной ногой, и стрельцы его прирезали, отведя за кусты, и Анчик не стал смотреть. Своих коней у отца было цело: и серая, и гнедой, поминки, — гнедого Ильмук поймал за повод в воде.

У Байдеряковых был один раненый.

Казанских убили двоих; одного Байдеряковы вытащили из воды живым. Его привели к Истоме.

Это был парень лет семнадцати, худой, в мокром халате, без шапки, со связанными за спиной руками. Он стоял на песке и дрожал. Лицо у него было мальчишеское, и губы тряслись, и он их кусал, чтобы не тряслись.

Истома смотрел на него сверху, с коня, долго. Потом сказал что-то своим. Двое стрельцов пошли к ольхе и стали смотреть на ветки, какая крепче.

— Он хочет его повесить, — сказал Юшка отцу. — Тут, на берегу. Чтобы видели.

— Кто видел?

— Ну, кто пойдёт.

Янтуду слез с кобылы. Он слезал долго, тяжело, как всегда, и кобыла стояла и ждала. Он подошёл к парню и заговорил с ним по-казански — тихо, спокойно, как говорят с чужими детьми, — и парень сначала не отвечал, потом ответил, потом стал говорить быстро. Янтуду слушал и кивал. Потом повернулся к Истоме и заговорил с ним — через Юшку, по-казански, Юшка по-русски, — и говорил долго.

Анчик слушал, что мог. Он понимал Янтуду и понимал Юшку через раз. Янтуду говорил: парень из деревни под Казанью, сын кожевника, пошёл с удалцами, потому что все пошли. Янтуду говорил: мёртвый он будет висеть день, а живой скажет в городе, кто их послал и сколько их. Янтуду говорил: у меня сын такой же. Юшка переводил это последнее или нет — Анчик не понял.

Истома слушал, сидя в седле, и вытирал нос рукавом.

Потом махнул рукой. Стрельцы у ольхи вернулись.

— Он говорит — связанным в город, — сказал Юшка. — Пусть воеводы решают. Там и повесят, если надо. — Он помолчал. — Или не повесят. Это уж как повезёт.

Парня посадили на заводного коня и привязали к седлу. Двое Байдераковых повели его назад, на восток. Парень оглянулся один раз на Янтуду. Янтуду не смотрел на него: он садился на кобылу.

* * *

Убитого с Кубни хоронили у брода, на этом берегу, выше воды, под большой ольхой.

Копали его свои — трое из его сотни — и копали долго, потому что в берегу были корни и камни. Анчик принёс им свой топор рубить корни. Потом стоял и смотрел.

Когда засыпали, сотник той сотни, седой, незнакомый, достал нож и подошёл к ольхе. Он вырезал на коре знак — не букву, не имя, а знак рода, такой, какой режут на *юпа* «памятных столбах» и на бортиях, — несколько коротких черт и одну длинную, и под ним ещё одну метку, маленькую, человеческую. Кора под ножом была светлая и мокрая.

Имени он не резал. Он сказал имя вслух, один раз, негромко, и больше не говорил. Анчик не расслышал.

— Кто он был? — спросил Анчик у одного из копавших.

Копавший посмотрел на него.

— Наш, — сказал он.

* * *

Отцову телегу вытащили вшестером.

Её подняли из воды, поставили на колёса, отвели наверх. Колесо было цело. Ось цела. Бочонки выловили — сколько было, — и сложили на песке, и отец пересчитал.

Девять.

Три разбились о камни. От двух остались клёпки, которые унесло водой, от третьего — половина с обручем, и в этой половине ещё было на палец мёду, смешанного с речной водой и песком.

Анчик взял эту половину и понёс к воде.

Он поставил её на камень и стал вымывать. Мёд в воде был жёлтый и тягучий, и в нём плавали щепки — светлые, свежие, от ольхи, от разбитых клёпок, — и травинки, и песок, и одна чешуйка рыбы. Он выбирал щепки пальцами и бросал в воду, и вода их уносила. Щепки не кончались. Он выбирал и выбирал.

Стрелец с сивой бородой сидел у воды, недалеко, с опухшей ногой в холодном. Он посмотрел на Анчика и полез в свою суму, достал ломоть хлеба, тёмного, русского, кислого, отломил половину и протянул Анчику молча.

Анчик вытер руки о штаны и взял.

Хлеб был мокрый с одного бока — сума тоже побывала в реке. Анчик откусил. Хлеб был кислый.

— Спаси бог, — сказал Анчик по-русски. Это он тоже знал.

Стрелец кивнул и отвернулся к своей ноге.

Анчик сидел, ел хлеб и смотрел на половину бочонка, в которой всё ещё плавали щепки. Двенадцать бочонков было. Девять осталось. У одного казанского его стрела. У того, что под ольхой, — знак на коре.

Он положил недоеденный хлеб на камень, взял половину бочонка обеими руками и снова стал выбирать щепки.

Глава 6. Сура

Ахплат. Васильсурск; дорога; Нижний Новгород, июль 1551 года

Паром ходил через Сяр «Суру» от рассвета до темноты, и за день успевал девять ходок.

Ахплат это посчитал к полудню. Он сидел на телеге у съезда к воде, на правом берегу, и считал: паром уходит, паром на том берегу, паром идёт назад. Ходка — сколько надо, чтобы выпить ковш воды не торопясь, потом ещё ковш, потом постоять. Паром брал две телеги с конями или четыре пустых подводы, или двадцать человек пеших. Обоз был — он прикинул по сотням — телег шестьдесят, коней в поводу больше сотни, людей не считал. Выходило четыре дня.

— Четыре дня, — сказал он Янтуду.

— Три, — сказал Янтуду. — Мурзы вперёд, мурзы быстрее.

— Почему быстрее?

— Потому что вперёд, — сказал Янтуду.

Сура в устье была широкая и тёмная, быстрая, с водоворотами у того берега. Там, где она уходила в Атёл «Волгу», вода двух рек шла рядом разными полосами — одна светлее, другая темнее — и не сразу мешалась. А над устьем, на высокой горе, на том берегу, стояла крепость. Деревянная, с башнями, с частоколом по краю горы, и над ней церковь, и дым.

— Васильгород, — сказал Юшка. — Или Васильсурск. Они сами не решили, как звать. Тридцать лет стоит.

— Это русская? — спросил Ильмук.

— Всё, что за рекой, — русское, — сказал Юшка. — Всё, что до реки, — ещё думают.

Анаткассинские стояли у воды и смотрели на тот берег. Один сказал:

— За Сяр — уже не наша земля.

Второй кивнул. Больше никто ничего не сказал. Ахплат тоже смотрел. Он никогда не бывал за Сяр. Анчик бывал, пять лет назад, и Урга бывал. Больше из трёх сёл за Сяр не бывал никто, если не считать тех девятерых, которых провели, наверно, тоже здесь.

* * *

К парому стояла очередь.

Очередь была не как в городе у избы — в два ряда вдоль стены, — а кучей, и в куче каждый стоял за себя. Мурзы стояли у самой воды, со своими людьми и телегами, и их люди кричали на паромщика. Сувары стояли выше по съезду и кричали на мурз. Стрельцы переправились утром первой ходкой, вместе с Истомой, и теперь стояли на том берегу и смотрели.

Когда паром подошёл в пятый раз, к нему двинулись сразу две телеги из суварской сотни с Кубни и три из-за мурз. Кубинские успели первыми и въехали колёсами на настил. Мурзовы люди схватили их коней под уздцы.

— Назад! — кричали мурзовы. — Магмет-мурзы люди! Бозубова люди! Назад!

— Мы с утра стоим!

— Стойте до вечера!

Паромщик, русский, седой, стоял на корме с шестом и не вмешивался. Ему было всё равно, кого везти, лишь бы не утопили паром.

Ахплат слез с телеги.

Он пошёл вниз, к воде, не быстро. Люди Бозубова были молодые, пятеро, в хороших халатах, с саблями, и один держал кубинского коня под уздцы, а кубинский возница держал того за рукав. Ахплат подошёл и встал рядом, и заговорил по-казански.

Он говорил по-казански двадцать лет. Каждую осень, когда приезжал Бахтияр со своими людьми, и каждую зиму, когда возил ясак в Хусан «Казань». Говорил он быстро — быстрее, чем по-суварски, — и с шуткой, потому что с Бахтияром иначе было нельзя: с Бахтияром без шутки начинали считать недовес. Он и сейчас сказал с шуткой. Он сказал молодому, что у того конь хороший, но хозяину конь должен сам дорогу уступать, а не хозяин коню, и что если паром утопят, то Магмет-мурзе придётся ехать в Москву вплавь, а халат у него шёлковый, намокнет и сядет, и в Москве его не узнают.

Молодой не понял сразу. Потом засмеялся. Второй тоже засмеялся.

Ахплат сказал, что кубинские стоят с утра. Сказал, что следующая ходка — мурзовых, и ещё одна — мурзовых, а потом две — суварских, по-честному, а то сувары тут до зимы простоят, и мурзам придётся их кормить, а сувары едят много. Сказал, что Бозубов-мурза, наверно, человек разумный и не захочет, чтобы про его людей в Москве сказали, будто они на пароме дрались с теми, с кем вместе едут.

Молодой пошёл спросить. Вернулся. Сказал: две — мурзовых, две — суварских.

— Три и три, — сказал Ахплат.

— Две и две.

— Три — мурзовых, две — суварских, — сказал Ахплат. — И кубинских сейчас пустить, раз они уже на настиле.

Молодой подумал. Кивнул.

Кубинские поехали. Мурзовы люди отпустили коня. Кубинский возница отпустил рукав.

Ахплат пошёл обратно вверх, к своей телеге. Янтуду стоял у телеги, опершись на кобылу, и смотрел на него.

— Ты с ними как с Бахтияром, — сказал Янтуду.

— А как ещё?

— Никак. — Янтуду покачал головой. — Тебя бы в Москве на моё место. Ты бы им там наторговал.

— Там не торгуют.

— Там только и делают, что торгуют, — сказал Янтуду. — Только не мёдом.

* * *

Их телега переправилась на третий день, седьмой ходкой.

Ахплат стоял на пароме у борта и держал пару под уздцы, потому что кони боялись воды под досками. Паромщик отталкивался шестом, двое его сыновей тянули канат. Вода шла под паромом быстро. Посередине было глубоко, и шест уходил весь, и паромщик перехватывал его руками почти у самого конца.

На том берегу Ахплат сошёл с парома и остановился.

Земля была такая же. Песок у воды, глина выше, трава, ивняк. Он не знал, чего ждал. Он постоял, повёл пару вверх по съезду, и Анчик на своём коне ждал его наверху.

— Ну? — сказал Анчик.

— Что — ну?

— За Сăр.

— За Сăр, — сказал Ахплат.

Он посмотрел назад, на тот берег, на свой. С этого берега тот был виден так же, как с того этот. Только теперь очередь была там, а он здесь.

* * *

Дальше шли русскими сёлами.

Дорога шла вдоль Атӑл, по высокому берегу, и то уходила от реки в лес, то снова выходила, и сёла стояли у реки и у дороги, и Ахплат смотрел на них, как смотрел на всякое село — сначала на поле, потом на дворы, потом на людей.

Поля были такие же, как у него. Полосы, межи, рожь, овёс, лён. Рожь уже желтела. Полосы шли длинные и узкие, и на каждой полосе было видно, чья она, — по тому, как вспахано, как засеяно: у одного густо и ровно, у другого клочьями. Межи были заросшие. Он видел, где полоса брошена: на ней рос бурьян, и бурьян был высокий, не первый год. Таких полос было много. Больше, чем у него.

Дворы стояли в ряд вдоль улицы — не кучками, как у него, а в ряд, один к одному, как брёвна в стене. Избы с высокими крышами, серые. В каждом третьем или четвёртом дворе ворота были закрыты снаружи, и крапива стояла до окон.

— Ушли? — спросил Ильмук.

— Или умерли.

— От чего?

Ахплат не знал. Он спросил Юшку, когда Юшка проезжал мимо. Юшка пожал плечами.

— От всего, — сказал Юшка. — Кто в холопы ушёл, кто в бега, кто в монастырь. С них берут, как с вас, только больше. И подводы гонять.

— Что такое подводы?

— А вон, — сказал Юшка.

У околицы стоял мужик с телегой. Телега была пустая, лошадь — худая, мужик — худой, в лаптях, без шапки. Люди Магмет-мурзы грузили на его телегу два своих сундука и мешок. Мужик стоял и смотрел. Ему ничего не говорили и ничего не давали. Потом один из мурзовых махнул рукой, и мужик взял лошадь под уздцы и повёл телегу вслед за обозом.

— Далеко он? — спросил Ахплат.

— До следующего села, — сказал Юшка. — Там другого возьмут, а этот назад пойдёт. Пешком. Это и есть подвода. Государево дело.

— А хлеб у него кто уберёт?

— Жена, — сказал Юшка. — Дети. Кто есть.

Мужик с телегой шёл впереди Ахплата весь день. Шёл, не оглядываясь, у лошадиной головы. Лошадь спотыкалась. К вечеру, в следующем селе, сундуки перегрузили на другую телегу, и мужик развернулся и пошёл обратно, туда, откуда пришли, и прошёл мимо Ахплата близко, и Ахплат увидел, что лапти у него разбиты и что он жуёт на ходу корку.

Ахплат смотрел ему вслед.

— И тут платят, — сказал он Анчику.

Анчик не ответил. Он тоже смотрел.

* * *

Нижний показался на шестой день, к вечеру.

Сначала была река, большая, широкая — Атӑл, — и в неё сбоку входила другая, тоже большая, и там, где они сходились, над ними, на горе, стояла стена.

Стена была красная. Это было первое, что Ахплат увидел. Не серая, как брёвна, а красная, как обожжённая глина, как печь изнутри. Она шла по горе вверх, от самой реки, по склону, по оврагам, и снова вверх, и на горе поворачивала и шла вдоль края, и снова вниз, к другой реке. В ней были башни — круглые и четырёхугольные, высокие, с зубцами поверху, и между зубцами были щели. Ахплат считал башни и сбился на девятой, потому что стена ушла за гору.

— Каменная, — сказал Анчик.

Он сказал это тихо, как говорят в чужом доме.

Когда подъехали ближе, Ахплат увидел, из чего она. Камни были маленькие, все одинаковые, красные, как хлебы, вынутые из одной печи, — и их было столько, сколько не бывает хлебов. Они лежали рядами, ровно, один на другом, и швы между ними были белые.

— Кто их считал? — сказал Ахплат.

— Кого?

— Камни.

Анчик засмеялся.

— Ты везде спрашиваешь, кто считал.

— Везде кто-то считал, — сказал Ахплат.

Обоз встал под стеной, на посаде, у торго. Анчик слез с коня, подошёл к стене и положил на неё ладонь. Ахплат видел, как он это сделал: подошёл, положил и стоял, не убирая руки. Потом отнял и посмотрел на ладонь.

— Тёплая, — сказал Анчик. — Пять лет назад я так же трогал. Зимой. Была холодная.

— Постарела, — сказал Ильмук.

— Нет, — сказал Анчик. — Такая же.

* * *

Съезжая изба в Нижнем была в городе, за стеной, и туда пускали не всех.

Ахплат пошёл с Юшкой. Юшка сказал стражнику у ворот что-то длинное, и стражник пропустил. В избе было трое писарей, и все трое писали, и никто не поднял головы.

Юшка кашлянул. Потом ещё раз. Потом сказал громко.

Ближний писарь поднял голову. Он был молодой, с тонкой бородкой, с пером за ухом.

Ахплат сказал про девятерых. Он сказал так же, как дома сказал бы про пропавших коней: откуда, когда, сколько, как звали. Зима пять лет назад. Лёд у устья Сёве «Свияги», торг. Русские с воеводами на конях. Девятеро из *Анаткасси* «Нижнего конца». Имена. Юшка переводил.

Писарь слушал, держа перо над бумагой, и ничего не писал.

— В Москве решат, — сказал он.

— Что решат?

— Всё, — сказал писарь. — Это дело не наше. Это дело государево. Государь решит, куда писать.

— А здесь они есть?

— Кто?

— Девятеро.

Писарь посмотрел на Юшку, как будто Юшка сказал глупость.

— Откуда я знаю, — сказал он. — Может, есть. Может, нет. Бумаги на них нет.

Второй писарь, в углу, старый, с белой бородой, с красными веками, поднял голову и прищурился.

— Той зимой, — сказал старый. — Той зимой, после Никольщины, пригоняли черемисский полон. Много. С устья Свияги, да.

Юшка перевёл. Ахплат шагнул к старому.

— Куда?

— По монастырям раздавали, — сказал старый. — Которых по служилым людям. Которых на Москву погнали. Их тут долго не держали. Кормить нечем было. — Он потёр глаза кулаком. — Бумаги на них тут нет. Не писали их тут. Ищи в Москве бумагу. Тут бумаги нет.

— А где в Москве?

Старый пожал плечами и опустил голову к листу.

Ахплат постоял. Потом достал из-за пазухи тряпицу, развернул её и показал старому ложку с конской головой на черенке.

— Это его, — сказал он. — Одного из девяти. Тойпулата. Может, видели.

Юшка перевёл. Старый поднял голову, посмотрел на ложку, поднеся её к самому лицу.

— Ложка, — сказал он. — Мало ли ложек.

Он опять опустил голову.

Ахплат завернул ложку в тряпицу и убрал за пазуху.

* * *

На берегу, у воды, Истома учил Анчика стрелять.

Ахплат пришёл туда вечером, после избы, и сел на перевёрнутую лодку. Истома стоял на песке, долговязый, и держал пищаль — длинную, тяжёлую, с ложем тёмного дерева и с железным стволом, — а Анчик стоял рядом и смотрел. Вокруг сидели стрельцы, человек шесть, и сивобородый с больной ногой среди них, и смотрели тоже. Им было весело.

Истома показывал. Он говорил по-русски, медленно, и показывал руками, и Анчик кивал.

Сначала — порох. Истома снял с перевязи на груди деревянный колпачок — у него их там висело много, в ряд, на ремне, — открыл и высыпал в ствол. Потом — пыж, из пакли, и шомполом вниз, в ствол, до упора, два раза. Потом — пуля, круглая, свинцовая, из сумки. Тоже шомполом. Потом — ещё немного пороха, мелкого, на полку у ствола, сбоку, и закрыть полку крышкой. Потом — фитиль. Фитиль тлел у него на руке, намотанный, и конец его Истома вставил в железную загогулину сбоку ложа и подул на него, и конец покраснел.

Он отдал пищаль Анчику.

Анчик взял. Пищаль была тяжелее, чем он думал — Ахплат это видел, — и ствол сразу пошёл вниз, и Анчик поднял его. Истома поставил его боком, подпёр ложе ему в плечо, повернул его голову щекой к ложу, показал на дерево на том берегу затона — старую иву, — и отступил.

— Жми, — сказал Истома. Это слово Ахплат понял по руке.

Анчик нажал.

Сначала зашипело на полке. Потом ударило.

Анчика отбросило. Он сел на песок, а пищаль у него в руках задралась стволом в небо, и над ним встал белый дым, и в дыму он сидел и смотрел перед собой, и лицо у него было такое, как будто его ударили ладонью по уху.

Стрельцы захохотали.

Хохотали все: и сивобородый, и Истома, и те, что сидели дальше, — хохотали, хлопая себя по коленям, и один упал на спину. Ива на том берегу стояла, как стояла. Куда ушла пуля, не видел никто.

Анчик сидел в дыму и мотал головой. Потом посмотрел на пищаль у себя в руках. Потом на иву. Потом на стрельцов.

И засмеялся тоже.

Он смеялся, сидя на песке, с пищалью в руках, и сажа была у него на щеке, и он смеялся так же, как хохотали стрельцы, и сивобородый хлопнул его по спине, и он чуть не упал снова. Истома наклонился, взял у него пищаль и что-то сказал, и стрельцы засмеялись ещё сильнее.

— Он говорит, — сказал Юшка, который тоже подошёл, — первый раз всех так. Кто не сел, тот не стрелял. — Он подумал. — А ещё он говорит, иве повезло.

Ахплат сидел на лодке и смотрел на сына. Сын смеялся. Он смеялся первый раз с того дня, как они вернулись с поля.

* * *

На торгу было всё.

Соль, железо, холст, сукно, сапоги, сёдла, ножи, горшки, мёд, рыба, воск, пряники. Лавки стояли в ряд, и в каждой кричали, и цены кричали в московских деньгах, и Ахплат ходил вдоль лавок и слушал цены и пересчитывал их на мёд.

Он хотел купить соли. Своей было ещё на неделю, а до Москвы — две. Он подошёл к лавке и спросил. Ему сказали. Он пересчитал на мёд. Выходило — полбочонок за мешок, если бы брали мёдом. Мёдом не брали.

Денег у него не было.

У него было серебро — одна монета, гнутая, — но она лежала в ящике у Третьяка, в городе на Сёве, за строку. Больше не было ничего. Мёд был на поминки, куницы на поминки, кони на поминки. Сам он в Москву ехал пустой.

Он стоял у лавки. Лавочник посмотрел на него, понял и отвернулся к другому.

Янтуду подошёл сзади. Он ничего не спросил. Он достал из калиты несколько монет — мелких, серебряных, с конём и с копьём, — отсчитал на ладони и протянул.

— Бери, — сказал Янтуду.

— Не надо.

— Надо, — сказал Янтуду. — Соль надо. До Москвы две недели.

Ахплат смотрел на монеты у него на ладони. Монеты были маленькие, тонкие, неровные, меньше ногтя. Шесть.

— Отдам, — сказал Ахплат.

— Отдашь мёдом, — сказал Янтуду. — Осенью. Один бочонок, липовый. Не гречишный — липовый.

— Липового нет у меня.

— У Анаткасси есть, — сказал Янтуду. — Я знаю.

Ахплат взял монеты. Он сосчитал их ещё раз у себя на ладони. Шесть. Он купил соли, и ему дали сдачи — одну монету, ещё меньше, — и он вернул её Янтуду, и Янтуду взял.

— Пять, — сказал Ахплат. — Я должен тебе пять.

— Бочонок, — сказал Янтуду. — Я тебе не деньги давал. Я тебе бочонок давал.

* * *

Ночью Ахплат лежал под телегой.

Обоз спал. У костров стрельцы сидели в караул, и был слышен их разговор, негромкий. Где-то ржал конь. Внизу, под горой, шла Атӑл, и её не было слышно, но Ахплат знал, что она там.

Анчик спал рядом. Он заснул сразу, как лёг, — после пищали у него звенело в ушах, и он сказал, что так даже лучше спать, не слышно ничего. Ильмук и анаткассинские спали у колёс.

Ахплат не спал.

Он лежал на спине и смотрел в днище телеги, в тёмные доски, и считал. Сначала он посчитал монеты: должен пять, или бочонок липовый. Потом посчитал мёд: девять. Потом соль: на две недели, если никто не будет брать лишнего. Потом дни до Москвы: две недели, если по Юшке, и три, если по дождю.

Потом, когда кончилось всё, что можно было считать, он стал называть девятерых.

Он называл их шёпотом, по порядку дворов, как их назвали у ворот в Анаткасси: от верхнего конца, где Сэпит, к нижнему, у брода. Сэпит. Тойпулат. Янтуш. Ахтупай. Ильмаш. Айтуган. Энтимер. Тимкке. Сентти.

Он называл имя и видел двор. Сэпитов — с кривым колодезным журавлём. Тойпулатов — где отец в прожжённой шапке. Янтушев — где осталась одна старуха. Ахтупаев. Ильмашев. Айтуганов — через дорогу от Урги.

На Урге он остановился. Урга не был из девяти. Урга был свой, отдельный.

Он начал сначала.

Сэпит. Тойпулат. Янтуш.

Бумаги на них нет. В Москве решат. По монастырям раздавали. Мало ли ложек.

Ахтупай. Ильмаш. Айтуган. Энтимер. Тимкке. Сентти.

Девять.

Он повернулся на бок, лицом к колесу, и положил руку на грудь, туда, где под рубахой лежала тряпица с ложкой. Там, где раньше лежала монета. Ложка была деревянная и лёгкая, и её почти не было слышно.

— Девять, — сказал он шёпотом, для себя.

Анчик во сне повернулся и что-то пробормотал по-русски.

Глава 7. Муромский лес

Анчик. Дорога Нижний — Муром — Владимир, июль 1551 года

На яме Истоме дали свежих лошадей.

Яма была просто двор у дороги — большой, огороженный, с конюшней на сорок стойл, с избой, с колодцем, с навесом для телег. Над воротами висела доска с каким-то знаком. Ямщик вышел на крыльцо, Истома показал ему бумагу, ямщик посмотрел, кивнул и крикнул в конюшню, и оттуда вывели трёх коней — сытых, чищенных, с блестящими боками. Истоме — под седло, двоим стрельцам с ним — под седло. Их прежних коней, мокрых, с опущенными головами, увели в конюшню, и Анчик видел, как им там сразу дали сена.

Суварские кони стояли у ворот. Им никто ничего не дал. Их надо было поить из своих вёдер, которые Анчик таскал от колодца, и ямщик смотрел, как он таскает, и считал вёдра, и за шестое сказал что-то стрельцу, и стрелец сказал Анчику: хватит.

— Он говорит, колодец государев, — сказал Юшка. — Воду считают.

— А кони?

— Кони тоже государевы. Эти, — Юшка показал на Истоминых. — А ваши — ваши.

Анчик отнёс шестое ведро и поставил перед отцовым конём. Конь пил долго, и Анчик стоял и держал ведро.

Пять лет назад было так же. Зима, снег, другая яма, где-то под Владимиром. Русскому гонцу, который ехал рядом, вывели свежих, а им с Ургой — ничего, и они поехали дальше на своих, и кони у них к вечеру шли шагом. Урга тогда сказал: «Он государев. А мы — ничьи». Анчик обиделся. Урга не обиделся. Урга сидел на коне, сгорбившись, и жевал сухарь.

Теперь они были чьи-то. А коней всё равно не давали.

Анчик хотел сказать это Урге. Он даже повернул голову, как будто Урга ехал рядом, — и там был Ильмук, который правил телегой и ничего не знал про ту яму.

Урга был в Хусан «Казани». Или не был. Анчик не знал.

Он отдал пустое ведро анаткассинскому и сел на коня.

* * *

За Нижним дорога пошла лесом, и лес не кончался.

Он был не такой, как дома. Дома лес был светлый, с липой и дубом, с полянами, с бортьями, с тропами, по которым ходили все, и в лесу всегда было слышно деревню — собак, топор, петуха. Здесь лес был тёмный. Ели, сосны, ольха в низинах, и в низинах вода, и над водой комары. Дорога шла через лес узкая, в одну телегу, с колеями по колено, и по бокам стояли ели так близко, что ветки задевали бочонки.

На второй день пошёл дождь.

Он пошёл с утра и не переставал. Сначала мелкий, потом крупнее. Колеи налились водой. Земля в колеях была глиняная, жёлтая, и телеги в неё садились сначала по обод, потом по ступицу. Кони тянули и не могли. Люди слезали и толкали.

Толкали все.

Анчик толкал отцову телегу, упёршись плечом в задок, по колено в жёлтой воде, и рядом с ним толкали Ильмук, отец и анаткассинские. Впереди толкали кубинские. Сзади — мурзовы люди. А потом Анчик увидел, что толкают и сами мурзы.

Магмет-мурза не толкал. Его телегу толкали его люди, а он сидел на белом коне под деревом и держал над головой кусок кожи. А Янтуду толкал.

Янтуду стоял у своей крытой телеги, в шёлковом халате, по колено в грязи, и толкал её плечом, и отдувался, и шёлк на нём был мокрый и тёмный и облепил его, как облепляет мокрая рубаха. Телега не шла. Янтуду отдувался и толкал.

— Янтуду! — крикнул отец. — Шёлк порвёшь!

— Шёлк крепкий, — сказал Янтуду, не оборачиваясь. — Это я не крепкий.

Телега пошла. Янтуду упал на колени в грязь, встал, вытер лицо рукавом, размазав по лицу жёлтое, и пошёл к следующей, к суварской, и упёрся в неё.

Юшкина кобыла легла в колею. Просто легла, на бок, в воду, и не вставала. Юшка стоял над ней и уговаривал.

— Вставай, — говорил он по-казански. — Вставай, дура. Я тоже устал. Я же не ложусь.

Кобыла не вставала. Двое стрельцов подняли её за хвост и за шею. Юшка сказал им «спаси бог» и повёл кобылу в поводу.

К вечеру прошли, по Истоминому счёту, шесть вёрст.

* * *

Ночевали на поляне.

Поляна была большая, у ручья, с травой по пояс, и в траве стояли старые пни — здесь когда-то рубили лес и бросили. Обоз встал кругом, телеги в круг, огни внутри. Коней пустили пастись на поляну, за телеги, спутав им ноги, чтобы не ушли далеко.

Пасти коней ночью ставили мальчишек. У каждой сотни были мальчишки — лет по двенадцать, четырнадцать, при телегах, для коней. Анчик был не мальчишка, но конский табун их края обоза — их сотни и трёх соседних — поставили ему, потому что он был провожатый и потому что Истома сказал: он у вас бойкий. Коней было шестьдесят четыре. Анчик сосчитал их, когда пускали, в проходе между двумя телегами, по одному, трогая каждого по крупу.

С ним были двое мальчишек с Кубни — братья, Эльмет и Тухтар, двенадцати и четырнадцати лет. Они спали по очереди у костра на краю поляны, и один всегда не спал.

Дождь к ночи перестал. Трава была мокрая. Луны не было.

Анчик сидел у маленького костра на краю поляны, спиной к телегам, лицом к лесу, с луком на коленях, и слушал, как кони жуют. Коня жевали ровно, со всех сторон, и переступали спутанными ногами, и фыркали, и это был хороший звук. От него хотелось спать.

— Анчик, — сказал Эльмет, младший. — А в Москве правда колокола сами звонят?

— Не сами. Их за верёвку дёргают.

— А кто дёргает?

— Мужик.

— Зачем?

— Не знаю, — сказал Анчик. — Так надо у них. Спи.

Эльмет не лёг.

— А на броду ты стрелял? — спросил он.

— Стрелял.

— Попал?

— Попал. — Анчик подумал. — В плечо.

— А он?

— Ускакал.

Эльмет помолчал. Этого он не ждал. В рассказах, которые он знал, в кого попали, тот падал.

— А кто они были? — спросил Тухтар. Он сидел у огня и до сих пор молчал. — На броду.

— Казанские, — сказал Анчик. — Татары.

Он сказал это слово так, как говорил его Истома: легко, как имя. Мальчишки слышали его в обозе от стрельцов, но от своего — первый раз, и Тухтар повторил его про себя, шевельнув губами.

— У нас Великий город был, — сказал Анчик. — Давно. Большой. Больше Москвы. Его с востока пришли и сожгли. Мне бабка говорила. А Истома говорит — это они и были. Они и Рязань жгли, его город. Они и сейчас там сидят, в Хусан. — Он показал рукой назад, на восток, в темноту, откуда шли. — Это одни и те же.

— Прямо те же? — спросил Эльмет.

— Их одним словом зовут, — сказал Анчик. — Значит, те же.

Мальчишки смотрели туда, куда он показал. Там был лес.

— А мы им что? — спросил Эльмет.

Анчик не ответил. Он не знал, что ответить, — он и себе этого не говорил ни разу, — и он взял палку и поправил огонь.

— Спи, — сказал он. — Твоя очередь спать.

Эльмет лёг. Тухтар сидел и смотрел в огонь.

Анчик думал про стрелу, которая осталась в плече у казанского на броду. Думал, достал ли её казанский, и что сделал с ней потом. Может, выбросил. Может, оставил себе. Может, показывает теперь дома и говорит: вот, суварская.

Кони перестали жевать.

Не все — сначала те, что ближе к лесу. Анчик услышал, что там стало тихо. Потом один конь всхрапнул, коротко, тревожно. Потом другой.

Анчик встал.

* * *

Сначала он ничего не видел. Было темно, за костром — совсем темно, и лес стоял чёрной стеной, и поляна была серая, и на ней стояли кони, светлые пятна и тёмные.

Потом он увидел, что пятна двигаются. Не пасутся — двигаются. Все в одну сторону. К лесу.

— Кони! — крикнул Анчик.

Он крикнул по-суварски, потом по-русски, как знал, — «кони!», — и Тухтар вскочил и тоже закричал, и Эльмет вскочил, и с телег закричали, и кто-то из стрельцов у большого костра заорал что-то длинное.

На поляне был кто-то ещё.

Анчик видел теперь. Люди — тёмные, пригнувшиеся — шли между конями. Они наклонялись к ногам, и конь вскидывался и шёл без пут. Они резали путы. Другие, у леса, — конные, двое или трое, — свистели негромко, как свистят, когда гонят скот, и махали чем-то, и кони шли к ним, в лес, в темноту.

Анчик натянул лук и пустил в тёмное, пригнувшееся. Не попал — он не видел, попал ли. Пустил ещё. Тёмное выпрямилось и побежало. Анчик побежал за ним.

— Стой! — кричали сзади, от телег, по-суварски. Кричал отец. — Анчик! Стой!

Он не остановился. Кони уходили. Шестьдесят четыре коня, и среди них отцов, и его, и серая с гнедым, поминки, и если они уйдут в лес — всё. Он бежал за конями через мокрую траву, и трава била по коленям, и пни попадались под ноги, и он спотыкался и бежал. Рядом бежал Тухтар. Эльмет отстал.

Кони уходили в лес. Не все — многие остановились, как только кончились путы, и стояли, и их никто не гнал. Но передние, десятка два, уходили, и за ними свистели.

Анчик добежал до леса. Здесь было совсем темно. Ели. Мокрые ветки по лицу. Он видел белые ноги коней впереди — у кого были белые ноги, — и больше ничего. Он натянул лук и пустил туда, где свистели. Свист оборвался и начался снова, дальше.

Потом земля кончилась.

Он не видел, что там овраг. Он бежал, и нога ушла вниз, и он полетел, и ударился боком, и покатился, и лук вырвало из рук, и он катился по мокрому, по листьям, по корням, и остановился на дне, в воде, в ручье, лицом в холодное.

Он встал на четвереньки. Потом на ноги.

Лука не было. Он пошарил рукой вокруг, в темноте, в воде, в листьях, — не было. Колчан был на спине, стрелы были, а лука не было. Он пошарил ещё. Рука нашла камень, корень, мокрую ветку.

На поясе был топор.

Он вытащил его. Топор был свой, отцовский, короткий, для работы, — им Анчик рубил корни на броду для могилы. Анчик стоял на дне оврага с топором в руке и не знал, куда идти. Где-то наверху ржали кони и свистели. Где-то сзади кричали от телег, далеко.

Рядом, в двух шагах, кто-то дышал.

* * *

Анчик не видел его. Он слышал: дыхание — тяжёлое, частое, как у человека, который бежал. И шорох. Человек тоже был на дне оврага. Может, тоже упал. Может, спустился за конём.

Анчик стоял и не дышал.

Человек тоже перестал дышать.

Они стояли в темноте, в двух шагах, и Анчик видел — не видел, а угадывал — тёмное пятно, выше его, шире, и в пятне что-то поднялось. Рука. И в руке что-то.

Анчик ударил первым.

Он не решал ударить. Он ударил, потому что тёмное поднялось, и потому что он был один на дне оврага, и потому что у него в руке был топор. Он ударил сбоку, как рубят корень, коротко, и топор во что-то вошёл, и его дёрнуло в руке, и тёмное качнулось и что-то уронило — это что-то упало в воду с тяжёлым плеском, — и Анчик выдернул топор и ударил ещё раз.

Тёмное упало.

Оно упало не сразу. Сначала опустилось на колени, в ручей, — Анчик слышал, как плеснула вода, — потом на бок. Потом задвигалось. Анчик стоял над ним с топором. Тёмное двигалось, медленно, в воде, как будто искало что-то рукой. Потом перестало.

Анчик стоял.

Он не знал, кто это был. Он не видел лица. Он не слышал ни одного слова. Это мог быть русский. Мог быть беглый. Мог быть свой — кто-то из обоза, из мальчишек, из стрельцов, кто побежал за конями, как он, и упал в овраг, как он. Эта мысль пришла, и Анчику стало холодно всему, от затылка вниз. Нет — у того в руке было что-то, и он поднял. У своих в руках нечего поднимать. Или есть.

Он не знал.

Наверху, на краю оврага, появился свет. Факелы. Два, три. Голоса, русские.

Анчик согнулся, и его вырвало.

Его рвало в ручей, долго, всем, что было, — хлебом стрельца, ужином, водой, — и потом, когда было уже нечем, ещё. Он стоял, согнувшись, упёршись свободной рукой в колено, и топор был в другой руке, и он его не выпускал.

* * *

Факелы спустились в овраг. Стрельцы — трое — и Истома. Истома держал факел высоко и светил.

Анчик выпрямился.

Истома посмотрел на него. Потом посветил вниз, на ручей, туда, где лежало. Анчик не посмотрел. Он смотрел на Истомино лицо, освещённое снизу. Лицо было мокрое, рыжая борода мокрая. Истома смотрел на то, что лежало, долго. Потом сказал что-то стрельцу. Стрелец наклонился, пошарил в воде и достал оттуда кистень — гирька на ремне, на короткой палке. Показал Истома.

Истома кивнул.

Потом подошёл к Анчику, положил ему руку на плечо и сказал что-то — одно слово, короткое, — и Анчик не понял. Истома подержал руку и убрал.

— Пошли, — сказал Истома. Это слово Анчик знал.

Один из стрельцов нашёл его лук — в кустах, на склоне, в трёх саженях от того места, где он искал.

* * *

К утру коней собрали.

Их собирали всю ночь, с факелами, по лесу, по оврагам, свистом и хлебом. Кони, которые не ушли далеко, приходили сами на свист. Тех, что ушли, догоняли конные стрельцы и дети боярские. Под утро Анчик пересчитал в проходе между телегами, по одному, трогая каждого по крупу.

Шестьдесят один.

Он пересчитал снова. Шестьдесят один. Трёх не было — ушли совсем, с теми, кто свистел. Не отцовы, не серая и не гнедой: те вернулись. Не его — его конь пришёл сам, на свист, одним из первых, мокрый, с порванной путой на ноге. Трёх не было из кубинских.

Лихих было, говорили потом, десятка полтора. Двое убиты: один — тот, в овраге, второй — стрельцы застрелили у леса. Одного взяли живым. Его держали у большого костра, связанного, и он сидел и молчал, и Анчик на него не смотрел.

Утром, когда обоз выходил на дорогу, у дороги на краю поляны стоял столб. Новый, из свежей ели, со снятой корой, белый. Наверху перекладина. Его поставили на рассвете, пока Анчик был у ручья.

Анчик проехал мимо, глядя на уши своего коня.

* * *

У ручья он был долго.

Он пришёл туда, когда посветлело, и сел на камень у воды, и стал мыть руки. Руки были чистые — он их вымыл ещё ночью, в том же овраге, — но он мыл снова. Он тёр их песком, и ладони, и между пальцами, и под ногтями, и ополаскивал, и смотрел на них, и тёр снова.

Топор лежал рядом на камне. Он его тоже вымыл. Два раза.

Отец пришёл и сел рядом.

Он сел на соседний камень, ниже по течению, и ничего не сказал. Он сидел и смотрел на воду. Анчик мыл руки. Отец сидел.

Долго.

Потом отец полез за пазуху, достал хлеб — кусок сухаря, свой, домашний, из мешка, который положила мать, — и протянул Анчику.

— Ешь, — сказал отец.

Анчик посмотрел на сухарь. Потом на свои руки, мокрые. Потом вытер руки о штаны и взял.

Он откусил. Сухарь был твёрдый и пах домом — печью, их печью, и немного мышами, потому что мешок стоял в амбаре. Анчик жевал. Горло не глотало. Он жевал, и жевал, и проглотил.

Отец сидел и смотрел на воду.

Больше он ничего не сказал ни тогда, ни потом.

* * *

Юшка догнал его на дороге после полудня. Кобыла у Юшки после вчерашней грязи шла бойко, как будто стыдилась, и он ехал рядом с Анчиком и долго молчал, что для Юшки было странно.

— Стрельцы говорят — беглый, — сказал он наконец.

Анчик смотрел на уши коня.

— Тот, в овраге, — сказал Юшка. — Говорят, беглый холоп. С какой-нибудь вотчины. Их тут по лесам много. Им есть нечего, они коней уводят и продают на Оке. Так стрельцы говорят.

— А он русский был?

Юшка пожал плечами.

— Он был в овраге с кистенём, — сказал он. — Больше про него никто не знает. Тот, которого взяли, про него ничего не сказал. Сказал — прибил к ним весной, звали Сенька. Может, Сенька. Может, нет. Тут все Сеньки.

Анчик ехал.

— Истома сказал в бумагу про него не писать, — сказал Юшка. — Написал: лихих двое побито, один взят. И всё. Ни имени, ни чей. — Он подумал. — Это хорошо, между прочим. Если бы писали, спросили бы, кто убил. А так — двое побито, и никто не убивал. Сами.

Он засмеялся. Анчик не засмеялся. Юшка посмотрел на него и перестал.

— Ты не думай, — сказал Юшка уже без смеха. — Он бы тебя тоже. Кистенём. Он для того и поднял.

— Я не видел, что он поднял.

— А я видел кистень, — сказал Юшка. — Этого хватит.

Он хлестнул кобылу и уехал вперёд, к Истоме. Анчик ехал дальше. Двое побито, и никто не убивал. Он повторил это про себя, как повторял строку, которую писарь прочитал в городе, и оно не держалось: строка держалась, а это — нет.

* * *

Через три дня был Муром.

Анчик помнил его — пять лет назад они с Ургой ночевали здесь, на посаде, у какой-то вдовы, которая кормила их кашей и боялась. Город стоял на высоком берегу над рекой, над Окой, и над ним были церкви. Анчик стал считать главы.

Он считал их пять лет назад. Это была игра, которую придумал Урга, чтобы не скучно: кто больше насчитает. Анчик тогда насчитал в Муроме двадцать шесть, а Урга двадцать восемь, и они спорили, и оказалось, что Урга считал одну церковь два раза, с двух сторон.

Раз. Два. Три — большая, с пятью главами, — пять, шесть, семь.

За Муромом был лес, опять, и во Владимире опять церкви, белые, каменные, старые, больше всех, что он видел, и в них были главы, и он считал. За Владимиром была Клязьма, и по Клязьме сёла, и в сёлах церкви, деревянные, и на них главы.

Он считал.

Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать — на той, что над речкой, у мельницы. Девятнадцать.

Двадцать.

На двадцатой он бросил.

Он не решал бросать. Просто перестал. Посмотрел на двадцатую — маленькую, деревянную, с крестом, над серой деревенской церковью у дороги, — и больше не стал. Урги не было, и спорить было не с кем. И считать было незачем.

Отец ехал впереди, на своём коне, рядом с телегой. Анчик смотрел ему в спину. Спина была широкая, и отец сидел на коне прямо, и левая рука у него лежала на колене, та, что плохо гнулась.

Анчик тронул коня и поехал рядом.

— Сколько ещё? — спросил он.

— До Москвы?

— До Москвы.

Отец посмотрел на дорогу впереди.

— Ты знаешь, — сказал он. — Ты там был.

— Пять дней, — сказал Анчик.

— Пять, — сказал отец.

Они поехали рядом. Анчик держал повод и смотрел на дорогу, и руки у него лежали на седле спокойно. Он посмотрел на них. Руки не дрожали. Он смотрел на них долго, и они не дрожали, и это было странно, потому что он ждал, что будут.

Глава 8. До указу

Ахплат. Москва, конец июля 1551 года

Бирку Ахплат вырезал в первый же вечер, из ольховой щепы, которую подобрал у ворот.

Он сел на колоду во дворе, куда их поставили, выстрогал щепу ножом в плоскую дощечку длиной в ладонь и сделал на ней первую зарубку. Правой рукой — левой он резал плохо, она не держала нож как надо. Зарубка вышла короткая, в ноготь. День первый.

— Зачем? — спросил Ильмук.

— Сколько стоим.

— А сколько будем?

— До указу, — сказал Ахплат.

Это было русское слово, и он его выучил в первый же день, потому что его говорили все: пристав, писари, сторожа у ворот, хозяйка двора. «До указу». Юшка перевёл: пока не скажут. Кто скажет — Юшка не знал. Когда — тоже.

— Значит, режь, — сказал Ильмук.

* * *

Москва началась за день до Москвы.

Сначала был дым. Он стоял над краем неба, впереди, широкий, серый, от края до края, как стоит над лесом, когда лес горит, — только лес не горел. Анчик сказал: это она. Потом пошли сёла, сёла, сёла, без леса между ними, одно к другому, и дорога стала шире, и на ней стало тесно — телеги, конные, пешие, стадо, опять телеги. Потом был посад, и посад не кончился. Потом была стена.

Стена была красная, как в Нижнем, из тех же мелких камней, высокая, с башнями, и она шла от реки куда-то вглубь, за дома, и за ней была ещё одна — такая же красная, только выше и толще, — и за второй стояли церкви, и главы на них были золотые, и было их столько, что Ахплат не стал считать. Он сначала стал, а потом не стал.

Звонили колокола.

Звонили не в одной церкви, а во многих, в разных концах, то один, то сразу три, то все вместе, и потом один, и снова. Ахплат ждал, что сейчас что-то случится — пожар, смерть, царь едет, — потому что дома в било бьют, когда что-то случилось. Ничего не случилось. Люди на улице шли, как шли, и не поднимали голов.

— Они просто так звонят, — сказал Анчик. — Я говорил.

— Зачем?

— Не знаю. Им нравится.

Анчик ехал впереди и вёл. Он вёл уверенно первые сто шагов, потом медленнее, потом остановился на перекрёстке и стал смотреть по сторонам.

— Тут был колодец, — сказал он.

Колодца не было. Был новый забор, и за забором новая изба, из свежего тёса, жёлтого, ещё не посеревшего. И справа новая, и слева новая, и дальше по улице все были новые, и все жёлтые.

— Горело, — сказал Юшка. — Четыре года назад. Всё горело. Весь город. Кремль горел. Государев двор горел. Людей погорело — не сосчитать. Потом отстроили.

— Я помню, — сказал Анчик. — Я тут был.

Он стоял на перекрёстке и смотрел на жёлтые избы, и Ахплат видел, что он не узнаёт ни одной.

— Куда теперь? — спросил Ильмук.

— Не знаю, — сказал Анчик. — Раньше знал.
Их повёл Истома.

* * *

Поставили их на дворе у торгового человека в Заяузье, за рекой, за малой речкой, которая впадала в большую. Двор был большой, с избой, с клетью, с сараем, с колодцем, и хозяин был недоволен. Истома показал ему бумагу, хозяин прочитал, поджал губы и отвёл их в сарай.

— Он говорит, — сказал Юшка, — по государеву указу. Ему велено принять. Он и принял. Кормить не велено, кормить будут от государя.

На другой день привезли корм.

Его привозили каждое утро на телеге, от какого-то двора, где кормили всех таких, как они, — послов, гонцов, челобитчиков. Привозил мужик с телегой, а с ним ходил подьячий с бумагой, и подьячий выкликал, и мужик выдавал, и подьячий ставил в бумаге знак.

На пятерых: хлеба — пять ковриг, больших, ржаных. Рыбы — две сушёные щуки или пять лещей, как когда. Квасу — ведро. Крупы — на котёл. Соли — горсть в тряпице. В постные дни — без рыбы, с горохом.

Ахплат принимал. Он принимал, как принимал бы ясак: пересчитывал ковриги, трогал рыбу, заглядывал в ведро. Один раз ковриг было четыре. Он сказал подьячему. Подьячий посмотрел в бумагу, потом на него, потом на мужика, и мужик полез под рогожу и достал пятаю.

— Он считает, — сказал подьячий Юшке с удивлением.

— Он сотник, — сказал Юшка. — Он всегда считает. Он и тебя посчитал, ты не заметил. Подьячий засмеялся и ушёл.

Вечером Ахплат резал на бирке. Три. Четыре. Пять.

* * *

Их водили от стола к столу.

Каждое утро, после корма, приходил Истома, и они шли — Ахплат, Янтуду, Юшка, иногда ещё кто-нибудь из мурз или сотников — в Кремль, за красную стену. Там были избы, и в избах сидели писари, и у каждой избы стояли люди и ждали. Истома подходил к одной, говорил со сторожем, сторож уходил в избу, возвращался и говорил что-то. Истома вёл к другой.

— Он говорит — не их дело, — переводил Юшка. — Он говорит — идите в Разряд. — Потом: — Он говорит — в Разряде сказали, это Посольское дело. — Потом: — В Посольском сказали: они не послы, они государевы люди, это Разрядное. — Потом: — Он говорит: подождите.

— Кто они? — спросил Ахплат. — Мы кто — послы или государевы люди?

Юшка спросил Истома. Истома подумал, почесал нос и сказал что-то.

— Он говорит — сами решают, — сказал Юшка. — Пока не решили.

Про девятерых Ахплат сказал три раза трём писарям.

В первой избе писарь выслушал и сказал: «Это не к нам». Во второй писарь выслушал, записал что-то на обрывке, отложил обрывок в сторону, на стопу других обрывков, и сказал: «Подавай челобитную». В третьей писарь сказал «подавай челобитную», не выслушав до конца.

— Что такое челобитная? — спросил Ахплат.

— Бумага, — сказал Юшка. — Где написано, о чём просишь. Без бумаги у них не слушают. Слушают, но не слышат.

— Кто её пишет?

— Ты.

— Я не умею.

— Никто не умеет, — сказал Юшка. — На площади есть такие, кто за деньги пишет. Площадные. Они и пишут.

* * *

Площадной подьячий сидел на Ивановской площади, под навесом, у стены церкви, на скамейке, и перед ним был столик, а на столике чернильница и бумага. Он был молодой, с жидкой бородёнкой, с ловкими руками, и таких, как он, под навесами сидело человек десять, и у каждого стояли люди.

Ахплат сказал ему про девятерых. Юшка перевёл. Подьячий слушал, кивал и не писал.

— Он говорит — это можно, — сказал Юшка. — Он говорит — сперва скажи, как тебя писать.

— Как писать?

— Ну, — сказал Юшка, — кто ты государю. Служилые пишутся «холоп твой». Крестьяне и посадские — «сирота твой». Попы — «богомалец твой». Ты кто?

Ахплат подумал.

— Я сотник.

— Сотник — это служилый?

— Я ясак собираю. Со своих. И везу.

Подьячий послушал Юшку, посмотрел на Ахплата и сказал что-то, пожав плечами.

— Он говорит — ин будь сирота, — сказал Юшка. — Сироте проще. Холопу надо писать, в каком ты полку и у какого воеводы, а ты не знаешь.

— Сирота, — сказал Ахплат.

Слово было русское. Юшка перевёл его — это значило то же, что у суваров: у кого нет отца и матери. Ахплат постоял. Мать у него была жива. Она сидела у стана.

— Добро, — сказал он. — Пусть сирота.

— Как вас пишут? — спросил подьячий через Юшку. — Откуда вы? Кто писал вас раньше?

И тут Анчик, который стоял сзади, шагнул вперёд.

Он сказал по-русски — ровно, чисто, так, как Третьяк читал в избе на Сёве «Свияге», — то, что повторял губами по ночам. От первого слова до последнего. Горние стороны черемиса, а по их — чуваша, сотник Ахплатко Атнеров с товарищи. Три деревни, сто двенадцать дворов.

Подьячий поднял голову.

Он посмотрел на Анчика, потом на Юшку, потом опять на Анчика. Потом засмеялся, обмакнул перо и стал писать — быстро, не переспрашивая, — и Ахплат видел, что пишет он то, что сказал Анчик, слово в слово.

— Он говорит — вот это дело, — сказал Юшка. — Он говорит — вот так бы все. А то приходят и говорят, говорят. А тут готовое.

Анчик стоял и краснел.

Подьячий писал. Потом прочитал вслух, для порядка, начало, и Юшка перевёл: «Царю государю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси быют челом сироты твои...» — и дальше то, что сказал Анчик, и дальше про девятерых: взяты в лета семь тысяч пятьдесят пятого зимой на Свияжском устье, на торгу, на льду, государевыми людьми, девять человек, а имена им... И он писал имена, которые называл Ахплат, а Юшка повторял, и подьячий переспрашивал каждое, и писал, и переспрашивал снова.

— Сэпит.

— Сепитко, — повторил подьячий и написал.

- Тойпулат.
- Тойпулатко.
- Янтуш.
- Янтушко.

Ахплат слушал, как каждое имя получает хвост. Девять имён. Девять хвостов. Урги среди них не было, а если бы был — был бы Ургинко, или как там у них. Он подумал, что если их найдут, то будут звать так, с хвостами, и они будут отзываться, потому что куда деваться.

— С письма, — сказал подьячий.

Юшка перевёл число. Число было больше, чем у Третьяка. Ахплат стоял, и у него не было ничего.

Янтуду заплатил. Он не спросил, не сказал ни слова, просто вынул из калиты монеты, отсчитал подьячему и убрал калиту. Подьячий подул на лист, свернул его трубкой и отдал Ахплату.

Ахплат держал лист в руке. Бумага была лёгкая.

— Два, — сказал он Янтуду, когда отошли.

— Что — два?

— Два бочонка. Липовых.

Янтуду посмотрел на него, как будто хотел сказать что-то смешное. Потом не сказал.

— Два, — согласился он.

* * *

Анчик нашёл свой двор на восьмой день.

Он искал его все дни, пока они ходили от стола к столу: уходил, когда было можно, и возвращался к вечеру. Возвращался молча. На восьмой день пришёл и позвал отца.

— Пойдём, — сказал он.

Они пошли вдвоём, через реку, через торг, по улицам, которых Ахплат не знал. Анчик шёл быстро и не оглядывался. Потом свернул в проулок, в другой, и остановился у ворот.

Ворота были новые, как всё. Изба за ними новая. А во дворе, у сарая, стоял человек и набивал обруч на бочку.

Человек был старый, седой, с пегой бородой, в кожаном переднике, и набивал он обруч деревянной колотушкой, коротко, точно, по кругу. Анчик стоял у ворот. Человек поднял голову, посмотрел на него, опустил голову и ударил колотушкой ещё раз. Потом снова поднял.

Потом положил колотушку на бочку.

— Анчик, — сказал он. — Анчик?

Он сказал «Анчик» так, как говорили русские, — «Анчак», — и Анчик засмеялся.

Бондарь подошёл к воротам, вытирая руки о передник. Он постарел. Ахплат это видел, хотя никогда его раньше не видел: видно было по тому, как он шёл, как держал спину, как щурился. Он подошёл к Анчику, взял его за плечи двумя руками, потряхнул и сказал что-то длинное и громкое, и засмеялся, и Анчик тоже засмеялся и тоже сказал что-то по-русски, из своих сорока слов.

Потом бондарь повернулся к сараю и позвал.

Из сарая вышла лошадь. Старая сивая кобыла, с отвислой губой, с проваленной спиной, с белыми пятнами на боку. Пятна были не от масти — от ожогов, старых, заросших, и шерсть на них росла белая. Она вышла на голос, медленно, и встала у бондаря за плечом.

Анчик смотрел на неё.

— Это она, — сказал он отцу, не оборачиваясь. — Я её вывел. Когда горело. Сарай горел, а она не шла, она огня боялась, и я ей глаза рубахой закрыл и вывел. У меня рукав сгорел.

Бондарь говорил что-то и показывал на кобылу, на пятна, на Анчика, и смеялся. Кобыла потянулась к Анчику губой и понюхала его рукав. Тот самый, наверно, только рубаха была другая.

— Он говорит — жива, — сказал Анчик. — Воду возит. Он говорит — она тебя помнит. Врёт, наверно.

Кобыла фыркнула ему в плечо.

— Может, не врёт, — сказал Анчик.

Они стояли у ворот, двое, старый бондарь и Анчик, и смеялись, а кобыла стояла между ними и жевала Анчиков рукав, и Ахплат стоял сзади и смотрел. Потом бондарь увидел его, спросил что-то у Анчика и поклонился Ахплату — не низко, но поклонился, — и Ахплат поклонился ему.

Бондарь посмотрел на их телегу, которую не видел, — Анчик рассказал ему, что у них девять бочонков, — и спросил, какие бочонки. Анчик сказал: липовые, дубовые клёпки. Бондарь покачал головой и сказал: у вас там дуба много, а у нас дуб дорогой.

— Он говорит — привези ему клёпки, — сказал Анчик. — Он говорит — он тебе за них бочку сделает.

— Как я ему привезу?

— Не знаю. Он просто говорит.

Ахплат посмотрел на бондаря, на его руки — большие, в мозолях, с чёрными ногтями, как у всех, кто работает с деревом.

— Скажи — привезу, — сказал он. — Если ещё приеду.

Анчик перевёл. Бондарь засмеялся и хлопнул его по плечу.

* * *

По вечерам сувары разных сотен сходились к одному огню.

Огонь жгли на пустыре за Яузой, недалеко от их двора, — там стояли и другие сувары, и кубинские, и с Савала «Цвиля», — и туда приходили, потому что в сараях было душно, а на пустыре можно было сесть кругом и говорить по-своему. Приходил и Байдеряк: он пристал к обозу со своими людьми за Савалом, после брода, и дошёл с ними до Москвы.

У огня спрашивали.

Спрашивали новых, кто подходил, — кто не с их конца, — и спрашивали старым вопросом, каким спрашивают дома у чужого на дороге:

— *Камӑн эсӗ, ӳҫтан?* «Чей ты и откуда?»

И отвечали длинно.

Ахплат слушал, как отвечают. Имя. Отец. Род. Мать. Бабка. Село. Какой конец. Какая река. Какая река в какую. Отвечали не торопясь, со всеми остановками, и спрашивавший слушал, кивал и иногда перебивал: «Постой, Урмаевы — это которые? Это с того берега Сёве? У меня тётка из Урмаевых». И тогда начиналось: какая тётка, чья дочь, за кем замужем, — и находилось, что они почти родня, через троих.

Никто не говорил «короче». Здесь было некуда торопиться.

Ахплата спросили тоже. Он ответил так же, как в избе у Третьяка, до того места, где Третьяк поднял руку, — и дальше, до конца, до реки. Его слушали. Один старик с Савала сказал, что знал его бабу, Урмаеву, — видел раз на свадьбе, лет сорок назад, — и что она была высокая и громко смеялась. Ахплат этого не знал. Бабка умерла, когда он был маленький.

Спросили Байдеряка.

Байдеряк сидел у огня на своём седле, в шубе, хотя было тепло, и ответил сразу, одним духом, как отвечают писарю:

— Байдеряк Барзаев. Савал.

И замолчал.

У огня помолчали тоже. Потом кто-то сказал:

— И всё?

— Всё, — сказал Байдеряк.

— А Барзаев — это чей?

— Отца так звали. Барзай. А по-писаному — Барзаев.

— А мать?

— Мать есть, — сказал Байдеряк. — Её не пишут.

— А род?

— Род пишут в одно слово с отцом. У них так.

— Байдеряк, — сказал старик с Савала, — я твоего деда знал. Он на вопрос отвечал, пока у спрашивающего пиво не кончится. А ты — два слова.

— Три, — сказал Байдеряк.

— Два с половиной, — сказал старик. — «Савал» — это не слово. Это река.

Засмеялись. Байдеряк засмеялся тоже — он был незлой, — но потом, когда смеялись над другим, Ахплат видел, что он сидит и шевелит губами. Может, повторял про себя. Может, считал, сколько у него на самом деле слов, если по-старому.

* * *

На десятый день пришёл Янтуду и сказал, кто будет говорить у государя.

Он пришёл вечером, в сарай, сел на мешок с сухарями, отдулся и сказал:

— Говорить будут Магмет и Ахкубек.

— Кто решил?

— Решили, — сказал Янтуду. — Там решили. Они главные. Им и грамоту давать, им и говорить.

— Какую грамоту?

— Государь даст. Если даст. — Янтуду посмотрел на Ахплата. — Сотники будут стоять. Сзади. Ты встанешь сзади. Я скажу за всех.

— Ты не главный.

— Я не главный, — согласился Янтуду. — Но меня спросят. Меня в особый список писали, помнишь? К столу выше. Магмет скажет своё, Ахкубек своё, а если что спросят — я скажу. Я по-русски немного говорю. Я скажу за всех.

— И за девятерых?

Янтуду помолчал.

— Девятерых ты подашь сам, — сказал он. — Бумагу. Потом. Не там. Там про девятерых не говорят. Там говорят про всех.

Ахплат смотрел на него. Янтуду смотрел на Ахплата. Они двадцать лет пили пиво через овраг, и Янтуду ни разу не сказал ему неправды, а если хотел соврать — молчал.

— Добро, — сказал Ахплат. — Встану сзади.

Янтуду кивнул и встал с мешка.

— Сухари у тебя кончаются, — сказал он. — Мешок мягкий.

— Корм дают.

— Корм, — сказал Янтуду. — Корм не хлеб. Корм — это чтобы не умер.

Он ушёл. Ахплат достал бирку. Десять зарубок. Он вырезал одиннадцатую — на завтра, заранее, — и потом подумал и срезал её ножом, стёр пальцем. Заранее нельзя. Пусть сначала будет день.

* * *

Указ пришёл на одиннадцатый день, к вечеру.

Пришёл Истома, мокрый — днём шёл дождь, — и сказал через Юшку, и Юшка перевёл одним словом, как всегда переводил главное:

— Завтра.

— Что завтра?

— К государю завтра, — сказал Юшка. — С утра. Рано. Всем быть чистыми. Шапки снять, когда скажут. Кланяться, когда скажут. Говорить, когда спросят. Не спросят — не говорить.

Истома сказал ещё что-то, долго, загибая пальцы. Юшка слушал и кивал.

— Он говорит, — перевёл Юшка, — поминки несите. Мёд, меха. Коней поведут отдельно, их примут на конюшне. Он говорит — стоять будете у дверей. Он говорит — не толкаться. Он говорит — не глазеть. — Юшка подумал. — Последнее я бы не обещал.

Истома ушёл. Юшка ушёл за ним.

Ахплат сидел на колоде у сарая.

Потом встал и пошёл в сарай, к мешкам, и развязал тот, который Айвика положила последним. Сверху, под завязкой, лежала свёрнутая рубаха. Он её видел у ворот, в тот день, когда уезжали, — и не спросил, и всю дорогу помнил, что она там, и не доставал.

Он достал её теперь.

Рубаха была белая, новая, неношенная, из тонкого холста, и по вороту и по рукавам шла вышивка — красная, мелкая. Не луговая, а суварская, такая, как шьют у них на верхнем конце. Айвика вышивала её зимой — он вспомнил: зимой, по вечерам, у лучины, и он спрашивал, кому, и она говорила «так», и он не спрашивал больше.

Он развернул её и положил на лавку у стены. Расправил ладонью, от ворота вниз, по одному рукаву, по другому. На холсте остались складки — квадратами, там, где она лежала свёрнутая, — и он провёл по складкам ещё раз, и они не разгладились.

Анчик вошёл с водой, увидел и остановился.

— На царя, — сказал Анчик.

— На царя, — сказал Ахплат.

Анчик поставил ведро. Подошёл и посмотрел на вышивку.

— Мать шила, — сказал он.

— Мать.

Ахплат сел на край лавки, рядом с рубахой, и сидел, положив на колено правую руку, а левую — поверх правой. Складки на холсте не расходились. Он подумал, что к утру разойдутся, если так лежать.

Бирка лежала у него на колене. Одиннадцать зарубок. Он её не убрал.

Глава 9. Государь



Ахплат. Москва: Кремль, палата; казённый двор, начало августа 1551 года

Рубаха за ночь разошлась не вся.

Ахплат надел её до света, в сарае, при лучине, и складки остались: на груди квадрат и на спине квадрат, от того, как она лежала в мешке. Он провёл по ним ладонью. Айвика бы сбрызнула водой и прогладила рубелем. Рубеля не было, и Айвики не было.

— Не видно, — сказал Анчик.

— Видно.

— Под кафтаном не видно.

Кафтана у Ахплата не было. Был суконный, домашний, серый, в котором он ездил в город на Сёве «Свияге» к воеводам, и он надел его поверх, и складки стало не видно. Шапку он надел новую, войлочную, с отворотом, которую не надевал с Нижнего. Сапоги Ильмук с вечера натёр салом.

Ильмук и анаткассинские оставались на дворе, с телегой. Их не звали. Звали сотников и провожатых, по росписи.

— Посмотри там за меня, — сказал Ильмук.

— На что?

— На всё, — сказал Ильмук. — Потом расскажешь.

* * *

По улицам шли толпой, за приставом.

Пристав был не Истома, а другой, московский, толстый, в красном кафтане, с бумагой в руке. Истома шёл рядом с ним, чуть сзади, мокрый от росы, и за Истомай шли все: мурзы вперёд, на конях, в шёлку, — Магмет и Ахкубек впереди мурз, на белых, — потом мурзовы

люди пешком, потом сотники, потом провожатые, потом люди с поминками. Мёд в бочонках несли на носилках, по двое. Меха — в руках, связками, напоказ. Коней вели отдельно, другой дорогой.

По краям улицы стояли стрельцы. Через каждые десять шагов — стрелец с бердышом. За стрельцами — народ. Народ глазел.

Ахплат шёл и видел, как на них глазают. Бабы, мужики, мальчишки на заборах. Глазели на мурз — на шёлк, на коней. Потом на сувар. На сувар глазели дольше. Показывали пальцами на шапки, на лапти у кого-то из кубинских, на меха. Кто-то засмеялся. Кто-то крикнул что-то, и вокруг засмеялись тоже.

— Что кричат? — спросил Ахплат Юшку.

— Что вы в шубах, — сказал Юшка. — Летом.

— Мы не в шубах.

— Байдеряк в шубе.

Байдеряк шёл впереди, в шубе, и потел, и не снимал.

У ворот Кремля, у красной башни с воротами, толстый пристав остановился, развернул бумагу и стал выкликать. Он выкликал долго: сначала мурз по именам, и мурзы проезжали в ворота, — потом сотников. Выкликал он по росписи — Ахплат это понял, потому что слышал знакомое.

— ...Горние стороны черемиса, а по их — чуваша... — читал пристав. — ...сотник Ахплатко Атнеров с товарищи...

— Иди, — сказал Юшка. — Это ты.

Анчик сзади шевелил губами — вместе с приставом, слово в слово. Ахплат видел это краем глаза.

Слово было московское. Оно было в бумаге у московского пристава, в Москве, у Кремля, и пристав прочитал его не споткнувшись, как читают привычное. Месяц назад его приписал над строкой Третьяк, мелко, не по форме. Теперь оно было здесь.

Ахплат прошёл в ворота.

* * *

Палата была каменная.

Вся — и пол, и стены, и потолок. Потолок был не потолок, а своды — они шли дугами от стен вверх и сходились, и Ахплат, войдя, поднял голову и так и остался стоять, пока Юшка не дёрнул его за рукав. Сводь были расписаны: люди, деревья, звери, какие-то крылатые, всё в красном, синем, золотом, так густо, что между ними не было пустого места. Стены тоже расписаны. Окна были маленькие, высоко, и свет из них падал пятнами. Горели свечи — много, в подсвечниках, — и пахло воском и ладаном, и ещё чем-то сладким.

Вдоль стен стояли лавки, и на лавках сидели бояре.

Их было много. Ахплат не считал. Они сидели в шубах — летом, в шубах, в высоких меховых шапках, — и в шубах из такого меха, какого Ахплат не видел никогда: чёрного, блестящего, густого. Они сидели неподвижно, положив руки на колени, и не разговаривали. Бороды у них были длинные, у многих до пояса.

Юшка наклонился к уху:

— Вот тебе и шубы. А ты говорил — Байдеряк.

Сувар поставили у дверей.

У самых дверей, сзади всех — сзади мурз, сзади мурзовых людей, сзади поминок, которые сложили у стены: бочонки, меха. Ахплат стоял в первом ряду сувар, и перед ним были спины: мурзы, шёлк, чалмы, высокие шапки. Между спинами было видно палату, и в конце палаты, далеко, на возвышении, — кресло, и в кресле человек.

Ахплат смотрел в щель между спинами.

* * *

Мурзы подходили первыми.

Их выкликали — толстый пристав выкликал, стоя у возвышения, — и мурза выходил, шёл через палату по ковру, и перед возвышением кланялся, до земли, касаясь рукой пола, и вставал, и поднимался на ступень. И человек в кресле протягивал руку и клал её мурзе на голову. На чалму. Держал немного и убирал. И мурза отходил, пятясь, не поворачиваясь спиной.

Ахплат видел это первый раз.

Он не понимал, что это. Дома так никто не делал. Дома руку на голову клали детям — когда хвалили или когда жалели. И ещё старики клали руку на голову тому, кого благословляли в дорогу. Но мурзы были не дети, и в дорогу их никто не провожал. Может, это была милость. Может, что-то другое — он не знал что. Он смотрел, как Магмет-мурза, седой, важный, стоит на ступени, наклонив голову, и на голове у него чужая рука, и Магмет не шевелится.

— Это у них так с мусульманами, — прошептал Юшка. — Руку на голову. Потому что мусульманину к руке нельзя. Карашеванье зовётся.

— А нам?

— А вам — не знаю, — прошептал Юшка. — Посмотрим.

Янтуду выкликали пятым среди мурз. Он пошёл через палату тяжело, отдуваясь, и Ахплат видел его спину — широкую, в сером шёлке, — и видел, как он кланяется, и как долго встаёт, и как поднимается на ступень, и как ему на голову ложится рука.

Янтуду вернулся на место и встал. Лицо у него было такое же, как всегда. Он посмотрел на Ахплата через головы, чуть поднял бровь и ничего не сказал.

* * *

Потом выкликнули сувар.

Выкликали всех сразу, по росписи, сотников — «с товарищи». Их было двадцать с лишним, сотников, с Сёве, с Савала «Цивиля», с Кубни, из-за Сър «Суры», и они вышли из-за спин мурз и пошли через палату толпой, как шли на поле, не в ряд. Пристав у возвышения смотрел на них. Истома, который шёл рядом, что-то тихо говорил, показывая руками: сюда, сюда, тише.

Ахплат шёл впереди. Он не хотел впереди — так вышло: он стоял в первом ряду у дверей, и когда выкликнули, он пошёл первым, и за ним пошли.

Ковёр был мягкий. Ахплат шёл по нему в сапогах, натёртых салом, и думал, что сапоги пачкают ковёр.

У возвышения пристав остановил их рукой.

Он остановил и замялся. Ахплат видел, что он замялся: он посмотрел на сувар, потом на возвышение, потом на боярина, который стоял у кресла справа, потом опять на сувар. Он не знал, что с ними делать. К руке — нельзя, они не крещёные. На голову — они не мусульмане. Как с ними — никто не сказал.

Пристав шагнул к боярину у кресла и что-то тихо сказал. Боярин наклонился к креслу. Выпрямился. Сказал громко, ровно, в палату.

Толмач у возвышения — старый, в длинном кафтане, с белой бородой, из казанских, — перевёл по-казански:

— Пусть кланяются, как у них кланяются.

Ахплат понял. Он постоял мгновение. Потом снял шапку.

За ним сняли шапки все.

Он поклонился так, как кланяются дома, — не мурзам и не писарям, а старикам на *кёр сәри* «осеннем пиве», когда просят благословить новый год: опустил на колени, коснулся ладонями пола, потом лбом пола, потом выпрямился, стоя на коленях, и встал. Пол был холодный, каменный, под ковром.

Сзади него — он слышал — кланялись так же. Не все одинаково: у Савала кланялись чуть иначе, у кубинских ещё иначе, — но все на колени, все до пола, все по-своему.

Он встал и поднял глаза.

* * *

Человек в кресле был молодой.

Это было первое, что Ахплат увидел, и первое, что потом вспоминал. Молодой — как Анчик. Может, моложе. Ахплат потом узнал от Юшки, что ему двадцать и что двадцать один будет в конце лета, и не удивился.

Он был высокий — это было видно, хотя он сидел, по тому, как сидел: колени были высоко, и руки на подлокотниках длинные. Худой. Лицо узкое, бледное. Бородка — редкая, светлая, молодая, ещё не борода. Платье на нём было тяжёлое — Ахплат видел, что тяжёлое, по тому, как оно лежало: не складками, а стоя, как стоит кора на старом дубе, — всё в золоте, в камнях, и на плечах ещё что-то широкое, круглое, тоже в золоте. На голове шапка, высокая, в камнях, с мехом по краю.

Он сидел неподвижно. Совсем. Руки лежали на подлокотниках и не двигались. Голова не двигалась. Двигались только глаза: он смотрел на каждого, кто подходил, — на мурз смотрел, на сувар смотрел, — и смотрел долго, как смотрят, когда запоминают.

Теперь он смотрел на Ахплата.

Ахплат стоял у ступени, впереди всех сувар, с шапкой в руке, и не знал, куда деть глаза. Смотреть в ответ было нельзя — это он понимал. Не смотреть было тоже как-то неправильно. Он смотрел на руку на подлокотнике. Рука была длинная и белая, и на ней было кольцо.

Потом человек в кресле сказал что-то. Не боярину — прямо, вниз, Ахплату. Голос был негромкий и молодой.

Толмач наклонился вперёд и перевёл по-казански:

— Далеко ли ваши места от нового города?

Ахплат понял вопрос сразу. Он был простой — про дорогу. Такой вопрос задают на торгу: откуда ты, далеко ли ехать.

— Два дня конному, — сказал он по-казански. — Три телеге.

Толмач перевёл.

Человек в кресле послушал. Помолчал. Потом сказал одно слово.

— *Якын* «Близко», — перевёл толмач.

И больше ничего.

Он отвёл глаза — на следующего, на сотника с Савала, который стоял за Ахплатом, — и стал смотреть на него так же долго. Пристав махнул рукой: отходите. Истома взял Ахплата за локоть. Они отошли, пятясь, как мурзы, и Ахплат наступил кому-то на ногу, и кто-то сзади зашипел.

Потом, вечером, и потом, дома, и потом, через год, его спрашивали: какой он. Какое у него лицо. И Ахплат не мог сказать. Он пробовал вспомнить и не мог: помнил руку на подлокотнике, кольцо, платье, стоящее корой, шапку. Лица не помнил. Помнил, что молодое.

— Молодой, — говорил он. — Как мой сын.

И больше ничего не мог сказать.

* * *

Потом был дьяк.

Дьяк встал у возвышения, сбоку, с бумагой, и читал. Читал он громко и долго, нараспев, и толмач переводил за ним по-казански, отставая. Ахплат слушал. Слова были длинные, и многие он не понимал и по-казански — толмач говорил книжным языком, каким говорят муллы. Но кое-что понимал.

— Государь гнев свой вам отдал и воевать вас не велел, — переводил толмач. — А ясаки вам отданы на три годы.

Ахплат слушал и ждал, что будет про девятерых. Про девятерых не было. Было про всех.

Потом выкликнули Магмета и Ахкубека. Они вышли снова, и им вынесли грамоту.

Ахплат видел её издали, между спинами. Это был свиток, не очень большой, свёрнутый, и с него свисал шнур — шёлковый, красный, крученный, — и на шнуре что-то висело. Круглое. Оно блеснуло, когда Магмет принимал грамоту, — блеснуло жёлтым, как блестит на солнце медь, только глубже. Золото.

— Печать, — прошептал Юшка. — Золотая. Такую только послам дают. Вам повезло.

— Нам?

— Им, — поправился Юшка. — Ну и вам. Грамота на всех.

Магмет принял грамоту двумя руками, поклонился и отошёл, держа её перед собой, как держат горшок с горячим. Ахплат смотрел, как блестит на шнуре. Он не видел, что написано внутри. Никто из сувар не видел. Свиток не разворачивали.

* * *

Стол был в другой палате, ещё больше.

Столы стояли вдоль стен и поперёк, и за ними сидели — бояре выше, мурзы ниже, сотники ещё ниже. Сувары сидели в самом конце, у дверей, за нижним столом. Ахплат сидел с краю, и рядом с ним сидел Анчик, и дальше сотник с Кубни, и Байдеряк в шубе.

Человек, который сидел в кресле, сидел теперь за отдельным столом, на возвышении, далеко, в другом конце, и его почти не было видно за людьми.

Носили кушанья.

Их носили без конца. Слуги в одинаковых кафтанах выходили из дверей с блюдами, шли вдоль столов и ставили, и уносили, и ставили новые. Лебеди — целые, жареные, с шеей. Ахплат не знал, что лебедей едят. Рыба — огромная, какой он не видел, осётр, — на блюде в длину стола. Пирог. Каши. Мясо в соусе, сладком, с чем-то, чего он не знал. Мёд — не такой, как у них, а варёный, с пряностями, крепкий. Вина — красного, заморского — поставили кувшин, и Байдеряк выпил и закашлялся.

Ахплат ел мало. Он брал понемногу, пробовал, клал обратно. Не от стыда — от того, что всё было чужое и сладкое, и он не знал, что это, а есть то, чего не знаешь, он не любил. Анчик ел больше. Анчик был в Москве раньше и сказал, что лебедь — это как гусь, только важнее.

Потом по столам пошёл шёпот.

Слуги пошли вдоль столов с хлебами. Хлеба были небольшие, круглые, белые, пшеничные, и слуга подносил хлеб к человеку за столом, а другой, старший, стольник, шёл рядом и выкликал имя. И человек вставал, кланялся в ту сторону, где сидел государь, и принимал хлеб.

— Это государь хлебом жалует, — прошептал Анчик. — Каждому. Я слышал, так у них.

Вызывали мурз, одного за другим. Потом сотников. Ахплат слушал имена — чужие, с хвостами, — и они шли вдоль стола всё ближе.

Стольник дошёл до нижнего стола. Остановился у Ахплата. Посмотрел в бумагу.

— Ахплатко! — сказал стольник громко, на всю палату. — Царь государь и великий князь жалует тебя хлебом.

Ахплат встал.

Весь нижний конец смотрел на него. Байдеряк смотрел. Сотник с Кубни. Анчик. Мурзы за соседним столом повернули головы. Ахплат стоял, и все смотрели, и он не знал, что делать, — потом вспомнил, как делали мурзы: повернулся к возвышению, далеко, где за людьми почти ничего не было видно, и поклонился в пояс. Потом повернулся к слуге и взял хлеб двумя руками.

Хлеб был тёплый. Мягкий. Корка тонкая, золотая.

Он сел.

Свое имя он слышал второй раз за этот день — первый раз у ворот, из бумаги пристава, — и второй раз здесь, от стольника, громко, на всю палату, при государе. Ахплатко. Так его никто не звал. Так его назвал Третьяк, в избе, ласково, как сказал Юшка, — и вот это имя дошло сюда, до этого стола, до этого хлеба, и позвало его, и он встал. Своего имени, того, которое без хвоста, здесь не знал никто. И того, другого, одного слова, которое он сказал Третьяку, — тоже.

Он посмотрел на хлеб.

Потом достал из-за пазухи тряпицу — ту, в которой была ложка Тойпулата, — вынул ложку и сунул её за пояс, а хлеб завернул в тряпицу, туго, в два слоя, и убрал за пазуху, к груди.

— Не будешь? — спросил Анчик.

— Матери, — сказал Ахплат.

* * *

Вечером они сидели во дворе у сарая, и Янтуду пришёл сам.

Он пришёл от мурз, в том же шёлке, в котором был в палате, только без чалмы, и сел на колоду, и долго отдувался. Ильмук поставил перед ним ковш квасу. Янтуду выпил.

— Грамоту Магмет повезёт, — сказал Янтуду. — Магмет и Ахкубек. Они говорили — им и везти.

Ахплат сидел на земле, у стены сарая.

— Грамота про кого? — спросил он.

— Про всех. Про всю Горную сторону.

— Про всех, — сказал Ахплат. — А везёт тот, кто говорил.

— Тот, кто говорил, — согласился Янтуду.

— А кто пашет — не везёт.

Янтуду посмотрел на него. Он не обиделся. Он двадцать лет знал, как Ахплат спорит: не громко, по счёту.

— Грамота одна, — сказал Янтуду. — На всю сторону — одна. Если каждому, кто пашет, по грамоте — у государя золота не хватит. Повезут те, кто говорил. А ты что хотел — её на твоей телеге между бочонков?

Ахплат подумал.

— Нет, — сказал он.

— Вот, — сказал Янтуду. — А тебе дадут список. Воеводы дадут, в городе. Сказали — всем сотникам дадут списки. С печатью. Не золотой, а своей. Вот его и повезёшь.

— Кто сказал?

— Сказали, — сказал Янтуду. — Там всё говорят. Только не всё делают.

Ахплат кивнул. Спорить было не о чем. Грамота была одна, и она была у Магмета, и она блестела на шнуре, и это было всё, что он про неё знал.

— Добро, — сказал он.

Янтуду допил квас и поставил ковш.

— Он тебя спросил, — сказал Янтуду. — Первого из ваших.

— Я впереди стоял.

— Ты впереди стоял, — сказал Янтуду. — И хлебом он тебя пожаловал по имени. Меня тоже, но меня по имени каждый писарь знает. А тебя — первый раз.

— Не по моему имени, — сказал Ахплат.

Янтуду посмотрел на него долго. Потом встал с колоды.

— По какому записали, по такому и жалуют, — сказал он. — Я — Янтуду-мурза, татарин. Ты думаешь, я так себя зову?

И ушёл.

* * *

Назавтра их позвали на казённый двор.

Это был другой двор, в Кремле, с амбарами, и в амбарах лежало всё: сукно в штуках, меха в связках, шубы на жердях, железо в ларях. У каждого амбара сидел подьячий с бумагой. Выкликали по росписи.

Ахплату дали кольчугу.

Её вынесли из амбара двое, на руках, и положили перед ним на рогожу, и она легла тяжело, со звоном, кольцо к кольцу, серая, с рукавами до локтя и с подолом до колен. Рядом положили шлем — железный, острый, с кольчужной сеткой сзади, до плеч. Подьячий посмотрел в бумагу и что-то сказал.

— Доспех, — перевёл Юшка. — Государево жалованье. Твоё.

Ахплат наклонился и потрогал. Кольца были холодные, мелкие, одно в другом, и их было столько, сколько не сосчитать. Кто-то их считал, подумал Ахплат. Кто-то сидел и продевал одно в другое, одно в другое, каждое.

— Надевай, — сказал Юшка. — Он говорит — примерь.

Ахплат поднял кольчугу за плечи.

Она была тяжёлая. Он не думал, что такая тяжёлая: как мешок зерна, только мешок можно взвалить на плечо, а эту надо было надеть. Он поднял её над головой, как рубаху, и полез внутрь, и она пошла на него сверху, холодная, звенящая, и застряла на плечах, и он не мог просунуть руки. Левая не гнулась, как надо, и не находила рукав.

Анчик подошёл и взялся сзади. Тянул вниз. Ахплат лез. Кольчуга села, звякнула и легла на плечи, на грудь, на спину, на бока, всей тяжестью сразу, и он качнулся.

Он стоял в кольчуге посреди казённого двора и чувствовал, как она давит. На плечи — как будто кто-то положил руки и не убирает. Подол бил по коленям. Рукава кончались у локтей, и руки из них торчали голые, в рубахе.

Сорок шесть лет. Первый раз в железе.

Анчик надел ему шлем. Шлем сел низко, до бровей, и сетка легла на плечи сзади, и стало ничего не слышно, кроме своего дыхания и звона. Ахплат повернул голову — шлем повернулся не сразу, а за головой, с опозданием.

— Идёт, — сказал Юшка. — Прямо воевода.

— Снимите, — сказал Ахплат.

Снимали вдвоём: Анчик тянул, Ильмук держал. Одному её было не снять, как не надеть. Потом вывели коня.

Мерин был московский, из государевой конюшни: буланый, рослый, выше их коней на ладонь, с чёрной гривой, с тонкими ногами. Подкованный. Он стоял, подняв голову, и смотрел поверх людей.

— Твой, — сказал Юшка.

Ахплат подошёл, протянул руку к морде. Мерин понюхал руку, фыркнул и отвернулся.

— Как его зовут? — спросил Ахплат.

Юшка спросил конюха. Конюх пожал плечами и сказал что-то.

— Никак, — перевёл Юшка. — Он говорит — у них их по масти зовут. Буланный. Этот — буланный. Хочешь — назови.

— Дома назовут, — сказал Ахплат.

Потом дали денег. Подьячий отсчитал их из ларя в холщовый мешочек и отдал, и Ахплат пересчитал сам, при подьячем, высыпав на ладонь, и подьячий смотрел, как он считает. Монеты были мелкие, серебряные, с конём и копьём. Сто. Он пересчитал второй раз — сто.

Анчику дали сукно — штуку синего, на кафтан, — и шубу. Беличью, серую, лёгкую, до колен, мехом внутрь, крытую сукном. Анчик взял её на руки и стоял, не зная, что с ней делать. Потом надел. Шуба была ему в самый раз. Стоял август, и в шубе было жарко, и Анчик стоял в ней посреди двора и не снимал.

— Байдеряк, — сказал Юшка. — Вылитый Байдеряк.

Анчик снял.

Ахплат подошёл к Янтуду, который получал своё у соседнего амбара, и высыпал на ладонь десять монет из ста.

— Бери, — сказал он.

Янтуду посмотрел на монеты.

— Это что?

— Долг.

— Я тебе денег не давал, — сказал Янтуду. — Я тебе бочонки давал. Два. Липовых. Осенью.

— У меня теперь деньги есть.

— Вот и хорошо, — сказал Янтуду. — А бочонки у меня пусть будут. Деньги потратишь, а бочонки я съем.

Ахплат убрал монеты.

* * *

Дьяк был в избе у казённого двора.

Он сидел за столом, пожилой, лысый, в тёмном кафтане, и перед ним лежали бумаги, много, стопами. Истома сказал ему что-то, дьяк кивнул, и Ахплат подал ему свиток — челобитье, которое писал площадной, с девятью именами с хвостами.

Дьяк развернул. Читал долго, водя пальцем. Потом поднял голову и спросил что-то через толмача — того же старого, с белой бородой, который был в палате.

— Когда взяты? — перевёл толмач.

— Пять зим назад. После того, как наши ходили к вам просить.

— Кем?

— Русскими. С воеводами.

— Где?

— На Сёве, в устье. На льду, на торгу.

Дьяк слушал. Он слушал внимательно, не перебивая, и Ахплат видел, что он слушает, — не так, как писари в избах. Он дослушал до конца. Помолчал. Потом перевернул лист и на обороте, внизу, написал одно слово. Короткое. Поднял лист к глазам и прочитал вслух.

— Сыскать, — сказал дьяк.

Толмач перевёл по-казански.

Ахплат смотрел на лист. На обороте было одно слово, короткое, внизу, а сверху — девять имён. Девять хвостов. И одно слово.

— Где? — спросил Ахплат.

Толмач перевёл. Дьяк уже взял следующую бумагу из стопы и не поднял головы. Сказал коротко, между делом:

— В Нижнем посмотрят.

— А если не в Нижнем?

Толмач не стал переводить. Дьяк не стал ждать. Он положил лист с девятью именами на стопу слева, к другим, и сверху на него лёг другой лист, чужой.

Истома тронул Ахплата за локоть.

Ахплат вышел. На крыльце он постоял. Ложка Тойпулата торчала у него из-за пояса, конской головой вверх, и он поправил её, чтобы не выпала. Хлеб с государева стола лежал за пазухой, у груди, завернутый в тряпицу.

— Сыскать, — сказал он сам себе, по-русски, как сказал дьяк.

Слово было короткое.

Глава 10. Сено в Анаткасси

Айвика. Ылук; Анаткасси, конец июля 1551 года

Снопы Айвика считала по-своему.

Ик, кок, кум, ныл, вич «один, два, три, четыре, пять». Про себя, губами, не вслух. Двадцать пять лет она жила за Сёве «Свиягой», двадцать пять лет говорила по-суварски — с мужем, с детьми, со свекровью, с соседками, на торгу, во сне, — а снопы считала по-луговому, как мать считала, и мать матери. Счёт был короче. На суварском «четыре» у неё язык спотыкался, а *ныл* выходило само.

Куд, шым, кандаш, индеш, лу «шесть, семь, восемь, девять, десять».

Десять — это суслон. Она ставила снопы в суслон, девять стоймя, колосом вверх, один сверху, шапкой, и шла к следующим.

Рожь в этот год поспела рано и дружно, и жать надо было сразу, пока не осыпалась. Жали все, кто мог держать серп. Мужиков в Ылук «Роднике» было меньше, чем всегда. Пятеро ушли с обозом — муж, сын, Ильмук и двое из Анаткасси «Нижнего конца». Четверых не было совсем, и на их полосах жали их бабы. Урга... про Ургу говорили «не знаем». Уйпулат ходил, хромя, после поля, и жал, стоя на одном колене, отставив больную ногу, и не жаловался.

Жали бабы, девки, старики и подростки. Мальчишки лет десяти вязали перевясла. Старики, которые уже не жали, носили воду и точили серпы.

Айвика жала на своей полосе и на мужниной, потому что муж был в Москве, и на полосе Ямаша, потому что у Ямаша осталась одна мать, а сёстры жали своё. Мать Ямаша жала тоже, медленно, и молчала.

Лу «десять». Суслон.

К вечеру на полосе Ямаша стояло одиннадцать суслонов. Айвика пересчитала. На своей — девятнадцать. На мужниной — четырнадцать.

— Сколько? — спросила мать Ямаша.

— Сорок четыре. С твоими.

— Он бы больше нажал.

— Больше, — сказала Айвика.

Мать Ямаша кивнула, завязала последний сноп и пошла домой, не оглядываясь, с серпом в руке.

* * *

Брат пришёл на третью ночь жатвы.

Она не спала. Она лежала на лавке у двери, где всегда спала летом, когда муж был в отъезде, чтобы слышать двор, — и услышала, как залаяла собака и сразу перестала. Так собака лаяла на своих.

Айвика встала и вышла.

У плетня, со стороны оврага, стоял человек. Он стоял в тени, и его не было видно, только белела рубаха. Он был ниже её и шире, и стоял, чуть нагнув голову, — так стоял отец, и так стоял брат, и она узнала его раньше, чем он заговорил.

— *Акам* «сестра», — сказал он тихо, по-луговому.

Она подошла к плетню.

Брату был сорок один год. Он был младше её на три года, и последний раз она видела его четыре года назад, на торгу в Хусан «Казани», издали. До этого — восемь лет назад, когда умерла мать и Айвика ездила за Атёл «Волгу» хоронить. Двадцать пять лет она жила за рекой, и за двадцать пять лет видела брата пять раз.

— Ты как здесь? — спросила она.

— Лодка в камышах. На Атӑл. Шёл лесом.

— День шёл?

— День и ночь.

Он был мокрый по пояс и в репьях. Она хотела позвать его в избу, накормить, дать сухое. Он покачал головой.

— Некогда. Я до света назад.

— Что случилось?

Он оглянулся на двор, на избу, на тёмные окна, как будто там мог кто-то слышать.

— Казанские молодые хотят проучить тех, кто к русским пошёл, — сказал он. — Удальцы. Их много, всяких. Сыновья мурз, сыновья сотников, кто на поле был, у кого там кого убили. Говорят: на сёла, чьи сотники в Москве. Пока сотники там, а мужики с ними. Говорят — пожечь, скот угнать. Чтобы знали.

— Откуда знаешь?

— Слышал. — Он помолчал. — У нас тоже есть кто с ними ходит. Из наших, луговых. Двое из нашей деревни. Звали меня.

Айвика смотрела на него.

— Ты не пошёл.

— Я не пошёл, — сказал брат. — Я сюда пошёл.

— Когда?

— Скоро. Может, завтра. Может, через три дня. Я не знаю, на какое село. Но твой муж в Москве. Это все знают.

Айвика стояла у плетня. Ночь была тёплая, и пахло скошенной рожью с поля и дымом от печи, которую топили с вечера под хлеб.

— Останься, — сказала она. — Переночуй. Утром...

— Нельзя, — сказал брат. — Узнают, что я сказал, — мне у себя не жить.

Он сказал это просто, как говорят о погоде, и Айвика поняла, что это правда.

Она вернулась в избу, взяла со стола хлеб — целый каравай, вчерашний, — и кусок сала, завернула в холстину и вынесла. Брат взял. Сунул за пазуху.

— Как твои? — спросила она.

— Живы. Старший женился. Младшая растёт.

— А у тебя кто — сын, дочь?

— У меня внук, — сказал брат. — Весной.

Она не знала, что у него внук. Она подумала, что он не знает, что у неё тоже внук, в Хыркасси «Сосновом конце», и хотела сказать, и не сказала, потому что он уже отступил от плетня.

— *Шольым* «братишка», — сказала она.

Он остановился.

— Береги себя, — сказала Айвика по-луговому.

— Ты себя, — сказал он.

И ушёл в овраг, в темноту. Собака не залаяла.

Айвика постояла у плетня. Потом пошла в избу, села на лавку и сидела до света, не ложась. Свекровь на печи не спала тоже: Айвика слышала, как она дышит. Эрнепи ничего не спросила.

* * *

Утром Айвика пошла к Амаку.

Амак жил на нижнем конце Ыӗлӗк, в маленькой избе с сыном и невесткой, и утром сидел на завалинке, грелся. Айвика подошла, села рядом, справа, чтобы он слышал.

Она не спросила. Она сказала.

— Будут казанские. Молодые, удалыцы. Может, завтра, может, через три дня. Жечь и угонять скот. На нас, потому что наш в Москве.

Амак повернулся к ней правым ухом и долго смотрел.

— Кто сказал?

— Сказали.

Он не стал спрашивать дальше. Он знал, что у неё за рекой родня.

— Скот — в лес, — сказала Айвика. — В старый загон, в ельник, где в засуху пасли. Сегодня же. Коров, коней, овец. Мальчишки пусть гонят и там сидят.

— Все?

— Все, кроме тех, что под молоком, — тех к вечеру назад, доить, и утром опять. Зерно — в ямы. Старое, что в амбарах. Новое — снопы на поле пусть стоят, их не унесёшь. Телеги — поперёк дороги. У въезда, у околицы, где дорога от реки поднимается. Все телеги, какие есть. Колёсами друг в друга, дышлами наружу.

Амак молчал.

— Бабы, которые на птицу ходят, — с луками, — сказала Айвика. — Их одиннадцать. Я считала. Я двенадцатая. Старики — с рогатинами. Кто может стоять. Мальчишки — носить стрелы. Девки — воду, если будут жечь.

— А Анаткасси? — спросил Амак.

Айвика помолчала. Об этом она думала всю ночь.

— Анаткасси не закрыть, — сказала она. — Он внизу, у дороги, у брода. Там дорога насквозь. Там не встанешь. Оттуда — людей наверх, к нам. Сегодня. Детей, старух, баб. Скот — в лес, с нашим. Мужики пусть придут с луками сюда.

— А дворы?

— Дворы там останутся, — сказала Айвика.

Амак смотрел на неё долго.

— Ты это мне говоришь, чтобы я сказал людям? — спросил он.

— Я это тебе говорю, потому что ты *юмӑс* «хранитель имён», — сказала Айвика. — Тебя послушают. Меня — сотникова, луговая. А тебя послушают.

Амак подумал. Потом взял палку, которая стояла у завалинки, и встал.

— Послушают, — сказал он. — Куда денутся.

* * *

К вечеру всё было сделано.

Скот ушёл в ельник — Айвика считала, когда гнали мимо: коров семьдесят одна, коней сорок, овец не сосчитать. Зерно ушло в ямы — старые, за амбарами, выложенные берестой, и сверху присыпали землёй и прикрыли хворостом. Телеги встали поперёк дороги у околицы: двенадцать телег, колёсами друг в друга, дышлами наружу, а в промежутки воткнули колья и набросали жердей. Осталась одна щель у края, у плетня, в телегу шириной, чтобы проходить своим, — и её закладывали на ночь бороной.

Из Анаткасси пришли к вечеру. Пришли бабы с детьми, с узлами, старухи на телегах, старики пешком. Мужиков из Анаткасси было семеро — все, кто мог держать лук, — и они пришли с луками и встали у телег. Люди Анаткасси смотрели назад, вниз, на свои дворы у брода. Дворы стояли пустые, и над ними не было дыма.

Айвика послала мальчишку в Хыркасси. Хыркасси было выше по реке, в лесу, и туда казанские могли и не пойти, — но там был Сарый, и там были кони, и там была её дочь с внуком.

Мальчишка вернулся ночью. С ним пришла дочь, с малым на руках, и зять — младший брат Сарыя, — верхом, и с ним двое из Хыркасси, тоже верхом, с луками.

— А Сарый? — спросила Айвика.

Зять слез с коня. Он был молодой, тонкий, красивый, как все у Сарыя в роду, и ездил лучше всех после брата.

— Брат сказал — не наше дело, — сказал зять. — Сказал: сотник в Москве, пусть Москва и стережёт. — Он помолчал. — Я сам поехал.

Айвика посмотрела на него. Потом на дочь. Дочь стояла с малым и смотрела в землю.

— Коней в ельник, — сказала Айвика. — Сами — к телегам.

* * *

Они пришли на второе утро, на рассвете.

Айвика не спала. Она сидела у телег, на краю, с луком на коленях, и смотрела вниз, на реку, на брод, на Анаткасси. Над рекой стоял туман. Из тумана сначала был звук — плеск, много плеска, и фыркание, — потом тёмное на воде, потом конные.

Они выходили из тумана на этот берег, у брода, по одному, по двое, мокрые по брюхо коням, и собирались на лугу у Анаткасси. Айвика считала. *Ик, кок, кум...* Двадцать. Двадцать два. Двадцать три — последний отстал, конь у него хромал.

Они не пошли вверх, к Ылкуп. Они пошли в Анаткасси.

Айвика видела, как они въезжают в улицу — пустую, — как кружат по дворам. Как один слезает и заглядывает в избу и выходит. Как другой кричит что-то и машет рукой. Потом у одного в руке появился огонь — факел, — и он поскакал вдоль дворов, к задам, где стояли стога.

Стога в Анаткасси стояли на задах, почти у каждого двора, — сено, свежее, сухое, скошенное месяц назад. Первый стог занялся сразу, с треском, и над ним встал дым — белый, густой, — и пошёл вверх, в туман, и туман стал розовым.

Второй. Третий. Всадник скакал вдоль задов и совал факел в каждый стог.

— Сено, — сказала рядом соседка, Алтӑнпи, с луком в руке. — Сено наше.

— Сено, — сказала Айвика.

Стога горели. Дым стоял над Анаткасси стеной, и в дыму кричали, и было слышно, как ревёт скот, — не весь угнали в ельник, у кого-то осталась корова в хлеву, у кого-то две, — и Айвика видела, как казанские выгоняют коров из дворов и гонят их на луг, к броду, в кучу.

Потом они пошли вверх.

* * *

Их было двадцать три, и они шли вверх по дороге рысью, не торопясь, потому что думали, что наверху — как внизу: пусто.

Наверху были телеги.

Передние увидели телеги шагов за сто и придержали коней. Остановились. Задние наехали на передних. Кто-то засмеялся — Айвика слышала смех. Потом они растянулись вдоль телег, по лугу, слева и справа, и стали кружить.

— Не стрелять, — сказала Айвика. — Пока не подойдут.

Она сказала это вдоль телег, негромко, и её передали дальше: не стрелять, не стрелять.

Конные подошли ближе. Шагов на шестьдесят. На пятьдесят. Айвика видела их лица — молодые, у многих без бороды, в войлочных шапках, в стёганных халатах, двое в кольчугах. Кони хорошие, лёгкие, степные. Луки у всех.

Один подскакал на сорок шагов, поднял лук и пустил. Стрела перелетела через телеги и упала где-то во дворе.

— Бей! — сказала Айвика.

Она натянула и пустила.

Бабы пустили с ней — одиннадцать луков, и семь анаткассинских мужиков, и зять с двумя из Хыркасси, и Уйпулат, который стоял у плетня на одном колене, — двадцать два лука. Стрелы пошли над телегами. Айвика видела, как одна вошла в бок коню, и конь присел и завертелся. Всадник удержался.

Конные отошли. Развернулись. Пошли снова, вдоль телег, стреляя на скаку.

Стрела ударила в жердь рядом с её головой.

Айвика слышала звук — короткий, сухой, «тук», — и повернула голову, и увидела стрелу: она торчала в жерди, которую воткнули между телегами, в пяди от её лица. Древко дрожало. Оперение было серое, гусиное.

Она смотрела на стрелу. Потом на свои руки.

Руки не дрожали. Она держала лук, и вторая стрела уже лежала на тетиве, и пальцы держали её ровно, как держат серп, как держат веретено. Она смотрела на них и не понимала почему. Ей должно было быть страшно — и было, в животе было холодно, и во рту сухо, — а руки не дрожали.

Рядом дрожали у Алтӑнпи.

Алтӑнпи стояла у соседней телеги с луком, и лук у неё ходил в руках, и стрела не ложилась на тетиву: она клала, стрела соскакивала, она клала снова. Лицо у неё было белое. Она ходила на птицу двадцать лет и попадала в утку на лету.

Айвика протянула руку, взяла у неё лук — Алтӑнпи отдала, не сопротивляясь, — и сунула ей в руки свой колчан.

— Стрелы подавай, — сказала Айвика. — По одной. Мне в руку.

Алтӑнпи взяла колчан. Руки у неё дрожали и теперь, но колчан она держала.

Айвика стреляла из её лука. Лук был легче её собственного и тянулся проще. Она стреляла в коней — как говорил муж, когда учил Анчика, давно, мальчиком: бей в коня, конь больше. Алтӑнпи подавала стрелы, по одной, в руку, и Айвика брала, не глядя, и натягивала, и пускала.

Ик. Кок. Кӳм.

Она считала стрелы по-луговому.

* * *

Конные пробовали перескочить.

Один разогнался и пошёл на телеги прямо, туда, где между двумя телегами были жерди пониже, — и конь прыгнул, и не допрыгнул, ударился грудью в жерди, и жерди затрещали, и всадник перелетел через конскую голову и упал по эту сторону, в пыль. Его тут же прижали к земле двое стариков с рогатинами, и он не двигался. Конь по ту сторону бился в жердях, пока не вырвался, и ушёл без седока.

Другой пошёл на щель у плетня — ту, что закладывали бороной. Борону он не видел: она лежала в траве, зубьями вверх. Конь наступил на неё, вскинулся, заржал и стал на дыбы, и всадник удержался, и развернул коня, и пошёл в щель ещё раз, прямо, через борону, — и въехал.

В щели стоял Амак.

Он стоял в ней, как стоят в воротах, — старый, седой, семьдесят шесть лет, в белой рубахе, с рогатиной в руках. Рогатина была длинная, с широким пером и с поперечиной под пером, как на медведя. Он стоял и держал её вперёд, пером вверх, двумя руками, и не отступил, когда конь пошёл на него.

Айвика видела, как это было. Конь пошёл в щель, всадник наклонился с саблей, и Амак не ударил в коня — он поднял рогатину выше, поперечиной вбок, и поддел всадника под руку, под мышку, и толкнул — не ударил, а толкнул, всем телом, упёршись ногами в землю, как толкают воз из грязи.

Всадник вылетел из седла.

Он упал на спину, на землю, у Амаковых ног, и сабля отлетела в сторону. Конь проскочил дальше, во двор, и там его поймали мальчишки за повод. Амак стоял над упавшим, держа рогатину пером вниз, над его грудью, и не бил. Просто держал.

Всадник лежал и смотрел на перо.

— Лежи, — сказал Амак по-суварски.

Всадник не понимал по-суварски, но лежал.

* * *

Конные отошли.

Они отошли за сто шагов, собрались в кучу, и было видно, что они спорят: один махал рукой на телеги, другой — на реку. Потом двое подъехали ближе, на шестьдесят шагов, и пустили по стреле, и отошли снова. Потом вся куча развернулась и пошла вниз, к Анаткасси, к лугу, где стояли угнанные коровы.

Айвика опустила лук.

Внизу конные собрали коров и погнали к броду. Коровы шли плохо, ревели, упирались, и конные били их древками и кричали. Потом стадо вошло в воду, и конные вошли за ним, и туман к тому времени сошёл, и было видно, как они переходят реку и выходят на тот берег и уходят в лес.

Зять с двумя из Хыркасси вывел коней из-за амбаров и поскакал вниз, к броду. Айвика крикнула ему: не надо. Он не услышал или не захотел. Он доскакал до реки, до воды, постоял на берегу, глядя в лес на той стороне, и вернулся шагом.

— Ушли, — сказал он.

— Я говорила.

— Ушли, — сказал зять ещё раз и слез с коня.

Над Анаткасси стоял дым. Стога догорали.

* * *

Считали до полудня.

Две бабы ранены — стрелами, через телеги, навесом. Одной, Сакаровой невестке, стрела вошла в плечо, другой — в бедро, выше колена. Не насмерть. Стрелы вынула повитуха, та, что лечила по трём сёлам, — вынула, промыла, приложила что-то и завязала. Сакарова невестка кричала, пока вынимали. Вторая не кричала, только кусала рукав.

Своих убитых не было.

Коров из Анаткасси угнали двенадцать — у тех, кто не успел или не захотел в ельник. Стога Анаткасси сгорели все: шестнадцать дворов, шестнадцать стогов. Избы не тронули: не успели или не хотели. Один сарай обгорел с угла.

Казанских убитых не было тоже, — или они увезли своих, Айвика не знала. Один конь остался лежать на лугу, внизу, со стрелой в боку. Мужики из Анаткасси потом пошли и сняли с него седло и сбрую.

И был пленный.

* * *

Его привели к Айвике, к её двору, и поставили у ворот. Это был тот, которого стащил Амак. Руки ему связали за спиной поясом.

Он был молодой, лет двадцати. Без бороды, только пушок на губе. Лицо круглое, мальчишеское, и на щеке ссадина от падения. Халат на нём был порван на плече. Он стоял у ворот и трясся — не от холода, было уже тепло, — трясся весь, мелко, и смотрел на Айвику, на Амака, на мужиков вокруг, и губы у него шевелились.

Айвика заговорила с ним по-казански.

Она говорила по-казански с детства: у них на Луговой стороне по-казански говорили на торгу, а торг был у них каждую неделю. Она спросила, откуда он. Он ответил. Деревня под Хусан, за Казанкой, полдня на север. Отец — шорник. Ремни, сбрую. Он пошёл с удальцами, потому что пошли все из его деревни, трое, и звали его, и он пошёл.

— Кто вас вёл?

Он назвал имя. Айвика не знала этого имени.

— Зачем пришли?

Он помолчал.

— Сказали — вы к русским пошли, — сказал он. — Вас надо проучить.

— Нас проучили, — сказала Айвика. — На Арском поле. Четверых. Ещё одного ваши увели.

Он не понял. Он смотрел на неё и трясся.

Амак стоял рядом, опершись на рогатину.

— Держать его до сотника, — сказал Амак по-суварски. — Сотник приедет — решит.

— Сотник через месяц приедет, — сказала Айвика.

— Месяц подержим.

— А кормить?

— Прокормим.

Айвика смотрела на парня. Парень смотрел на неё — не на Амака, на неё, — потому что она говорила с ним на его языке.

Она подумала про брата. Про то, как он стоял у плетня мокрый по пояс, в репьях. Про то, как сказал: «Двое из нашей деревни. Звали меня». Этот тоже был из деревни, из которой звали. Этого позвали, и он пошёл.

— Нет, — сказала Айвика.

Амак повернулся к ней правым ухом.

— Коня забираем, — сказала Айвика. — Его — отпустить. Пешим.

— Это решает сотник.

— Сотник в Москве, — сказала Айвика. — Я сотникова жена. Я решаю.

Она сказала это не громко. Мужики вокруг молчали. Амак смотрел на неё долго, и она не отвела глаз. Потом Амак опустил голову и пожал плечами.

— Решай, — сказал он.

Айвика подошла к парню и развязала ему пояс на руках. Руки у него были холодные и мокрые. Он стоял и не верил.

— Иди, — сказала она по-казански. — Пешком. Через реку. Конь твой останется у нас. Он смотрел на неё.

— Скажи своим, — сказала Айвика. — У нас тоже есть кому стрелять.

Парень постоял. Потом попятился, и пятился, пока не отошёл шагов на десять, и тогда повернулся и побежал — вниз, по дороге, к броду, мимо телег, мимо дымящегося Анаткасси, к реке. Он бежал, спотыкаясь, и один раз упал, и встал, и побежал дальше.

Мальчишки у телег свистели ему вслед. Айвика не свистела.

* * *

Коня поставили в табун.

Конь был казанский, степной, невысокий, рыжий, с белой звёздочкой на лбу, с короткой шеей. Мальчишки привели его из двора, и он косился на всех и храпел. Уйпулат, хромая, подошёл, взял за повод, погладил по шее и сказал ему что-то тихо, и конь перестал храпеть.

— Резать? — спросил кто-то из анаткассинских. — За коров.

Айвика посмотрела на него.

— Ты что говоришь, — сказал Амак раньше неё.

Анаткассинский замолчал.

— Коня в табун, — сказал Амак. — Конь не виноват, что на нём дурак сидел.

Коня увели в ельник, к остальным.

* * *

Вечером Айвика считала.

Она сидела на пороге избы, и перед ней на земле лежали колчаны — все, какие собрали у баб после боя, одиннадцать и её, двенадцатый, — и она пересчитывала, сколько стрел осталось, и отнимала от того, сколько было утром. Утром у каждой было по двадцать, у неё — тридцать.

Ик, кок, кум, ныл, вич...

Выходило — бабы выпустили сто сорок семь стрел. Она пересчитала. Сто сорок семь. Из них её — двадцать шесть, из Алтӑнпиного лука.

Потом она считала снопы.

Не свои — анаткассинские. Сколько сгорело. Снопы на поле стояли, их не тронули: конные не пошли на поле, пошли по задам, где сено. Но у трёх дворов в Анаткасси снопы уже свезли на зады, к стогам, сушить, — и они сгорели вместе с сеном. Айвика ходила туда после полудня и считала пепел: где был суслон, там оставался круг, чёрный, и в нём колосья, обугленные.

Тридцать один суслон. Триста десять снопов.

Она сидела на пороге и держала в голове два числа: сто сорок семь и триста десять. Они не складывались и не вычитались. Они просто были.

Свекровь сидела у стана, у окна. Она ткала весь день — и когда были конные, и когда стреляли, и когда кричала Сакарова невестка, — Айвика слышала через стену, как ходит челнок. Ровно. Ни разу не остановился.

Теперь челнок остановился.

— Хорошо стреляли, — сказала Эрнепи, не поднимая головы.

Айвика ничего не ответила. Она собрала колчаны, по одному, и понесла их в сени, чтобы завтра раздать бабам обратно. Челнок за стеной пошёл снова.

Глава 11. Курултай

Бахтияр. Казань, 11–17 августа 1551 года

В ясачной избе Бахтияр сидел каждый день с утра до полудня.

Делать там было нечего. Он приходил, открывал дверь, садился на лавку у окна, раскладывал на столе книгу, *калам* «тростниковое перо», чернильницу и песочницу. Габдулла подметал пол, который подметал вчера. Потом Габдулла садился на порог чинить сапог — тот же, что в прошлом месяце, — а Бахтияр сидел над книгой.

Собирать было нечего. С правого берега — ничего, перевозки закрыты. С левого — рано: левый берег платил после жатвы, а жатва только шла. Писать было нечего тоже. Он проверял прошлогодние строки. Считал заново итоги, которые сошлись в прошлом году. Они сходились и в этом.

— Сходится? — спрашивал Габдулла с порога.

— Сходится.

— Хорошо, что хоть что-то сходится, — говорил Габдулла и втыкал шило.

Был месяц шаабан девятьсот пятьдесят восьмого года. По-русски, говорили, август. Жара стояла третью неделю, и в городе пахло пылью, навозом и Булаком, который обмелел.

В городе было тихо. Не как в пятницу, когда все в мечети, а по-другому. Люди говорили вполголоса и оглядывались. На торгу покупали и не торговались. Крымских не было видно на улицах с июня. Весь их отряд, который стоял в городе при хане-младенце, в июне сел на коней и ушёл — ночью, вверх, к Каме, домой, в Крым, в обход, — и его перехватили русские на переправе. Одни говорили — на Каме, другие — на Вятке. Говорили, что всех, кого взяли, увели в Москву. Сколько их было — одни говорили триста, другие больше. Бахтияр не записал: не его дело.

После крымских город остался с ханом, которому не было и шести лет, с его матерью и с беками, которые спорили.

* * *

Одиннадцатого хана увезли.

Бахтияр узнал утром: пришёл Габдулла и сказал, что у Ханского двора запрягают. Бахтияр не пошёл смотреть. Он сидел в избе до полудня, как всегда. В полдень он пошёл домой, и дорога шла вдоль стены над рекой, и с этой дороги было видно реку.

Он остановился.

Внизу, у воды, у пристани, стояли повозки. Четыре, крытые, и возле них конные — много, в халатах, беки, мурзы, — и ещё конные в другой одежде, чужие. Русские. У повозок стояли женщины. Даже отсюда было слышно, что они плачут: высоко, долго, в несколько голосов. Потом одну женщину подвели к повозке, и она села, и за ней посадили мальчика. Потом сели другие.

Повозки тронулись. Вдоль воды, к русским лодкам, которые стояли ниже по реке.

Бахтияр смотрел.

Он не видел лиц. Он видел повозки, конных, реку. Он знал, кто в первой повозке, — знал весь город. Он стоял у стены, пока последняя повозка не дошла до лодок. Потом пошёл домой.

Дома жена спросила:

— Видел?

— Видел.

— Что видел?

— Повозки, — сказал Бахтияр.

Он сел есть. Ел медленно. Жена не спрашивала больше.

В книгу он в этот день ничего не записал. Про хана записывать было не в его книгу.

* * *

Четырнадцатого был курултай.

Его собрали на лугу при устье Казанки, за городом, где Казанка входит в Волгу. Созывали всех: беков, мурз, уланов, *сеидов* «потомков Пророка», мулл, казаков, сотников с левого берега, посадских лучших людей. Бахтияр не был ни беком, ни мурзой. Он был сборщик дивана, двадцать шестой год. Его позвали как посадского.

Он пришёл рано и встал с краю.

Луг был большой, и народу собралось много — больше, чем на пятничной молитве в соборной мечети, больше, чем на торгу в базарный день. Беки стояли в середине, кругом, на коврах. Вокруг — мурзы. Вокруг мурз — все остальные. Бахтияр стоял с краю, за спинами кожевников и купцов, и видел середину плохо: головы, шапки, чалмы, спины.

В середине были русские. Бахтияр видел их шапки — высокие, меховые, летом. Бояре. Трое или четверо. Рядом с ними — толмач. Говорили они громко, по очереди, и толмач повторял за ними по-казански, ещё громче, и до края доходило через раз.

Бахтияр слушал.

Он слышал слова «государь», «хан», «вина», «полон». Слышал «Шах-Али» — его имя повторяли несколько раз. Потом бояре замолчали, и заговорили беки, и заговорили громко, сразу несколько, и толмач уже не переводил.

Потом через головы, от середины к краю, пошло, от человека к человеку, от рта к уху:

— *Тау ягы* «Горная сторона» — за Москвой.

Бахтияр услышал это от купца, который стоял перед ним. Купец услышал от кожевника. Кожевник — от кого-то впереди.

— Как — за Москвой? — спросил кто-то рядом.

— Так. Правый берег остаётся московскому. Что там присягнули — то их. Город на Зоя «Свияге» — их. Горная сторона — их.

— А ясак?

— Им.

— А мы?

— А мы — с левого.

Вокруг Бахтияра заговорили. Сначала тихо, потом громко. Спорили. Одни говорили: хорошо хоть хана дают, хоть какого. Другие: какой он хан, он московский, его уже раз выгнали. Третьи: а Горную сторону отдали — и за что? Кто её отдал? Мы её не отдавали. Четвёртые: её никто не отдавал, она сама ушла, в мае ещё, с дарами к Шах-Али. Первые: сама, не сама — а теперь её нет.

В середине тоже спорили. Бахтияр видел, как беки машут руками и как бояре стоят и не машут. Слов оттуда было не разобрать. Спорили долго. Солнце передвинулось на ширину ладони. Потом ещё на ширину ладони.

Бахтияр не спорил.

Он стоял с краю, за спиной у купца, и думал о книге.

Книга лежала дома в сундуке. В ней было двадцать шесть разворотов. На каждом развороте справа были сотни правого берега, а слева — левого. Так он завёл в первый год, потому что правый берег он объезжал осенью, а левый зимой, и так было удобно: открыл — справа одно, слева другое. Двадцать пять лет правая сторона каждого разворота была заполнена. Двадцать шестой разворот справа был пустой, и внизу стояло *жыелмады* «не собрано».

Теперь её не будет. Не в этом году — совсем. Это решили сейчас, на лугу, при нём, и он стоял с краю и слышал через купца.

Половина книги. Правая половина каждого разворота. Её ему не вернут.

Купец обернулся к нему.

— А ты что молчишь, Бахтияр? — сказал купец. — Ты же там собирал.

— Собираю, — сказал Бахтияр.

— Ну и что теперь?

— Теперь не собираю, — сказал Бахтияр.

Купец подождал, не скажет ли он ещё. Бахтияр не сказал. Купец отвернулся и стал спорить с кожевником.

Когда кончилось, и люди стали расходиться, Бахтияр пошёл не сразу. Он постоял ещё, пока луг не опустел наполовину. Потом пошёл домой вдоль Казанки. Под ногами была пыль, и сапоги стали серые до щиколотки. Колени болели от долгого стояния.

* * *

Вечером того же дня он открыл книгу и прочитал правую половину.

Не одну страницу — все. С первого разворота. Он читал не цифры, а имена сотников: по ним было быстрее. Первый разворот, двадцать пять лет назад: четырнадцать сотен правого берега, четырнадцать имён. Из них живы, насколько он знал, пятеро. Остальных сменили сыновья, или зятья, или выбрали других. Он переворачивал разворот, и имена менялись: одно, другое, потом третье, — не все сразу, по одному.

Сотня с малой реки, седьмая сверху: в первый год — Кёмель. Он помнил Кёмеля: невысокий, широкий, с сыном-парнем, который носил за ним бирки и считал вслух. На седьмой год — Ахплат, тот самый парень, уже с бородой. С седьмого года по двадцать пятый — Ахплат, Ахплат, Ахплат. На двадцать шестом — Ахплат, и под ним пусто.

Он прочитал все имена двадцать шестого разворота, справа, сверху вниз. Четырнадцать. Он знал в лицо каждого. У одного он был на свадьбе дочери. У другого сидел, когда умирал отец, — случайно, заехал за ясаком, а там умирают, и он сидел, потому что уехать было нельзя. Третий в голодный год просил отсрочки, и Бахтияр дал, и тот отдал через год всё, до последнего бочонка, и ещё полбочонка сверху, «за ожидание», и Бахтияр полбочонка не взял, и тот обиделся.

Четырнадцать имён. Он прочитал их вслух, шёпотом, чтобы не разбудить жену.

Жена за занавеской всё равно проснулась.

— Кому ты? — спросила она.

— Никому, — сказал Бахтияр. — Проверяю.

— Ночью?

— Днём не сходилось, — сказал Бахтияр, и жена за занавеской хмыкнула и отвернулась к стене.

Шестнадцатого въехал Шах-Али.

Бахтияр видел въезд: на этот раз он пошёл смотреть. Пошли все. Улица от ворот до Ханского двора была полна, и люди стояли на крышах, на заборах, на стене.

Шах-Али ехал на коне, в дорогом халате, толстый, немолодой, с редкой бородой. Он ехал медленно и смотрел перед собой. С ним ехали его люди — касимовские, — их было много, и они смотрели по сторонам. За ними шли русские стрельцы, в красных кафтанах, с пищалями на плечах, в ряд, по четыре. Их было много тоже. Бахтияр считал ряды и бросил.

Люди на улице молчали.

Не кричали ни «хан», ни что-нибудь ещё. Смотрели. Один мальчишка на заборе крикнул что-то — Бахтияр не разобрал — и его сдёрнули вниз.

— Московский хан, — сказал кто-то рядом тихо.

Бахтияр слышал, как это сказали. Не громко и не зло.

Потом, в тот же день, после полудня, по улицам пошли глашатаи. Они шли по двое, казанский и русский, и казанский кричал на каждом перекрёстке: весь русский полон, какой есть в городе и в улусах, — отпустить. Всех. Сегодня и завтра. Кто держит русского человека — вести его к Ногайским воротам, там пишат. Кто утаит — с того взыщут.

Бахтияр стоял у своих ворот и слушал.

* * *

Митя уходил вечером.

Бахтияр видел, как он выходил со двора соседа. Митя был в своей рубахе, в чистой — сосед, видно, дал, — и в новых лаптях. Сосед вышел за ним к воротам. Сосед держал в руке хлеб — лепёшку, большую, — и держал её так, будто не знал, что с ней делать.

Митя остановился у ворот. Повернулся. Сказал что-то соседу по-казански — Бахтияр не слышал что. Сосед протянул ему лепёшку. Митя взял.

Потом сосед отвернулся и пошёл в свой двор. Не оглядываясь. Ворота за ним остались открытые.

Митя постоял у открытых ворот. Посмотрел на Бахтияра. Помахал ему рукой, в которой была лепёшка.

— Прощай, татарин, — сказал Митя по-русски.

Это Бахтияр понял наполовину. «Татарин» — понял.

— Здоров будь, Митя, — сказал он. Больше по-русски он почти ничего не знал.

Митя засмеялся, как всегда, и пошёл вниз по улице, к Ногайским воротам, где писали. Шёл быстро. Семь лет он таскал соседу воду по этой улице.

Сосед закрыл ворота только через час. Бахтияр слышал, как стукнул засов.

* * *

К Ногайским воротам Бахтияр пошёл наутро, после утренней молитвы.

Он взял с собой книгу. Не всю — он вынул её из чехла и завернул в платок, чтобы не пылилась, и понёс под мышкой. У Ногайских ворот былолюдно. Стоял русский полон — мужики, бабы, дети, старики, сотни, — в чём были, с узлами, с котомками, с детьми на руках. Кто плакал, кто смеялся, кто молчал. Стояли казанские хозяева, которые привели своих. Стояли стрельцы.

У самых ворот, под навесом, стояли два стола. За одним сидел русский писарь, молодой, с быстрым пером. За другим — казанский, из дивана, тот самый, который в июне звал Бахтияра писать пленных. Люди подходили к столам по одному. Писари спрашивали имя, откуда, чей был, — и писали.

Бахтияр подождал, пока у казанского стола не будет людей, и подошёл.

— Бахтияр-ага, — сказал писец из дивана. — Ты тоже кого привёл?

— Нет, — сказал Бахтияр. — Я за одного прошу.

Он развернул платок, открыл книгу на последнем листе, куда вложил июньский список — свою копию, которую сделал для себя, — и показал строку. Тридцать седьмую.

— Этого, — сказал он. — Урга, из *Анаткасси* «Нижнего конца». Его взяли в июне, на Арском поле. Он у Акчуры-барышника, в рабочих. Впиши его в отпускаемых.

Писец посмотрел на строку. На поля, где стояло *тере* «жив».

— Он кто?

— С правого берега. Сотня Ахплата.

— *Чуаш* «чуваши», — сказал писец.

— Сувар, — сказал Бахтияр. — Они себя так зовут. Чуаш — это мы их так.

— Всё равно, — сказал писец. — Отпускают русских.

— Он правого берега. Правый берег теперь за Москвой. Ты сам слышал на лугу.

Писец подумал. Посмотрел на соседний стол.

— Спроси у того, — сказал он. — Если русский возьмёт — я впишу.

Бахтияр подошёл к русскому столу. Русский писарь поднял голову и посмотрел на него. Бахтияр не говорил по-русски. Он оглянулся. У столов стоял толмач, крещёный, из посадских. Бахтияр позвал его. Толмач подошёл.

Бахтияр сказал. Толмач перевёл. Русский писарь выслушал, посмотрел на книгу — на арабское письмо справа налево, — пожал плечами и сказал что-то коротко.

— Он говорит, — перевёл толмач, — горная черемиса? Не русский — не наш полон. Им велено русских писать. Про черемису не велено.

— Он правого берега. Они государю присягнули. Их сотник сейчас в Москве.

Толмач перевёл. Русский писарь снова пожал плечами.

— Он говорит — пусть сотник в Москве и просит. Ему не велено.

Бахтияр вернулся к казанскому столу. Писец из дивана слышал всё.

— Видишь, — сказал писец. — Не берут.

— Впиши ты.

— Я впишу — а куда я его отпущу? — сказал писец. — Русские его не возьмут. Через реку он один не пойдёт — перевоз московский. Отпущу его — он сядет у ворот и будет сидеть. — Он подумал. — Чуаш теперь московские. Пусть Москва и просит. Нам-то что.

Он сказал это без зла.

Бахтияр стоял у стола.

— Нам-то что, — повторил он.

— Ну а что? — сказал писец. — Ты же сам сказал: правый берег за Москвой. Ты теперь с правого берега ничего не берёшь. Чего ты за него просишь?

Бахтияр закрыл книгу. Завернул в платок.

— Он живой, — сказал Бахтияр. — У меня записано.

Писец не нашёлся, что ответить, и обернулся к следующему, который подошёл с русской бабой за руку.

* * *

К Акчуре-барышнику Бахтияр пошёл сам.

Барышник жил за Булаком, у конного торгова, в большом дворе, где всегда стояли кони на продажу, и пахло там навозом и дёгтем. Акчуре был толстый, быстрый, с перстнями на пальцах, и торговал всем — конями, кожами, людьми, если было кем.

— Урга? — сказал Акчуре. — Чуаш? Которого из диванского загона дали?

— Он.

— Нет его.

— Где?

— Продал, — сказал Акчуре. — Вчера. Когда глашатаи пошли. Я подумал — сегодня русских забирают, завтра, может, и этих. Кто их знает, московских. Продал, пока цена есть.

— Кому?

Акчуре назвал имя. Кулбахт, с Арской стороны. Деревня — полдня от Арска, в лесу, при речке, за бором. Бахтияр знал эту деревню: он ездил туда лет десять назад с писцом дивана, когда считали Арскую сторону, и помнил там мечеть без минарета и мельницу.

— Далеко, — сказал Акчура. — Там его никто искать не будет. Там свои порядки. Кулбахту работник нужен был, у него сыновей нет, одни дочери. Хорошо заплатил. — Он назвал, сколько. — Хороший мужик был, твой чуаш. Тихий. Коней понимал. Не пил.

— Не пил, — сказал Бахтияр.

— А ты откуда его знаешь?

— Я с него ясак брал, — сказал Бахтияр. — Двадцать шесть лет. С него и с отца.

Акчура засмеялся.

— Ну, теперь с него Кулбахт ясак возьмёт, — сказал он. — Работой.

Бахтияр не засмеялся. Он сказал «спасибо» и ушёл.

* * *

Дома ели.

Сын пришёл злой. Он был на стене, когда въезжал Шах-Али, — их поставили на стену встречать, в ханских кафтанах, — и он стоял там весь въезд и смотрел, как едут стрельцы.

— Касимовский, — сказал сын. — Он у русских двадцать лет живёт. Он по-русски лучше говорит, чем по-нашему. Его уже раз выгнали, а они его назад привели. На нас. И мы его встречали. Я его встречал. В ханском кафтане.

— Ешь, — сказала жена.

— Я ем.

— Ешь и молчи.

Сын ел и молчал. Потом сказал:

— Я уйду.

— Куда? — спросил Бахтияр.

— Не знаю. На Арскую сторону. К Ногаям. Куда-нибудь. Где не московский.

— Ешь, — сказала жена ещё раз, и сын замолчал.

Жена не сказала за весь ужин больше ничего. Она подавала, убирала, подавала снова. Дочь не пришла: у неё заболела младшая. Пришёл только внук, старший, дочкин, — его привели ночевать, чтобы не заразился.

После ужина Бахтияр вышел во двор и совершил вечернюю молитву — один, на коврике, лицом туда, куда всегда, к югу и немного на запад. *Аллаһу эбәр* «Аллах велик». Он читал, наклонялся, становился на колени, касался лбом коврика, вставал. Колени болели. Сын в доме молился тоже, отдельно. Жена — за занавеской.

Когда он вернулся в дом, внук сидел на лавке и клевал носом. Бахтияр сел рядом. Внук привалился к нему, потом лёг головой ему на колени и заснул. Бахтияр сидел и не двигался.

Внуку было пять лет. Он был тяжёлый и тёплый. Бахтияр сидел, положив руку ему на спину, и считал, сколько ему будет лет, когда он сможет сесть на коня, — выходило семь, — и сколько, когда пойдёт на стену, — выходило пятнадцать. Потом перестал считать.

Жена пришла и забрала внука.

* * *

Ночью Бахтияр открыл книгу.

Не на двадцать шестом развороте, а на последнем листе, где лежала копия июньского списка. Он вынул её и развернул. Пятьдесят строк. Тридцать седьмая: Урга, отцово имя, Анат-касси, сотня Ахплата, десяток. На полях — *тере* «жив».

Он обмакнул калам.

Ниже *тере*, на тех же полях, мелко, он написал: продан в Арскую сторону. Потом имя — Кулбахт. Потом деревню, по имени, и что при речке, за бором, полдня от Арска. Потом день. Он узнал сегодня, а продали вчера, и он написал вчерашний день.

Строка на полях вышла длиннее, чем сама строка. Так у него не бывало никогда. У него строка кончалась там, где кончалась строка.

Он посмотрел на неё. Потом переложил копию обратно в книгу — не на последний лист, а в двадцать шестой разворот, в правую половину, туда, где под сотней Ахплата было пусто. Положил туда и закрыл.

Этого человека он больше не соберёт. Ясака с него не будет. Отпустить его он не может. Ехать к нему — незачем и не с чем. Сказать его родне — нельзя, перевоз московский.

Но записать было можно.

Он надел на книгу чехол. Убрал в сундук. Закрыл.

— Зачем ты его пишешь? — спросила жена из-за занавески. Она не спала. Она всегда знала, когда он открывает книгу, по тому, как скрипит сундук.

Бахтияр подумал.

— Чтобы знать, — сказал он.

Жена ничего не ответила. Бахтияр погасил лампу.

Глава 12. Двое из девяти

Ахплат. Москва — Нижний — город на Сёве — Ылкуш, август — сентябрь 1551 года
Мерин шёл ровно, и Ахплат к нему не привык.

Он был выше своего коня на ладонь, и сидеть на нём было как на крыше: земля далеко, и видно поверх телег. Шаг у него был длинный, мягкий, и он не спотыкался в колеях, как спотыкались свои, а переступал их, будто их не было. Он был подкованный — все четыре, — и на камнях звенел. Ахплат слушал этот звон первые два дня и потом перестал слышать.

Своего коня он вёл в поводу, рядом. Свой шёл и косился на мерина.

Кольчуга была приторочена к седлу сзади, свёрнутая в мешок из рогожи, и шлем в том же мешке, и мешок бил мерина по крупу на каждом шаге, и мерин не обращал внимания. Надеть кольчугу в дорогу Ахплат не мог — одному её было не надеть, — а просить Анчика каждое утро он не стал.

— Как его звать? — спросил Ильмук на второй день, показывая на мерина.

— Никак.

— Так нельзя. Коня без имени нельзя.

— Дома дадут, — сказал Ахплат.

— Кто?

— Кто-нибудь. Кто дома.

Ильмук посмотрел на мерина, на его чёрную гриву, на подкованные копыта.

— Он по-нашему не поймёт, — сказал Ильмук. — Он московский.

— Поймёт, — сказал Ахплат. — Кони понимают.

* * *

Обратно шли быстрее.

Телег было меньше: мёд оставили в Москве, меха оставили, коней-поминки — серую и гнедого — увели на государеву конюшню ещё в день приёма. Телега Ахплата шла пустая, только сухари, котёл и Анчиково сукно в холстине. Дождей не было. Дорога высохла. Муромский лес прошли за шесть дней, и на поляне, где был табун, Анчик проехал, глядя на уши коня, и Ахплат ехал рядом и тоже смотрел на уши своего мерина. Столба на краю поляны уже не было. Была яма от столба.

В Нижнем были слухи.

Слухи были такие: хана-младенца с матерью выдали русским — привезли в Нижний на лодках, неделю назад, провезли по реке вверх, к Москве. Одни видели, другие слышали от тех, кто видел. В Казани теперь сидит другой хан — московский, касимовский, тот, что сидел раньше. Русский полон в Казани весь отпустили, и полон идёт по дорогам, и его видели на Волге, на лодках, много.

На торгу одни радовались. Говорили: теперь Казань наша, теперь война кончилась, теперь соль подешевеет.

Другие говорили: ненадолго.

— Его уже два раза сажали, — сказал Юшка. Он сидел на телеге рядом с Ахплатом и жевал пряник, купленный на торгу. — Два раза выгоняли. Третий раз — посмотрим.

— А ты что думаешь? — спросил Ахплат.

— Я толмач, — сказал Юшка. — Я не думаю. Я перевожу, что думают другие. — Он подумал и добавил: — Ненадолго.

* * *

Съезжая изба в Нижнем была та же, и писари были те же.

Ахплат пошёл туда на другой день с Юшкой и не ждал ничего. Он шёл, потому что дьяк сказал: «В Нижнем посмотрят», — а раз сказано, надо пойти и спросить, посмотрели ли. Так он ходил в Хусан «Казань» к Бахтияру спрашивать про недоимку, которую уже отдали, — чтобы Бахтияр вычеркнул.

Молодой писарь с пером за ухом поднял голову, увидел Юшку, потом Ахплата и сказал что-то.

— Он говорит — пришло, — перевёл Юшка.

— Что пришло?

— Бумага. Из Москвы. На ямской гоньбе, быстрее вас. — Юшка послушал ещё. — Он говорит: «сыскать». Про девятерых.

Ахплат стоял.

Старый писарь в углу, с красными веками, поднял голову и прищурился.

— Сыскали, — сказал старый. — Двоих.

Юшка перевёл.

Ахплат не сразу понял. Он понял слово, а что за словом — не сразу. Он стоял посреди избы и смотрел на старого писаря, и старый смотрел на него.

— Двоих, — повторил Ахплат.

— Двоих, — сказал старый через Юшку. — На монастырском дворе, за городом, у Печер. В работниках. Их туда отдали тогда, той зимой. Старец монастырский поискал по своим книгам — у них книги есть, у монастырских, они всё пишут, — и нашёл двоих, черемисы, со Свияги, той зимы. Двоих. А боле нет.

— А остальные?

— Не сыскано, — сказал старый.

Юшка перевёл.

— Где их искать?

Старый пожал плечами.

— Не сыскано, — сказал он ещё раз, тем же голосом.

Молодой писарь достал из стопы лист, развернул, провёл по нему пальцем и сказал что-то, и Юшка перевёл: «Сепитко — не сыскано. Тойпулатко — не сыскано. Янтушко — не сыскано...» — и Ахплат слушал, как писарь читает имена с хвостами, одно за другим, и после каждого говорит два одинаковых слова.

Семь раз.

— А двое? — спросил Ахплат.

— Ахтупайко, — прочитал писарь. — И Тимкко. — Он посмотрел в лист. — Тимкко крещён. Наречён Василием.

* * *

Их привели к вечеру.

Привёл монастырский служка, пожилой, в чёрном, с посохом. Двое шли за ним. Ахплат стоял у телеги и смотрел, как они идут по посадку.

Ахтупая он узнал сразу. Ахтупай был из Анаткасси «Нижнего конца», из середины, у колодца, и ему было тогда тридцать, а теперь, значит, тридцать пять. Он был невысокий, коренастый, чернобородый, и шёл он так же, как ходил дома, — чуть вразвалку, — только теперь он был худой, и борода была с проседью, и на нём была чужая одежда: серая, монастырская, из грубого сукна.

Второго Ахплат не узнал.

Тимкке было тогда шестнадцать. Ахплат помнил мальчишку — длинного, с оттопыренными ушами, сына вдовы, который пас в Анаткасси гусей и всё время что-то пел. Шёл парень двадцати с лишним лет — высокий, стриженный по-русски, в кругу, в серой рубаше и в лаптях, — и на шее у него был крестик на гайтане.

Они остановились перед Ахплатом.

Ахтупай смотрел на него. Потом снял шапку, монастырскую, — и стоял, держа её в руках. Он ничего не сказал.

— Ахтупай, — сказал Ахплат.

— Ахплат, — сказал Ахтупай.

Больше они ничего не сказали. Ахплат протянул руку и взял Ахтупая за плечо, и подержал, и отпустил.

Второй стоял и смотрел в землю.

— Тимкке, — сказал Ахплат.

Парень поднял голову. Посмотрел. Кивнул.

Служка сказал что-то по-русски — «Васька», и ещё что-то, — и парень повернулся к службе и кивнул тоже.

— Он и на то, и на другое откликается, — сказал Юшка. — Удобно.

Служка отдал Юшке какую-то бумагу, поклонился Ахплату и ушёл. Двое остались.

Ахплат смотрел на них. Их было двое. Он хотел спросить про остальных — видели ли, знают ли, куда увели, — и спросил. Ахтупай покачал головой. Их разделили в первый же месяц. Одних увели куда-то дальше, на Москву. Других раздали по служилым. Его и мальчишку — Тимкке — отдали в монастырь, потому что монастырь просил работников. Остальных он не видел пять лет.

— А Тойпулат? — спросил Ахплат.

— Тойпулата увели с теми, что на Москву, — сказал Ахтупай. — В первый месяц. Больше не видел.

Ахплат полез за пояс. Ложка Тойпулата была там — деревянная, с конской головой на черенке. Он достал её и посмотрел на неё. Потом убрал обратно.

* * *

Двое пошли с обозом.

Им дали место на телеге, на сухарях. Ахтупай сидел на передке рядом с Ильмуком и молчал. Он молчал все дни — ел, спал, сидел, смотрел на дорогу, — и если его спрашивали, отвечал коротко. Про монастырь он сказал одно: там рано встают. Про пять лет не сказал ничего.

Васька-Тимкке говорил больше. Но говорил плохо.

Он говорил по-суварски так, как говорят, когда давно не говорили: слова находились не сразу, и он их искал, и не находил, и вставлял русские. Он сказал «хлеб» по-русски. Потом спохватился и замолчал, покраснел до ушей — уши у него так и остались оттопыренные, — и сидел.

— *Џăкăр* «хлеб», — сказал Анчик. Он ехал рядом с телегой.

— *Џăкăр*, — повторил Тимкке.

— А вода?

Тимкке подумал.

— *Шыв* «вода», — сказал он. — Это помню.

— А лошадь?

Тимкке думал долго. Потом сказал по-русски: «лошадь». И опять покраснел.

Анчик сказал ему, как по-суварски. Тимкке повторил. Потом ещё раз, про себя, шевеля губами, — так же, как шевелил Анчик, когда повторял строку, прочитанную в избе у писаря.

Анчик это увидел и засмеялся. Тимкке посмотрел на него, не понимая, и Анчик махнул рукой: ничего.

С тех пор Анчик ехал у телеги каждый день и говорил ему слова. Показывал на вещь и говорил. Тимкке повторял. Иногда вспоминал сам — вдруг, посреди дороги, — и говорил слово, которого никто не спрашивал, и радовался. Слова приходили к нему по одному, как приходят кони на свист.

На церкви Тимкке крестился.

Он делал это, не думая: проезжали село, в селе церковь, и рука у него поднималась сама — ко лбу, к животу, к плечам. Потом он замечал, что сделал, и оглядывался — на Ахплата, на Анчика, на Ильмука. И сжимался.

Ахплат это видел. На третий раз он подъехал на мерине к телеге.

— Ты что оглядываешься? — спросил он.

Тимкке молчал.

— Боишься, что прогоним?

Тимкке кивнул, не поднимая головы.

Ахплат ехал рядом и смотрел на него — на стриженую голову, на крестик на гайтане, на оттопыренные уши, которые помнил.

— Твоя мать жива, — сказал Ахплат. — Ждёт. Ей всё равно, как ты руку поднимаешь. Ей надо, чтобы ты дошёл.

Тимкке поднял голову.

— А Амак? — спросил он.

Он вспомнил Амака. Ахплат это видел — вспомнил вдруг, как вспоминал слова: имя пришло само.

— Амак спросит, чей ты, — сказал Ахплат. — Ты ответишь. Этого хватит.

Тимкке смотрел на него. Потом кивнул.

На следующей церкви он перекрестился снова. И не оглянулся.

* * *

Брод через Савал «Цивиль» был тихий.

Вода стояла ниже, чем в июле: осень, межень, по щиколотку коню. Ольха по берегам пожелтела с краёв. На песке были следы — старые, размытые, всякие: кони, телеги, люди. Свежих не было.

Обоз переходил, как в тот раз, по одной телеге, — Истома так велел, хотя никто не стерёг. Стрельцы стояли наверху, на этом берегу. Сивобородый, который ходил теперь без хромоты, стоял у самой воды и смотрел, как переходят, и когда Анчик проезжал мимо, кивнул ему.

На восточном берегу, выше воды, под большой ольхой, был холмик. Трава на нём ещё не выросла — только редкая, светлая. На ольхе, на коре, на высоте груди, был знак: несколько коротких черт и одна длинная, и под ними маленькая метка. Кора вокруг затянулась, почернела по краям, и знак было видно хорошо.

Ахплат остановил мерина.

Он не знал, как звали того, кто лежал под холмиком. Его сотник сказал имя один раз, негромко, и Ахплат не расслышал. Знак на ольхе был не его рода. Он постоял у холмика, сколько стоят, и поехал дальше.

Сотник с Кубни, седой, ехал за ним. Он тоже остановился у холмика, слез с коня, положил на холмик что-то — Ахплат не видел что, — сел на коня и поехал.

* * *

Город на Сёве «Свияги» встретил их колоколом.

Ударили в тот час, когда обоз въезжал в ворота, — просто так, без причины, как в Москве, — и Ахплат уже не ждал, что что-то случится.

Их ждали. Воеводы велели сотникам, которые ездили, быть в съезжей избе. Ахплат пошёл. Изба была та же, у стены, с крыльцом, и очереди не было: ждали только тех, кто ездил.

Третьяк сидел за тем же столом. Юшка — на той же лавке. Только гороха у Юшки не было, а были сушёные груши.

Третьяк поднял голову, прищурился на Ахплата, как на дальнее, и Ахплат видел, что он его узнаёт — не сразу, а постепенно, — и узнал.

— Ахплатко, — сказал Третьяк. Потом сказал ещё что-то, и Юшка засмеялся.

— Он говорит, — перевёл Юшка, — помню тебя. Гнутое серебро.

Ахплат ничего не сказал.

Третьяк взял со стопы лист, развернул, посмотрел, свернул обратно и протянул ему.

Лист был плотный, желтоватый, свёрнутый в трубку и перевязанный ниткой. Снизу, из трубки, свисал шнурок, и на шнурке висела печать — красная, восковая, круглая, с полногтя толщиной. На печати было что-то выдавлено: зверь или птица, Ахплат не разобрал. Печать качалась на шнурке.

— Список, — сказал Юшка. — Воеводин. С печатью.

— Что в нём?

Юшка спросил Третьяка. Третьяк сказал коротко, не глядя в лист. Он знал, что там: он сам их писал, все, одинаково.

— Ясаки вам на три года отданы, — перевёл Юшка. — Воевать вас не велено. Быть вам у города.

Ахплат держал лист.

— Про всех или про нас? — спросил он.

Юшка спросил. Третьяк пожал плечами.

— Про Горную сторону, — сказал Юшка.

— Про всю?

Юшка спросил ещё раз. Третьяк махнул рукой и сказал что-то, и потянулся к следующему листу, и Юшка перевёл уже от себя, тише:

— Он говорит — как написано, так и есть. Он писал, как велено. Что там — ему не велено объяснять. Ему велено вручить.

Ахплат смотрел на лист, на печать. Печать была красная. У Магмета на шнуре было жёлтое, и блестело. Это было красное, и не блестело.

— Добро, — сказал он.

На крыльце его догнал Янтуду. Янтуду тоже получил лист — такой же, трубкой, с красной печатью, — и держал его в руке, как держат кнут.

— Что сказали? — спросил Янтуду.

— Про Горную сторону.

— Про тех, кто ездил, — сказал Янтуду.

Ахплат посмотрел на него.

— Он сказал — про Горную сторону.

— Он сказал, — согласился Янтуду. — А я говорю — про тех, кто ездил. Посмотрим, кто прав.

— Когда посмотрим?

— Когда ясак придут брать, — сказал Янтуду. — Тогда и посмотрим.

* * *

Истома прощался у ворот.

Он оставался в городе: его ставили на зиму в гарнизон, так сказал Юшка. Он стоял у ворот, долговязый, мокрый — с утра моросило, — и прощался с каждым сотником по очереди, кланялся, говорил что-то вежливое. Ахплату он поклонился и сказал длинно, и Юшка перевёл: он говорит, спасибо за дорогу, и что сотник считает лучше любого подьячего, и что если сотник будет в городе, пусть заходит, у него есть квас.

Ахплат поклонился ему.

Анчику Истома не поклонился. Он взял Анчика за плечо, тряхнул и сказал:

— Приходи стрелять.

Это Анчик понял без Юшки. Он кивнул. Истома засмеялся, вытер нос рукавом и пошёл в город.

* * *

Домой шли два дня.

Первым был Анаткасси — у дороги, у брода, как всегда. Ахплат въехал в него на мерине и сразу увидел.

На задах, где стояли стога, были чёрные круги. Трава вокруг них уже отросла, зелёная, а внутри была чёрная земля, и в ней белела зола. Шестнадцать кругов. Ахплат считал, проезжая. Один сарай был обгорелый с угла, и угол уже зашили свежими досками.

Люди выходили из дворов. Смотрели на мерина. Смотрели на двоих на телеге.

Мать Тимкке вышла из пятого двора от брода — старая, маленькая, в белом платке. Она увидела его на телеге и остановилась у ворот. Тимкке слез с телеги. Он стоял на дороге и не шёл, и она стояла у ворот и не шла. Потом она сказала его имя — старое, своё, не то, что дали в монастыре. И он пошёл.

Ахплат отвернулся и поехал дальше, наверх, к Ылкуп «Роднику».

Ахтупай слез у колодца, в середине, и пошёл к своему двору пешком, в монастырской одежде, не оглядываясь.

* * *

Айвика рассказала вечером.

Она рассказала коротко, как рассказывают, сколько жали: брат пришёл ночью, сказал. Скот в ельник, зерно в ямы, телеги поперёк. Двадцать три конных. Стога в Анаткасси. Сто сорок семь стрел. Двенадцать коров. Две бабы ранены, живы. Амак стащил одного рогатиной. Отпустила пешим. Коня в табун.

— Какого коня? — спросил Ахплат.

— Рыжий. Со звёздочкой.

Ахплат видел его днём в табуне — рыжего, невысокого, с короткой шеей, — и не спросил, чей.

— Амак хотел держать до меня, — сказала Айвика.

— А ты отпустила.

— Я отпустила.

Ахплат посмотрел на неё. Она стояла у печи, выше его на полголовы, и смотрела на него сверху, и не отводила глаз.

— Сарый не пришёл, — сказала Айвика. — Зять пришёл сам. С двумя.

Ахплат помолчал.

— Хорошо, — сказал он.

Он не сказал, что хорошо: что отпустила, что зять пришёл, что Сарый не пришёл. Айвика не спросила.

* * *

Лист смотрело всё село.

Пришли на другой день, с утра: из Сялкус все, из Анаткасси многие, из *Хыркасси* «Соснового конца» — дочь с зятем и ещё несколько. Сарый не пришёл. Встали во дворе. Ахплат вынес лист, развязал нитку, развернул, и держал двумя руками, и все смотрели.

Никто не мог прочесть.

Лист был исписан с одной стороны, сверху донизу, мелко, ровно, чёрным. Буквы стояли плотно, как колья в тыне. Кто-то сказал, что буквы похожи на следы птицы на снегу. Кто-то сказал — на муравьёв. Анчик сказал, что это русские буквы, он их видел в Москве, а какие какие — не знает.

Печать висела снизу на шнурке и качалась.

Дети лезли к печати. Они протискивались между ногами взрослых, вставали на цыпочки и тянули руки — потрогать красное. Сакаров внук дотянулся и тронул пальцем, и отдёргнул, как от горячего, и засмеялся.

— Не трогай, — сказал кто-то.

— Пусть трогает, — сказал Ахплат. — Не растает.

Айвика стояла рядом. Она вытерла руки о передник — сначала ладони, потом каждый палец, — и только тогда протянула руку и взяла лист за край. Подержала. Посмотрела на буквы, которых не могла прочесть, так же, как смотрела на всё, что брала в руки: сколько весит, крепкое ли. Отдала.

Амак стоял с краю, опершись на палку, и смотрел на лист правым ухом, повернув голову. Он ничего не сказал.

Мать вышла из избы. Её вёл внук, дочкин, двухлетний, — держал за палец и тянул. Она подошла к листу. Посмотрела. Потом посмотрела на сына, на его грудь, на ворот рубахи.

— Монета где? — спросила Эрнепи.

— За письмо, — сказал Ахплат.

Мать посмотрела на лист ещё раз. На буквы, на печать.

— Значит, хорошо написали, — сказала она.

И кивнула, и повернулась уходить.

— Мать, — сказал Ахплат.

Она остановилась.

Он полез за пазуху. Там, в тряпице, завёрнутый туго, в два слоя, лежал хлеб. Он лежал там с Москвы, с того стола, пять недель, и Ахплат не вынимал его ни разу. Он вынул теперь. Хлеб высох — стал лёгкий, твёрдый, как деревяшка, и корка с одной стороны потрескалась. Но это был тот хлеб: белый, пшеничный, круглый.

Он развернул тряпицу и отдал матери.

— С царёва стола, — сказал он. — Тебе.

Эрнепи взяла хлеб. Посмотрела на него. Постучала по нему пальцем — хлеб звякнул, как сухое дерево.

— Мне его не угрызть, — сказала она.

Она постояла, держа хлеб. Дети вокруг смотрели на неё. Потом она взялась за хлеб двумя руками, над передником, и разломила. Хлеб треснул. Она ломала его дальше — на половины, на четверти, на куски, и куски на крошки, — и крошки сыпались в передник.

Потом стала раздавать.

Детям. Каждому, кто стоял рядом. Каждому по крошке — в ладонь. Внуку, дочкиному, первому. Сакарову внуку, который трогал печать. Мальчишкам, которые носили стрелы у телег. Девочкам. Каждому.

— Ешьте, — говорила Эрнепи. — С царёва стола.

Дети ели. Держали крошку на ладони, смотрели на неё и клали в рот. Один спросил, почему такой твёрдый. Эрнепи сказала: потому что издалека.

Крошек хватило всем. Эрнепи вытряхнула передник, отряхнула руки и пошла в избу, к стану.

Ахплат стоял с листом. Анчик рядом смеялся — тихо, про себя. Айвика не смеялась, но смотрела на детей, которые сосали крошки.

* * *

Семь дворов пришли к вечеру.

Они приходили по одному, не вместе, — из Анаткасси, поднимались по дороге и входили во двор, и Ахплат выходил к ним. Приходили отцы, матери, жёны, братья. Один раз — старуха, одна, из того двора, где больше никого не осталось.

Каждый спрашивал одно и то же. Кто — прямо. Кто — не спрашивал, только стоял и смотрел.

И Ахплат каждому говорил одно и то же:

— Не сыскано.

Больше он ничего не говорил. Он не знал больше ничего. Он не говорил «на Москву увели», потому что Ахтупай видел только, что увели, а куда — сказал писарь в Нижнем, а писарь мог и не знать. Он не говорил «ищут», потому что не знал, ищут ли. Он говорил то, что сказали ему, теми же двумя словами, и видел, что этих двух слов мало, и других у него не было.

Старуха выслушала, кивнула и ушла, опираясь на палку.

Последним пришёл отец Тойпулата — седой, в прожжённой шапке.

— Не сыскано, — сказал Ахплат.

Отец Тойпулата кивнул.

Ахплат достал из-за пояса ложку. Она была при нём с Анаткасси, через Нижний, через ту избу, где старый писарь сказал «мало ли ложек», — и дальше, через Москву, через стол, через казённый двор, и назад. Он протянул её отцу. Конской головой вперёд.

Отец Тойпулата взял ложку. Посмотрел на неё.

— Не нашёл, — сказал Ахплат.

— Не нашёл, — сказал отец Тойпулата.

Он сунул ложку за пазуху и ушёл. Он не сказал больше ничего и не спросил ничего, и Ахплат стоял у ворот и смотрел, как он спускается по дороге к Анаткасси, медленно, одной рукой держась за грудь, там, где ложка.

Семь.

* * *

Ночью Ахплат открыл сундук.

Сундук стоял в избе у стены, под окном, старый, дубовый, окованный по углам. В нём лежало то, что лежало всегда: Айвикины праздничные рубахи, её праздничный *сурпан* «покрывало замужней», отрез холста, бирки прошлых лет, связанные лыком.

Он положил список сверху. Свёрнутый, перевязанный ниткой, с печатью на шнурке. Печать легла на холст, красная.

Закрыв сундук.

Потом снял со стены у двери лучину, осветил и нашёл гвоздь — большой, кованый, вбитый в бревно у двери, на котором висел старый хомут. Он снял хомут и повесил его на другой гвоздь, пониже. Развязал рогожу, достал кольчугу. Она была тяжёлая, и звякнула в руках, и он поднял её за плечи и повесил на гвоздь, за ворот. Кольчуга повисла, вытянувшись до пола, серая, с рукавами до локтя. Рядом, на тот же гвоздь, он повесил шлем за ремешок.

Он отошёл и посмотрел.

Кольчуга висела у двери. Каждый, кто входил в избу, будет её видеть первой. Кольца блестели на свету от лучины, как рыба чешуя.

— Зачем её сюда? — спросила Айвика с лавки. Она не спала.

— А куда?

Айвика подумала.

— Сюда, — согласилась она.

Ахлат погасил лучину и лёг. В темноте кольчуги не было видно. Было слышно, как она тихо звенит, когда по избе ходит сквозняк, — одним кольцом о другое, еле-еле.

Он лёг на спину и стал считать. Двое дома. Семь не сыскано. Список в сундуке. Кольчуга на гвозде. Мерин без имени в конюшне. Два бочонка липовых Янтуду. Сто денег без десяти, которые он отдал за соль в Нижнем, и без пяти — за дёготь.

Кольчуга тихо звякнула у двери.

Карта



Правобережье Волги и Казань, 1546–1552 годы. Сёла повести условны.

Часть II. Подготовка

Глава 13. Одним словом

Ахлат. Ылжус, юна, октябрь 1551 года

Столбы тесали четыре дня, по одному на день, потому что дуб был сырой и тесать его быстро было нельзя.

Дубы свалили ещё в *аван* «месяц овинов», на гриве за *Анаткасси* «Нижним концом», и свезли на двор к Амаку, и там они лежали под навесом, на подкладках, чтобы не тянули воду снизу. Четыре ствола в обхват, каждый в полтора человеческих роста. Сотник выбирал их сам, ходил по гриве с топором и стучал обухом по коре, и слушал, и два дерева забраковал, потому что звенели не так.

— Ты их как горшки выбираешь, — сказал Амак.

— Горшок треснет — новый купишь.

— И столб треснет — новый вытешешь.

— Этот, — сказал сотник, — через двадцать лет треснет. А тот, звонкий, через пять.

Амак не спорил. Амаку было семьдесят шесть, он слышал плохо на левое ухо и, когда хотел слышать, поворачивался правым, а когда не хотел — не поворачивался. Он сидел на чурбаке у навеса и смотрел, как тешут.

Тесали двое, от *Анаткасси* и от *Ылжус* «Родника», а сотник стоял с третьей стороны и держал ствол, чтобы не катался. Сначала снимали кору, потом стёсывали на четыре грани, потом верх — плоский, как у мужских. Щепка летела белая и пахла кисло, и мальчишки подбирали её на растопку, пока не прогнали.

Знак рода на каждом резал старший в роду. Сотник стоял и смотрел, как режут, и не вмешивался. Потом каждый резал свою метку, ниже, мелкую, какая у человека была при жизни на бирке и на улье. Букв не резал никто. Буквы были у Третьяка в городе, в ящике, вместе с гнутой монетой.

На третий день пришёл из *Анаткасси* старик, сосед *Урги* через плетень, и встал у навеса.

— Четыре, — сказал он.

— Четыре, — сказал сотник.

— С Арского поля не вернулось пятеро.

— Четверо убиты. Пятый — не знаем.

— Вот я и говорю, — сказал старик. — Не знаем. Кто его видел мёртвым?

— Никто.

— А живым?

Сотник промолчал. Живым *Ургу* последний раз видел *Анчик*: на коленях, над сыном, и к нему скакали. *Анчик* это рассказывал один раз, в лодке, и больше не рассказывал.

— Живым столб не ставят, — сказал Амак с чурбака.

— А если он не живой?

— Тогда тело бы видели.

— Там было не до тел, — сказал старик. — Сам знаешь.

Амак повернулся к нему правым ухом, послушал и повернулся обратно.

— Не знаем — значит, не называем, — сказал он. — Я летом это сказал. И сейчас скажу.

Старик постоял ещё, посмотрел на четыре ствола и на пустое место под навесом, где могло бы лежать пятое, и ушёл, не попрощавшись. Сотник видел по его спине, что он не согласен и что он прав тоже.

Вечером, когда тесальщики ушли, Амак сказал сотнику:

— На *масаре* «кладбище» оставь место. В ряду Анаткасси. Рядом с сыном.

— Для чего?

Амак не ответил. Он поднялся с чурбака, опёрся на палку и пошёл в избу. Сотник смотрел ему вслед и потом долго мерил шагами землю под навесом, как будто на масаре, и считал, сколько надо оставить. Вышло два шага.

* * *

На *масар* «кладбище» несли утром, на жердях, по двое на столб, всем селом.

День был ясный и холодный, какие бывают в *юпа* «месяц столбов», когда лист уже весь внизу и лес стоит прозрачный. Масар лежал на бугре над рекой, в березняке. Старые столбы стояли там рядами, по родам, чёрные, в лишайнике, у некоторых верх уже сгнил и осел набок, и никто их не правил: правят, пока жив тот, кто ставил.

Ямы выкопали с вечера, каждую в ряду своего рода, как лежали бы, если бы их принесли. Тимешу, сыну Урги, — в ряду Анаткасси, с краю. Ямашу и Элмену — в рядах *Ѕалкус*, одному повыше, другому у самых берёз. Пайтушу — в ряду *Хыркасси* «Соснового конца», и яму ему копали его братья и не дали никому помочь. А рядом с Тимешевой ямой, со стороны реки, остались два шага нетронутой земли, и кто-то уже воткнул там по краям две ветки, чтобы не копали.

Сотник шёл за вторым столбом и смотрел себе под ноги. Жердь давила на плечо. Впереди, за первым столбом, шёл Анчик, и сотник видел, как у него на шее, под волосами, выступил пот, хотя было холодно.

Тел не было. Вместо тел в каждую яму положили то, что было: кому — рубаху, кому — пояс, кому — ложку. Мать Тимеша умерла давно, и рубаху для него дала соседка, та самая, что через плетень, — новую, никем не ношенную, которую она шила для своего, а свой вырос из неё раньше, чем дошла.

Столбы вкопали. Притоптали. Сотник ставил по солнцу, по тени на грани, отходил, смотрел и подходил поправить, и Анчик держал с другой стороны.

Потом Амак встал.

Ему помогли дойти, и он дошёл, последние шаги сам, и положил руку на первый столб, туда, где у человека было бы плечо. И назвал Тимеша. Назвал так, как называют над ямой: имя, и чей сын по отцу, и чей по матери, и откуда мать, и какой двор, и сколько лет было тому, кого называют. Отца он назвал так же, как называл всегда: Урга, из Анаткасси. Не сказал ни «покойный», ни «живой». Сотник это заметил, потому что ждал.

Потом Амак помолчал, не снимая руки.

— *Ўчĕ сук, камĕн — нур* «Тела нет, а чей он — есть», — сказал он.

Он сказал это в столб, негромко, как говорят человеку, который стоит близко.

Потом его повели через масар к Ямашу, и к Элмену, и к Пайтушу, и он назвал каждого, и над каждым сказал те же слова, и голос у него не менялся. Сотник ходил за ним от ряда к ряду и слушал имена, которые знал сам, и считал про себя. Четыре имени. Четыре двора. Он называл эти дворы летом, когда ходил по ним после Арского поля, и сейчас Амак называл их тем же порядком, как будто шёл за ним следом.

Пустые два шага земли лежали рядом с Тимешевым столбом, между двух веток. Никто на них не наступал. Ребятишки, которые всегда бегают по масару, пока взрослые стоят, обегали это место, и никто им этого не говорил.

* * *

Кёр сйри «осеннее пиво» варили во всех трёх сёлах по-своему, а пили вместе, на поле у масара, где земля ровная и скошенная, и где ставили длинные столы из досок на козлах.

Столов было по числу сёл, три, и за каждым сидели по родам. Бабы носили, мужики сидели, старики сидели выше всех, на концах. Пиво было в этот год горькое, потому что хмель вышел поздний, и все говорили, что горькое, и пили.

Потом пели.

Пели сначала бабы, за Анаткасси, долгое и медленное, потом подхватили за Сялкус, и песня пошла через поле от стола к столу, как ходит по воде от брошенного камня. Сотник не пел. Он никогда не пел, и это знали, и его не звали. Он сидел и смотрел, как поёт Айвика — она пела по-суварски, чисто, выше всех баб, и только одно слово в песне, одно на каждый круг, у неё выходило по-луговому, мягко, и за двадцать пять лет её никто не поправил, потому что никто уже не слышал.

Потом Амак поднял руку, и перестали.

Переключку начинали всегда одинаково: выкликала вставал и выкликал двор, а хозяин двора отвечал, и тогда Амак говорил, чей это двор, от какого рода, кто стоит за ним в порядке и кто перед. Выкликала был старик из Хыркасси, без двух передних зубов, и голос у него был такой, что его слышали за рекой. Он выкликал дворы, а Амак называл роды, и так шло по кругу, от Анаткасси вверх по реке, до последнего двора Хыркасси, у бора.

Когда дошли до своего круга, выкликала крикнул:

— Атнеровы!

Сотник встал.

Он ответил за свой двор, как отвечал каждую осень: сам, мать, жена, сын, дочь отдана в Хыркасси, внук там же. Потом ответили другие дворы круга. Амак называл за ними порядок. Порядок был длинный, и Атнеровы в нём были не первыми — их круг стоял в середине, между Анаткасси и бором, — и где-то в начале, в самых первых именах, стояло одно, которое Амак говорил всегда, каждый год, одним и тем же голосом:

— ...Ятман...

Внук сидел у Айвики на коленях. Он первый год досиживал до переключки, не засыпая, и слушал всё, и слышал.

— Кто это? — спросил он громко, как спрашивают на третьем году.

Кругом засмеялись. Амак повернулся к мальчику правым ухом.

— Человек был, — сказал он.

— А какой?

— Раз зовут — значит, был, — сказал Амак. — Сиди.

Внук сел. Айвика дала ему кусок лепёшки, чтобы сидел.

* * *

Когда круг кончился, Амак посмотрел на сотника.

Сотник знал, что посмотрит. Он знал это с утра, с того часа, как вкопали четвёртый столб, и всё время, пока пели, думал, как скажет, и не придумал. Он поднялся.

Он сказал, что был в городе. Что у царя были все: мурзы, и сотники, и десятники, со всей Горной стороны, и от *Савала* «Цвиля», и от *Сёве* «Свияги», и снизу. Что грамоту дали одну на всех, и везут её не они. Что им дали список, и список лежит в сундуке, и он его показывал. Что ясаки отданы на три года — так сказали. Что в городе теперь всех пишут одной строкой.

— Какой строкой? — спросили из-за стола Анаткасси.

— Всех, кто на этой стороне, — сказал сотник. — Не по сёлам. Не по родам. Одним словом.

— Каким?

Сотник помолчал. Он смотрел на столы, на три стола, за которыми сидели по родам, на Амака на конце, на старый березняк за масаром.

Потом сказал.

— *Чйваши* «чуваши».

Он сказал это своим ртом, по-своему, как это слово и выходило, если его взять у писаря и пересадить на свой язык. В городе оно было длиннее и твёрже, «чуваша», с чужим концом, а у него во рту стало короче, и сам он удивился, как легко оно вышло.

Никто не засмеялся.

Сарый встал из-за стола Хыркасси. Он встал не сразу — сначала поставил ковш, потом вытер усы, потом встал, — и сотник понял, что он тоже ждал, с утра.

— Мы сувары, — сказал Сарый.

Он сказал это громко, но без крика, так, как говорят, сколько в копне снопов.

— Мы отсюда. С этой реки. Мой дед отсюда, и его дед, и Амак скажет, чей. — Он показал подбородком на березняк. — Вон они стоят. А *чйваши* — это в бумаге. Это писарь написал. И те, что за лесом, на Савале, — это не мы. Их сотник, с которым ты в городе стоял, — не наш. Он своё отчество писарю продал, я слышал. За что нам с ним одно слово?

— Льготу дали всем, — сказали из-за стола Сялкус.

— А спросят тоже со всех, — сказал Сарый. — Льготу дали, это да. Её тут никто не видел. А спрашивать приедут — это увидим.

Сотник ничего не ответил. Он смотрел на Сарыя и думал, что тот говорит то, что сотник сам думал в городе, в очереди, пока Третьяк писал. Только Сарый говорил это вслух и при всех, и поэтому выходило, что против.

Амак поднял руку.

Все повернулись к нему. Он сидел на конце, маленький, в войлочной шапке, и говорил, как всегда, негромко, и поэтому все замолчали, чтобы слышать.

— Назовёмся одним, — сказал Амак, — спросят с одного за всех.

Больше он ничего не сказал. Он опустил руку и взял ковш.

Сотник понял, что Амак говорит не про гордость. Амак говорил про счёт. Если у тебя одна строка, то в одну строку и впишут всё — и что дали, и что должен, и что сделал кто-то один, за лесом, и чего ты не делал. Сотник девятнадцатый год раскладывал ясак по дворам и знал, как это бывает, когда недоимку одного двора пишут на весь десяток. Всё это Амак сказал семью словами, и сотник не нашёл, что к ним прибавить.

* * *

— А что там написано? — спросил кто-то из Анаткасси. — В бумаге. Прочти.

— Я не умею.

— А кто умеет?

— В городе умеют, — сказал сотник. — Там читали.

— И что прочли?

Сотник начал было говорить, что прочли, и понял, что не помнит. Он помнил, как Третьяк шурился в бумагу. Помнил, как перо шло и шло, долго, дольше, чем надо на короткое слово. Помнил «Атнеров» и «с товарищи». Остальное было на русском, и русский в его голове не держался, как вода в решете.

Анчик встал.

Он встал из-за стола Сялкус, в том конце, где сидели молодые, и сотник увидел, что у него шевелятся губы, как шевелились тогда, в темноте, у костра под городской стеной. Анчик постоял, глядя вверх голов, и сказал по-русски, ровно, как говорят заученное, не понимая половины:

— «Горние стороны черемиса, а по их — чуваша, сотник Ахплатко Атнеров с товарищи. Три деревни, сто двенадцать дворов».

Слова были чужие и падали на стол, как камешки. Никто за столами, кроме Айвики, не понял ни одного. Потом Анчик перевёл:

— Горной стороны черемиса — так они нас пишут. А по-нашему, пишут, — чуваша. Сотник Ахплатко, Атнеров род, с товарищами — это мы все, кто за отцом. Три деревни, сто двенадцать дворов. — Он подумал. — А мурзу — татарин. В особый список. К столу выше.

За столом Хыркасси засмеялись.

— Янтуду выше, — сказал кто-то. — Это он и без бумаги знает.

— Он всегда выше садится, — сказали из-за другого стола. — Кобыла у него выше.

Засмеялись все, и стало легче. Янтуду на *кёр сйри* «осеннем пиве» не было: он молился отдельно и пиво не пил, и в эти дни сидел у себя за оврагом.

Сотник смотрел на сына. Анчик сел, но губы у него шевелились до сих пор, он повторял строку про себя, чтобы не растерять. Сотник подумал, что сын держит эту строку так, как сам он держит в голове раскладку ясака: целиком, с начала, и если собьёшься — начинаешь сначала.

* * *

Молодые сидели в конце стола *Ѕӓлкуҫ*, и к ним подсели молодые из Анаткасси. Их было человек пятнадцать — те, кто летом ходил на Арское поле, и те, кто ходил с обозом до Москвы, и те, кто не ходил никуда и завидовал.

Анчик рассказывал им что-то, тихо, и сотник услышал только конец:

— ...а Истома говорит — так они и есть.

— Кто?

— Татары. Которые жгли. Истома говорит, они его Рязань сожгли. А бабка говорит — Великий город с востока сожгли. Одни и те же.

Ильпек, сын кузнеца из Анаткасси, семнадцати лет, который на Арском поле не был, потому что был мал, а теперь не был мал, вскочил на скамью и крикнул через костёр, через все столы:

— За Великий город!

Он крикнул это так, как кричат на игрищах, когда тянут палку: весело и во всё горло. И молодые подхватили, в пятнадцать глоток, и потом ещё раз, и где-то за столом Хыркасси тоже подхватили, двое или трое, и засмеялись.

— За Великий город!

Старики переглянулись.

Амак повернулся к молодым правым ухом. Послушал. Потом сказал, не вставая, не повышая голоса, и те, кто сидел ближе, замолчали, и за ними замолчали остальные:

— Кто жёг — тех давно нет.

Ильпек стоял на скамье.

— Кому мстить будете, — сказал Амак, — их правнукам? Так и мы чьи-то правнуки.

Молодые засмеялись. Не зло — так смеются над стариком, который говорит медленно, когда всё уже ясно. Ильпек слез со скамьи и сел, и что-то сказал соседу, и тот толкнул его в плечо, и они опять засмеялись. Анчик не смеялся. Он смотрел на Амака, как смотрят на того, кто сказал непонятное, и потом отвернулся.

Сотник думал про Бахтияра. Двадцать шесть лет Бахтияр приезжал к нему каждую осень, и они сидели за этим самым столом, если осень была поздняя, или в избе, если ранняя, и пили — Бахтияр не пил, Бахтияр пил молоко, и шутил про своё молоко, — и считали мёд, и спорили про недоимки. Сотник знал, что Бахтияр никакого города не жёг. Бахтияр однажды полдня

искал потерянную курицу у соседа по двору, чтобы не платить за неё соседу. Сотник подумал это и ничего не сказал. Сказать это молодым было нельзя: они не знали, про какую курицу, и не узнали бы, как ни объясняй.

Айвика сидела рядом, с внуком на коленях. Внук спал.

— Черемиса, — сказала Айвика негромко, — это мы. Луговые. Моего отца так русские зовут, я слышала.

Бабы за столом повернулись к ней.

— А вы тогда кто? — спросила Айвика.

Бабы засмеялись. Засмеялась даже старуха из Анаткасси, которая не смеялась с лета, с тех пор как её сын остался на Арском поле. Кто-то сказал, что теперь все черемиса и можно Айвике больше не выделяться, и снова засмеялись.

Айвика не смеялась. Она поправила на внуке шапку, чтобы не сползала, и больше ничего не сказала.

Сотник посмотрел на неё и отвёл глаза.

* * *

Переключка пошла дальше, старым порядком.

Выкликала выкликала дворы. Хозяева отвечали. Амак называл. Всё было так же, как в прошлую осень, и в позапрошлую, и так, как сотник помнил с детства, с того года, когда отец его в первый раз поставил отвечать за двор, потому что сам лежал с ногой. Всё было так же, только каждый, кто отвечал, теперь отвечал немного громче, чем надо.

Когда выкликала дошёл до Хыркасси, Сарый не встал.

Он сидел за столом, держал ковш и смотрел в ковш.

Выкликала выкликнул его двор второй раз. Сарый поставил ковш, поднялся, ответил за свой двор — коротко, в три слова, — и потом не сел, а перешагнул через скамью и пошёл с поля. Не к Хыркасси, по дороге, а в сторону, через жнивье, к лесу.

За ним встал его брат, младший, зять сотника. Встал и пошёл. Дочь сотника, сидевшая за бабым концом, подняла голову, посмотрела на мужа и опустила, и осталась сидеть.

За ним встали ещё.

Сотник считал. Он не хотел считать. Он считал всегда, это было у него в руках, как у другого в руках бывает нож или ложка, — брал и считал. Один. Два. Три. Мужики вставали из-за стола Хыркасси, по одному, по двое, отвечали выкликале за свой двор, если их двор уже выкликнули, или не отвечали, если ещё не выкликнули, и шли через поле за Сарыем, не оглядываясь. Бабы их оставались.

Семь. Восемь.

Выкликала выкликала дальше. Он не остановился ни разу и голоса не изменил. Амак называл роды за теми, кто остался, и за теми, кто ушёл, одинаково, и никого не пропустил.

Девять. Десять.

Последним встал *чйксьиз* Хыркасси, тот, что режет на молениях, — пожилой, тяжёлый, с деревянной чашей на поясе. Он постоял, посмотрел на масар, на новые столбы, на пустые два шага у Тимешева столба, и сотник подумал, что он не пойдёт. Он пошёл.

Одиннадцать.

Сотник сел. У него болела левая кисть — та, что гнулась хуже, от старого перелома, — и он понял, что сжимал её под столом в кулак. Он разжал.

Переключка дошла до последнего двора Хыркасси, у бора. Выкликала выкликнул его. Хозяин ушёл с Сарыем, и ответила его жена, из-за бабьего конца, негромко. Амак назвал род.

Потом Амак долго сидел молча, сложив руки на палке. Люди ждали. Было слышно, как на реке кричит поздний гусь и как где-то за столом Анаткасси ребёнок стучит ложкой о доску.

— Порядок тот же, — сказал Амак.

Он сказал это не громче, чем всё остальное, и поднялся, и ему подали руку, и он пошёл домой.

Сотник сидел и смотрел на стол Хыркасси, где стояли одиннадцать ковшей, и в некоторых ещё было пиво. Потом встал, взял один, допил, поставил, взял второй.

— Не надо, — сказала Айвика.

— Горькое, — сказал он. — Жалко выливать.

Он допил и второй. Потом пошёл домой, и Айвика понесла внука, а дочь шла за ними и несла пустой бочонок, и никто из них не говорил, и собака, которая всегда встречала их у ворот, сегодня не встречала, потому что ушла с поля раньше, с кем-то из мальчишек.

В избе на гвозде висела кольчуга. Сотник снял шапку и повесил рядом. Потом сел к столу и на ощупь, не зажигая светца, нашёл бирку, которую резал на ясак, и положил перед собой, и сидел, положив на неё ладонь.

Сто двенадцать дворов. Когда его выбрали, их было сто девять. При отце — сто четыре.

Считать сегодня было нечего. Он сидел просто так.

Глава 14. Ни одной деньги

Ахплат. Ыйлух, Хыркасси, ноябрь — декабрь 1551 года

Бирки на ясак сотник нарезал, как каждую осень, после овинов.

Он нарезал их по привычке, ещё до *кёр сйри* «осеннего пива», и потом не мог вспомнить, зачем. Сидел вечером у светца, строгал липовые дощечки, по одной на десяток, и резал на каждой дворы, а под дворами — что с кого: мёд кадками, куниц и белок по счёту, хлеб мерами. Резал правой рукой, левой держал. Одиннадцать дощечек и одна маленькая, на два двора сверх. Потом связал их лыком в связку и повесил на гвоздь рядом с кольчугой. Так они и висели.

Бахтияр не приехал.

Он приезжал всегда в одно время — когда лист сойдёт, а дорога ещё не встанет, — и сотник это время знал так же, как знал, когда надо сеять озимь. Двадцать шесть лет. Сначала приезжал молодой, худой, с двумя конными и писцом, потом без писца, потом грузный, с одним конным, и в последние годы он слезал с седла так, будто слезал с крыши, держась за луку обеими руками, и говорил, что колени у него стали умнее его самого — всё знают заранее.

В эту осень лист сошёл, дорога ещё не встала, и никто не приехал.

Сотник ждал неделю. Потом ещё одну. В *Анаткасси* «Нижнем конце» мужики спрашивали, не везти ли мёд к дороге, как всегда возили, и он говорил: подождём. Потом выпал первый снег и растаял, и дорога стала как каша, и по такой каше из *Хусан* «Казани» никто бы не поехал, и сотник понял, что больше ждать не надо.

— Не приедет, — сказал он за ужином.

— А кто его звал, — сказала мать.

Она сидела у стана, как всегда, и на шапке у неё слева было пустое место с обрывками ниток. Она их не срезала.

— Двадцать шесть лет не звали. А приезжал.

— Значит, бумага сработала, — сказал Анчик.

Он сказал это весело. В селе так говорили уже неделю: бумага сработала, казанский не едет, три года ничего никому. В *Анаткасси* по этому случаю зарезали ягнёнка. В *Хыркасси* «Сосновом конце» не зарезали, но и там не жаловались.

Сотник снял с гвоздя связку бирок, развязал, посмотрел на верхнюю и завязал обратно.

— Может, и сработала, — сказал он.

* * *

В *чйк* «месяц жертв», в середине, когда дорогу прихватило морозом и по ней стало можно ехать, приехали из города.

Приехали днём, не прячась, и сотник услышал их издали — телеги скрипели по мёрзлой колее, и собаки в *Анаткасси* подняли лай, и лай пошёл вверх по реке от двора к двору, и докатился до *Ыйлух* «Родника» раньше телег. Он вышел за ворота.

Впереди ехал русский в тулупе поверх кафтана, с саблей, на рыжей кобыле. За ним две телеги, пустые, и на каждой по три стрельца с пищальями, с зачехлёнными фитилями, в красных шапках. Последним ехал Юшка, толмач, на своей смирной кобыле с отвислой губой, и махал сотнику издали рукой, как старому знакомому.

— Ясатчик, — сказал Юшка, подъехав. — Из города. Ясак собирать.

— С кого?

— С вас. — Юшка слез с кобылы и поправил шапку. — А ты думал — с меня?

Ясатчик не слез. Он сидел в седле и смотрел на сотника сверху, на двор за его спиной, на избу, и смотрел так, как сотник сам смотрел на чужое поле — сколько тут можно взять.

Это был немолодой человек, с бородой в седине, с красными от мороза щеками и с руками, которые он всё время грел в рукавах.

Он сказал что-то по-русски, длинно. Сотник понял «ясак» и «государь». Юшка перевёл:

— Велено брать ясак с вашей сотни. Как прежним царям платили, так и нынче.

— Прежним царям мы платили в Хусан.

— Ну а теперь — в город. Разница невелика: там тоже считать умеют.

Ясатчик сказал ещё что-то, короче. Юшка поморщился.

— Он говорит: ясак с чуваша горные имать, по старине. Это он так говорит. Это у них в бумаге так.

Сотник посмотрел на ясатчика. Тот смотрел поверх головы сотника, на избу, и грел руки.

— Подождите, — сказал сотник.

Он пошёл в избу. Айвика стояла у печи, мать — у стана, Анчик — у двери. Все трое смотрели на него. Он подошёл к сундуку, открыл, вынул список — лист был свёрнут в трубку и перевязан ниткой, и красная печать на шнурке висела снизу, как ягода на стебле, — и вынес его во двор.

* * *

Ясатчик слез наконец с кобылы, взял лист, развязал нитку и развернул. Он читал долго, беззвучно, держа лист далеко от глаз, на вытянутых руках, как держат старики. Потом перевернул, посмотрел на обратную сторону, на печать, снова на лицевую.

Потом сказал что-то Юшке, коротко, и показал пальцем на одно место в листе.

Юшка наклонился, прочёл, почесал висок.

— Что он говорит? — спросил сотник.

— Он говорит... — Юшка помолчал. — Он говорит: тут написано, что ясаки отданы. Да. На три года. Только тем, кто ездил. Нарочитым людям. Кто у государя был.

— А кто не ездил?

— С тех — брать.

— А ты что говоришь?

Юшка посмотрел на лист снова, дольше.

— А я говорю, что тут написано «Горной стороне», — сказал он. — Отданы ясаки Горной стороне. А кто она, Горная сторона, — все или кто ездил, — тут не написано. Я так читаю. Он читает по-своему.

— Кто прав?

— Кто с саблей, — сказал Юшка. — Ты не обижайся. Я тебе как есть.

Ясатчик сказал ещё что-то, уже сердито, и Юшка ответил ему по-русски, быстро, с поклоном, и ясатчик махнул рукой.

Потом приехал Янтуду.

Он приехал через овраг на своей серой кобыле, в лисьей шапке, без спешки, как будто ехал мимо. Сотник подумал, что пастух Янтуду видел телеги с горы раньше, чем их слышали собаки. Янтуду слез, поздоровался с ясатчиком по-русски, с Юшкой — по-казански, с сотником — по-суварски, и каждому по-разному, так что все трое остались довольны. Ему дали лист.

Янтуду читать не умел, как и сотник. Но он подержал лист и выслушал Юшку, и выслушал ясатчика, и потом долго стоял, трогая печать пальцем в перчатке.

— Ясаки отданы, — сказал он наконец сотнику. — Это правда. Про всю сторону. Только ясак — одно, а дани и оброки — другое. Ясак они не берут. Они берут дань. Как прежним платили.

— А какая разница?

— Для них — большая, — сказал Янтуду. — Для тебя — никакой.

Он сказал это по-суварски, чисто, лучше, чем говорила его собственная жена, которая была из Анаткасси, и все в Анаткасси над этим смеялись, а она сердилась.

Сотник посмотрел на троих. Один говорил — тем, кто ездил. Другой говорил — не написано. Третий говорил — всем, но не то. Лист был один. Печать была одна. Прочесть его не мог никто из тех, кто в нём был.

— Хорошо, — сказал сотник. — Считайте.

* * *

С самого сотника не взяли.

Ясатчик так и сказал, через Юшку: с тебя не велено, ты ездил. Сотник спросил, почему. Юшка перевёл вопрос. Ясатчик пожал плечами и сказал, что так в бумаге. Сотник спросил, с Анчика берут? Анчик тоже ездил. Ясатчик полистал свою книгу — у него была своя, толстая, в кожаном переплёте, — и сказал, что Анчик сотников сын и пишется при отце. С отца не берут — и с сына не берут.

С остальных брали.

Брали три дня. Ясатчик сидел в избе у сотника за столом, со своей книгой, и сотник сидел напротив, со своими бирками, и они считали вдвоём, каждый своё, и Юшка переводил, и иногда цифры не сходились, и тогда оба пересчитывали, ясатчик — шевеля губами над книгой, сотник — вслух, и всегда выходило, что прав сотник. Ясатчик в первый день сердился, во второй перестал, а на третий уже сам спрашивал:

— Ну, сколько там у тебя?

Юшка переводил и смеялся.

— Он говорит, ему бы такого в город, считать.

— Скажи ему, пусть в Хусан съездит, — сказал сотник. — Там такой был. Двадцать шесть лет.

Юшка перевёл. Ясатчик не засмеялся. Потом засмеялся, позже, когда уже встал из-за стола.

Мужики возили к избе мёд, и мех, и хлеб, и стрельцы грузили на телеги. Сотник стоял у телег и смотрел, как грузят, и видел, что грузят не так: кадки ставят на мешки, мешки — на мех, мех комкают. Он ничего не говорил, а потом не выдержал и стал переставлять сам, и стрельцы сначала смотрели, а потом стали помогать, и один, молодой, рябой, сказал что-то, и остальные засмеялись.

— Что он? — спросил сотник у Юшки.

— Он говорит: чуваша свои кадки как детей укладывают.

— Скажи ему: это не мои кадки. Уже его.

Юшка перевёл. Рябой стрелец перестал смеяться и стал укладывать ровно.

На третий вечер, когда с Ыллуш и Анаткасси всё было взято и записано, сотник пошёл в свой амбар.

Айвика пошла за ним. Она не спросила, куда он идёт, и он не сказал. Она взяла с полки у двери меру, деревянную, старую, окованную по краю, и встала у сусека.

Сотник посчитал на бирке — сколько было бы с его двора, если бы брали. Мёду — кадка. Белок — десять. Хлеба — столько-то мер. Он сказал это вслух, негромко, и Айвика стала отмеривать. Она мерила, он держал мешок. Когда мешок наполнился, он завязал его, и она взяла второй.

Потом он пошёл к ясатчику и поставил перед ним мешки и кадку.

Ясатчик посмотрел на мешки, на сотника, на Юшку.

— Это что? — спросил он. Это сотник понял без толмача.

— С моего двора, — сказал сотник по-суварски. Юшка перевёл.

— С тебя не велено.

— Я знаю.

Ясатчик посмотрел на него ещё. Потом пожал плечами, открыл книгу и записал. Сотник не знал, что он записал. Может быть — «с сотника». Может быть — «с Ёлкус, сверх». Может быть, ничего не записал, а только сделал вид. Спросить Юшку он не стал.

Айвика вернула меру на полку и вытерла руки о передник.

* * *

За ужином Юшка пил пиво и рассказывал.

Юшка пил всё, что наливали, и никогда не пьянел, а только становился разговорчивей. По-старому его звали Юсуп, и он был казанец, из посадских, а крестился лет десять назад в Москве, куда попал с посольством, и там остался, и выучился по-русски, и теперь служил в городе толмачом. Он говорил на трёх языках и шутил на всех трёх, и шутки у него были разные: по-русски — про попов, по-казански — про мулл, а по-суварски — про баб.

— А в Москве, — сказал он, — говорят вот что.

Он отломил лепёшку.

— Приезжали туда казанские послы. Осенью. Уже после того, как хана вашего маленького отдали. И просили: верните, мол, нам Горную сторону, это наша земля, мы с неё всегда брали. А им сказали — я это от дьяка слышал, который там был, он у нас в городе теперь, — им сказали: Горную сторону государь взял Божиим милосердием да саблею, до вашего челобития. — Юшка засмеялся. — Саблею, до их челобития. Понимаешь? То есть вы-то с челобитьем приходили, с мёдом, с поклоном, а он вас, выходит, саблею. Вот так в Москве говорят.

Он откусил лепёшку и стал жевать, довольный.

Сотник поставил ковш.

— Повтори, — сказал он.

Юшка посмотрел на него, продолжая жевать.

— Что?

— Повтори. Как сказали.

Юшка перестал жевать. Он проглотил, вытер рот, посмотрел на сотника, на Айвику, на Анчика, который сидел у двери, на мать у стана, которая не подняла головы.

— Горную сторону, — сказал Юшка медленно, по-суварски, — государь взял саблею. До челобития.

Он больше не смеялся. Он сидел и смотрел в свой ковш, и сотник видел, что он хочет что-то прибавить — пошутить, наверное, или сказать, что это в Москве так говорят для послов, а на деле иначе, — и не прибавляет.

— Это для послов, — сказал наконец Юшка. — Чтобы Казань не просила.

— Я понял, — сказал сотник.

— Ты не бери в голову.

— Я не беру.

Анчик у двери спросил:

— Какой саблей? Мы же сами пришли.

Никто ему не ответил.

* * *

В Хыркасси поехали на четвёртый день.

Сотник поехал с ясатчиком сам: так было всегда, и при Бахтияре было так. Сотник въезжает в деревню первым, со сборщиком за плечом, чтобы деревня видела, кто спрашивает. В

Хыркасси их встретили у ворот крайнего двора. Сарый стоял на дороге, без шапки, в распахнутом кожухе, и за ним стояли мужики, те, что ушли с ним с кёр сәри, и ещё другие.

— Не дадим, — сказал Сарый.

Он сказал это сотнику, по-суварски, не глядя на ясатчика.

— Ты купил нам три года, — сказал Сарый. — Ты ездил, ты кланялся, ты спину гнул. Где три года?

— Я ничего не покупал.

— А что ты привёз? Бумагу. — Сарый засмеялся, громко, как смеялся всегда, и в смехе стало видно сломанный зуб. — Бумагу ты привёз, и с тебя не берут. А с нас берут. Хорошая бумага. Как раз на одного.

Ясатчик спросил что-то у Юшки. Юшка ответил коротко. Ясатчик посмотрел на мужиков за спиной Сарыя, на стрельцов на своих телегах — шесть пищалей, фитили в чехлах, — и сотник видел, как он считает. Потом ясатчик открыл свою книгу, прямо в седле, и записал.

— Что он пишет? — спросил Сарый.

— Недоимку, — сказал Юшка. — Пишет, что с Хыркасси не взято. Потом возьмут.

— Кто возьмёт?

— Кто-нибудь, — сказал Юшка. — Не я.

Ясатчик закрыл книгу и повернул кобылу. Стрельцы развернули телеги. Сарый стоял на дороге, пока они не отъехали, и потом стоял ещё. Зять, младший брат Сарыя, стоял у ворот. Он посмотрел на сотника — один раз — и отвёл глаза.

Дочь сотника в воротах не вышла.

* * *

Через два дня сотник отвёз ясатчику в город мёд.

Три кадки своего мёда и связку куниц, которые он берёт на торг. Он погрузил их сам, на свою телегу, и поехал на рассвете, никому не сказав, и Айвика вышла к воротам и не спросила. Недоимка Хыркасси была больше. Он отвёз то, что мог.

В городе ясатчик принял, записал, долго смотрел на сотника, как смотрят на того, кто делает что-то, чего не понимаешь, и сказал через случившегося рядом писаря-толмача, чужого, не Юшку:

— За Хыркасси часть. Остальное с них.

— Остальное — с них, — согласился сотник.

Сарый узнал через неделю.

Он приехал в Ылкупс верхом, на своём сером, один, в сумерках, и не слез. Сотник вышел к воротам.

— Ты за меня заплатил, — сказал Сарый.

— За Хыркасси часть.

— Я тебя просил?

— Не просил.

— Я тебе должен теперь? Мёдом? Или чем — поклоном?

— Ничем, — сказал сотник. — Это не тебе. Это чтобы к вам со стрельцами не ехали.

— Пусть едут.

— Пусть едут, — сказал сотник, — а у тебя в деревне шестьдесят детей.

Сарый сидел на сером и смотрел на него сверху. Лица было не видно в сумерках, только белые зубы, когда он заговорил снова.

— Ты раньше был казанский, — сказал Сарый. — Двадцать лет с казанским пил. Теперь ты московский. Ты всегда чей-то, Ахплат. А я — свой.

Он развернул серого и уехал. Сотник постоял у ворот. Со стороны реки шёл холод, и в Анаткасси кто-то рубил дрова, и звук был чистый, далёкий. Сотник подумал, что Сарый злее, чем если бы с него взяли. Если бы взяли — он бы ругал ясатчика. А теперь ругать было некого, кроме сотника.

* * *

На святки приехал Истома.

Святки были русские, и сотник их не знал, а Истома объяснил: это когда у них бог родился, и двенадцать дней после этого пьют и ходят друг к другу. Истома ехал через Горную сторону с тремя конными, с объездом: считал, где какие реки и какие на них броды, и где можно мост поставить, если понадобится. Он так и сказал, через Анчика: мосты считаю.

— Зачем?

— Велено, — сказал Истома. — Весной пригодится.

Он зимовал в городе, в гарнизоне, и был всё такой же — долговязый, рыжеватый, мокрый, хотя на дворе был мороз, и снег у него на шапке таял и тёк по лицу. Он кашлял. Он привёз с собой какой-то русский пирог, завернутый в холстину, мёрзлый, и отдал Айвике с поклоном, и Айвика взяла, и потом долго не знала, что с ним делать, и положила на печь оттаивать.

Сидели долго. Истома пил пиво, которое ему наливали, и хвалил, и сотник видел, что жуёт он осторожно, одной стороной.

— Дёсны, — сказал Истома, заметив. Показал пальцем в рот. — Болят. У нас в городе у многих. Зимой всегда так.

Анчик перевёл. Айвика посмотрела на Истома, на его рот, долго, и ничего не сказала. Потом встала и пошла к полке, где стояли её горшки с травами, и постояла у полки, и ничего не взяла, и вернулась.

Наутро Истома вышел во двор с пищалью и позвал Анчика.

Он показывал, как держать. Пищаль была его собственная, длинная, с тяжёлым ложем, и Анчик держал её, как держат незнакомого ребёнка, — неловко и на отлёте. Истома поправлял: приклад не к плечу, а к щеке, левую руку под ложе, дальше, ноги шире. Стрелять не стреляли, порошу было жалко. Анчик прицеливался в столб ворот, а Истома стоял сзади и говорил по-русски, медленно, и Анчик повторял за ним русские слова:

— Полка. Фитиль. Зелье.

— Зелье, — сказал Истома. — Порох. Зелье мокрое — не стреляет.

— Не стреляет, — повторил Анчик.

Сотник смотрел с крыльца. Мать стояла рядом, закутанная в шаль, и тоже смотрела.

— Этот русский, — сказала мать, — он больной.

— Дёсны.

— Не дёсны, — сказала мать. — Я видела, как у нас в голодный год. Сначала дёсны.

Сотник посмотрел на Истома. Истома как раз засмеялся чему-то, что сказал Анчик, и закашлялся, и отвернулся, и сплюнул в снег, и снег стал розовый.

Уезжал Истома на третий день. Айвика вынесла ему в дорогу мешочек, завязанный узлом, и сказала что-то по-луговому, и потом Анчик перевёл по-русски: сушёная ягода, есть каждый день по горсти. Истома взял, поблагодарил, сунул за пазуху и уехал, и было видно, что он не понял, зачем ему ягода зимой.

* * *

В ту ночь сотник не спал.

Он лежал на лавке и слушал, как храпит за печью Анчик и как мать во сне говорит что-то, чего не разобрать. Потом встал, босиком прошёл к сундуку, открыл его. В темноте нащупал лист — трубку, нитку, печать, — вынул и сел с ним к окну, где из щели в ставне шёл синий снежный свет.

Прочесть он не мог. Он и не пытался. Он смотрел на печать. Печать была красная, воск, с оттиском посередине — какой-то зверь или всадник, в темноте не разобрать. На шнурке. Он взял её на ладонь. Она была лёгкая. Легче гнутой монеты, которую он отдал за строку в городе.

Три года, сказали в городе. Ясатчик сказал — тем, кто ездил. Юшка сказал — не написано. Янтуду сказал — всем, но не то. Саблею, сказали в Москве. До челобития.

Сотник подумал, что всё это может быть написано в одном листе одновременно, и лист от этого не станет другим. Лист был один. Это он понимал.

Он свернул его в трубку, завязал ниткой, положил обратно в сундук, на дно, под Анчикову беличью шубу, которую тот надевал только по праздникам и на святки не надел, потому что святки были не его.

Потом закрыл сундук. Крышка стукнула, негромко, и мать за печью перестала говорить во сне.

Глава 15. Кислая ягода

Айвика. Ылжус; город на Сёве, март — май 1552 года

Клюкву брали по насту, пока болото держало.

Айвика ходила за ней сама, с двумя бабами и мальчишками, на моховое болото за *Хыркасси* «Сосновым концом», в утренний мороз, когда наст звенел под ногой и не проваливался. Осенняя клюква под снегом за зиму становилась другой: мягче, темнее, и кислота в ней уходила внутрь, а сверху делалась сладость. Её не собирали, а подбирали — с кочек, из-под снежной корки, по одной, и пальцы к полудню переставали гнуться.

— Кому столько? — спросила соседка, когда туесов стало восемь.

— Городу.

— Город не просил клюквы. Город просил хлеба.

— Хлеб они тоже получают, — сказала Айвика. — А клюкву я им так дам.

Соседка не спорила. Соседка знала, что если сотникова луговая что-то делает не так, как все, то спорить с ней потом дольше, чем сделать.

Айвика считала туеса про себя, по-своему, как считала всё, что носила руками. *Ик, кок, кум, ныл* «один, два, три, четыре». Материн счёт она не забыла за двадцать пять лет, хотя говорила на нём теперь только сама с собой, и когда считала, иногда шевелила губами, и сотник говорил, что она колдует над туесами. Она говорила, что колдует. Так было проще.

Вечером в избе сидел Ильмук с *Ылжус* «Родника», у которого была лучшая пара на верхнем конце, и рассказывал, что слышал на дороге.

— В *Хусан* «Казани» ворота закрыли, — сказал он. — Перед русским воеводой. Он ехал туда сесть, а они закрыли. А русских, какие там были, — побили.

— Всех?

— Говорят, всех. — Ильмук посмотрел в миску. — Говорят, нового хана зовут. Откуда-то снизу, с *Атъл* «Волги». Не здешнего.

— А тот, московский?

— Тот уехал раньше. Ещё до ворот.

Сотник сидел за столом и молчал. Эрнепи у стана тоже молчала. Анчик спросил, сколько русских было в городе, и Ильмук сказал, что не знает, и Анчик спросил, кто говорит, и Ильмук сказал — все.

Ночью Айвика проснулась от собак. Лай шёл снизу, от *Анаткасси* «Нижнего конца», и потом сверху, от *Хыркасси*, и она лежала и слушала, как он переходит, и поняла, что по дороге вдоль реки идут конные. Много. Не шагом. Лай прошёл мимо и затих к бору. Она встала, выглянула в щель ставня. Ничего не было видно, только снег и чёрные избы.

— Луговые, — сказал сотник с лавки. Он тоже не спал. — С того берега ходят. Через лёд.

— Куда?

— В *Хыркасси*, — сказал он. — Куда ещё.

Она легла обратно. Он больше ничего не сказал.

* * *

Приказ из города привёз конный с толмачом, не Юшкой, — в начале *пуш* «пустого месяца», как раз когда закрома и начали пустеть.

Приказ был такой: сотням везти в город корм. Хлеб, мясо, что есть. Сколько — сказано было по дворам, и сотник разложил, как раскладывал ясак, и мужики поворачали, что опять, и повезли.

Айвика поехала с первым обозом сама. Сотник посмотрел на неё, когда она укладывала в сани туеса с клюквой, и ничего не сказал. Потом увидел, что она кладёт ещё — мешок сушёной брусники, связку шиповника, горшок кислого молока, завёрнутый в сено, два мешка ячменя, который она неделю держала в тёплой избе в мокрых тряпках, пока он не пустил белые хвосты, — и спросил:

— Это что?

— Корм.

— Велели хлеба.

— Хлеба везут мужики. Это — моё.

— Им не надо твоего.

— Им надо, — сказала Айвика. — Они просто не знают.

Сотник посмотрел ещё, взял у неё из рук мешок с ячменём и сам уложил в сани, в середине, чтобы не прихватило морозом.

Последним она положила сосновые ветки — охапку, срезанную с молодых сосен на гриве, с самыми зелёными концами. Их она увязала отдельно.

— Им топить нечем? — спросил Ильмук, который правил.

— Им пить нечего, — сказала Айвика.

Ильмук не понял и не переспросил.

* * *

Город стоял на горе, над слиянием рек, и был виден за полдня, как видна туча.

Она видела его в прошлом году, летом, когда возила мёд, — тогда он был новый, жёлтый, пахнул смолой и стружкой, и вокруг него всё шумело, стучало и кричало. Теперь он был серый. Брёвна потемнели за зиму, снег на стенах лежал грязный, у ворот стояли двое стрельцов в тулупах, и оба кашляли.

Обоз впустили, пересчитали, записали. Писал молодой подьячий, в рукавицах, неловко, и спрашивал, откуда, и Ильмук говорил, и подьячий писал, и ничего не говорил в ответ. Мешки сгрузили в амбар у стены. Хлеб приняли. Про туеса подьячий спросил что-то, Ильмук пожал плечами. Айвика сказала по-русски единственное, что знала для такого случая:

— Больным.

Подьячий посмотрел на неё, на туеса, на охапку сосновых веток.

— Больным, — повторила Айвика и показала рукой на город.

Подьячий махнул рукой в сторону, вдоль стены: туда. Там.

Она пошла туда и там.

Больных было много. Она поняла это ещё на улице, по запаху. Запах шёл из изб, из дверей, которые были приоткрыты, хотя на дворе стоял мороз, и запах был тяжёлый, сладкий и гнилой, как бывает, когда в погребе сгниёт репа, только хуже. Она знала этот запах. Она его помнила с детства, с одной весны за Волгой, когда в их деревне болели после голодной зимы, и мать ходила по дворам с горшком хвойного отвара, и маленькую Айвику брала с собой носить ковш.

В избе у стены на лавках и на полу лежали люди, рядами, головами к стене, ногами к проходу. Русские, в рубахах, под тулупами и кафтанами. Кто-то сидел, кто-то лежал. Один стонал, негромко, на одной ноте, не переставая. Остальные молчали. У многих были тёмные пятна на ногах, на руках, и они их не прятали, и у многих, когда открывали рот, было видно, что дёсны у них распухшие, багровые, как сырое мясо, и зубы в них сидели плохо.

Двое русских вынесли навстречу ей из избы что-то длинное, завёрнутое в рогожу. Из-под рогожи были видны ноги в онучах. Она посторонилась. Они пронесли мимо, не глядя, и понесли дальше, вдоль стены, туда, где у ворот стояли сани.

Айвика постояла в дверях. Ильмук стоял за ней с туесами.

— Не ходи, — сказал Ильмук. — Прилипнет.

— Не прилипнет, — сказала она. — Это не липнет. Это от еды.

— От какой еды?

— Которой нет.

Она вошла.

* * *

Истома лежал у окна, на третьей лавке.

Она не сразу его узнала. Долговязый, рыжеватый — это было то же, — но лицо у него стало жёлтое, и под глазами синее, и рыжая борода торчала клоками, как будто её дёргали. Он лежал на спине, и на груди у него лежал её мешочек — тот самый, с узлом, который она дала ему на святках, — наполовину полный.

Ел, видно, не каждый день. Или делился.

Он открыл глаза, когда она наклонилась, и посмотрел, и долго не мог понять, кто это. Потом понял. Поднял руку и показал на мешочек.

— Ягода, — сказал он.

Голос у него был тихий, и говорил он, едва открывая рот. Она увидела почему.

Айвика села на край лавки. Попросила у Ильмука горшок и котелок, и Ильмук пошёл искать воду и огонь, и нашёл — в сенях был очаг, и на нём стоял котёл, и в котле варили что-то серое, и русский, который варил, посмотрел на Ильмука и отодвинулся. Айвика ошцупала сосновых веток зелёные концы, горстью, набила в котелок, залила кипятком и поставила у огня.

Пока настаивалось, она дала Истоме клюквы.

Он не мог жевать. Она поняла это, когда он взял ягоду губами и замер, и по его лицу было видно, что даже это больно. Тогда она раздавила клюкву в ладони, в кашу, и дала ему с ладони. Он слизнул. Сморщился. Она раздавила ещё.

— Кислая, — сказал Истома.

— Кислая, — сказала Айвика по-русски. Слово было простое, она его знала.

— Как тебя звать? — спросил он.

Это она тоже поняла.

— Айвика.

— Авика, — сказал Истома.

— Айвика.

— Авика, — повторил он, старательно, и закрыл глаза, и было видно, что он думает, что сказал правильно.

Она не стала поправлять.

Отвар настоялся. Она процедила его через тряпицу в ковш — он был мутно-зелёный и пах смолой, лесом и немного горечью, — остудила, подув, и поднесла Истоме. Он приподнялся на локте. Пил медленно, морщась, мимо дёсен. Выпил половину и лёг.

— Горько, — сказал он.

— Пей, — сказала она по-своему, по-луговому.

Он не понял слова, но понял, что она сказала, и выпил остальное.

Потом она пошла по лавкам.

Она поила всех, кто брал. Не все брали. Один, пожилой, с седой бородой, отвернулся к стене и не повернулся, сколько она ни стояла. Другой взял ковш, понюхал, сказал что-то и вернул — она поняла: колдовство. Третий выпил и попросил ещё, и она налила ещё. Клюкву она давила в ладони и давала тем, кто не мог жевать, и тем, кто мог, давала горстью. Ячмень, проросший, велела Ильмуку отдать кашевару, и объяснила ему руками, как варить — не долго,

чтобы хвостики не сварились, — и кашевар смотрел на её руки и кивал, и потом, когда она обернулась, высыпал ячмень в тот же котёл, где было серое.

Никто не сказал спасибо.

Она и не ждала. Русские брали, как берут положенное, — как взяли в амбаре хлеб, как взяли бы ясак. Она давала, как велено: велено было везти корм, она привезла. Что корм был не тот, что велели, это было её дело, не их. В избе было так, как бывает, когда люди больны: каждый думал про себя, про свой рот, про свои ноги, и благодарить было некогда и незачем.

Только Истома, когда она уходила, открыл глаза и сказал:

— Авика. Ещё приедешь?

Она поняла «ещё».

— Приеду, — сказала она по-русски и подумала, что, наверно, сказала не то слово, а он понял.

* * *

Во второй раз она приехала в *ака* «месяц пахоты» — в конце, когда дороги раскисли и сани пришлось бросить и ехать на телеге, по грязи, трое суток вместо двух.

Лёд на Атёл прошёл. Она видела его, когда ехала вдоль высокого берега: широкая серая вода и по ней льдины, белые и серые, медленно, одна за другой, все в одну сторону, вниз, и где-то там, за этой водой, был Луговой берег, и на нём — лес, который она знала. Она не смотрела туда долго. Правила.

Везла она то же, и ещё первую зелень — черемшу с оврага, щавель, крапиву молодую, которую все бабы в селе собирали на свою похлёбку, а она собирала на чужую, и бабы смеялись и собирали ей тоже.

В городе стало хуже.

Она поняла это у ворот. Стрельцов у ворот было уже не двое, а один, и тот сидел. Сани с рогожами стояли у ворот не одни, а трое. У воеводской избы, на площади у церкви, толпились люди, и там кто-то читал вслух, громко и долго, с бумаги. Айвика остановилась посмотреть.

Читал поп — в чёрном, с бородой до пояса, с большим медным крестом на груди. Читал нараспев, строго, и лицо у него было строгое, и голос. Люди стояли, сняв шапки. Больные тоже — их вывели, или они вышли сами, и стояли, держась друг за друга, и слушали. Айвика не поняла ни слова, кроме одного, которое повторялось, — «грехи». Это слово она знала от Юшки, он говорил его, когда шутил про попов. И по тому, как поп поднимал голос и как люди опускали головы, она поняла, что их ругают.

Юшка оказался рядом. Он всегда оказывался рядом, когда было что перевести.

— Митрополит из Москвы пишет, — сказал Юшка. — Говорит: за грехи болеете. Пьёте много. Бороды бреете. — Он поскрёб свою бороду, короткую, казанскую. — Я вот не брею. И то болею иногда.

— Они бреют бороды? — спросила Айвика.

— Некоторые. Им нельзя, а они бреют.

— Зачем?

— Чтобы на вас не походить, — сказал Юшка. — На казанских. Вы же все бритые. — Он подумал. — Или чтобы походить. Я не разобрался.

Айвика посмотрела на людей у воеводской избы. На жёлтые лица, на бороды — длинные, короткие, клочьями. На больного, который стоял, опираясь на двоих, и шевелил губами вслед за попом, повторяя, и у него изо рта текла слюна с кровью, и он её не вытирал.

— Их ругают, — сказала она. — За то, что они болеют.

— Их ругают за то, за что болеют, — поправил Юшка. — Это другое.

— Это одно.

Юшка не стал спорить. Он посмотрел на неё сбоку, как смотрят на бабу, которая сказала что-то слишком умное, и не знают, смеяться или нет. Потом сказал, тише, уже не шутя:

— К вашим из Казани ездят.

— Знаю.

— Ваши шатаются, — сказал Юшка. Он сказал это без упрёка, как говорят про погоду — дождь будет. — В Хыркасси, говорят, конные ночуют. Воеводы знают.

— Что воеводы?

— Ничего пока. Им пока не до того. — Юшка кивнул на сани у ворот. — Им сейчас своих хоронить.

Он ушёл. Айвика стояла у телеги.

На двери воеводской избы, рядом с тем местом, где стоял поп, был прибит лист. Бумажный, с письмом, серый от сырости. Внизу на листе висела на шнурке печать — красная, восковая, величиной с детскую ладошку.

Айвика подошла ближе. Её никто не остановил.

Печать была та же. Та, что лежала у них дома в сундуке, на дне, под Анчиковой беличьей шубой. Та же краснота, тот же шнурок, тот же зверь в середине, или всадник, — она так и не разобрала, что там, и здесь не разобрала тоже. Такие же. Одна рука ставила.

Она постояла. Потом вернулась к телеге и стала разгружать туеса.

Истома в тот раз сидел. Не ел ещё — но сидел, прислонившись к стене, и когда она вошла, поднял руку. Мешочек у него был пустой, вывернутый, висел на гвозде над лавкой. Она насыпала в него новой брусники, до верху, и завязала.

В сенях у очага стоял тот же кашевар. Он увидел её и, не говоря ни слова, вынул из-за котла мешок — её мешок, из-под ячменя, пустой — и показал ей. Потом показал котёл. В котле, отдельно от серого, в своём горшке, томился ячмень с белыми хвостиками, и хвостики были целы. Кашевар поднял палец: не долго. Как она показывала.

— Не долго, — сказал он по-русски и засмеялся, и зубов у него спереди не было двух, и Айвика не поняла, от болезни это или от драки.

Она засмеялась тоже. Это был единственный раз за три приезда, когда в той избе смеялись, и смеялись они вдвоём, у котла, над горшком ячменя, и больные с лавок смотрели на них и не понимали, что смешного.

Потом она пошла к саням, и там стояли у ворот те, другие сани, с рогожами, и она их не считала.

* * *

В третий раз — в *су*«летний месяц», когда уже зеленело всё, — она приехала с Анчиком.

Анчик просился сам. Ему надо было в город, у него были дела: Истома обещал ему показать, как чистят пицаль, если выживет. Он так и сказал Айвике: если выживет. Она поглядела на сына и подумала, что он сказал это, как говорят мужчины про других мужчин, — легко. И не стала ничего говорить.

В городе больных стало меньше. Может, выздоравливали. Может, некому стало болеть. Сани у ворот стояли одни. Солнце грело, и из изб вынесли лавки на улицу, и больные лежали на солнце, и это было правильно — она сама бы так велела, если бы умела сказать по-русски.

Истома сидел на лавке у стены, на солнце, и ел хлеб.

Он ел медленно, отламывая маленькие куски, и жевал одной стороной, левой, осторожно, как жуют старики. Увидел её и перестал жевать. Потом дожевывал, проглотил и встал. Встал сам, без рук, только опёрся о стену, и постоял, и сел обратно.

— Авика, — сказал он.

Он сказал что-то ещё, по-русски, длинно. Анчик переводил, запинаясь:

— Говорит, что он ел твою ягоду. Каждый день. Говорит, кто ел — те встают. Кто не ел — не встают. — Анчик подумал. — Говорит, он теперь знает, что такое кислое.

Айвика кивнула. Она смотрела на его рот. Дёсны ещё были тёмные, но уже не багровые. Зубы на месте. Все, кроме одного, справа.

— Скажи ему — сосну пусть пьёт, — сказала она. — До осени. Каждый день. Хоть и встал.

Анчик сказал. Истома засмеялся, коротко, и закашлялся, и кашлял долго, но плевал уже белым.

Потом он взял у неё с ладони горсть брусники и стал выкладывать ягоды на лавку в ряд, по одной, и считать вслух, по-русски, медленно, глядя на неё:

— Один. Два. Три.

— Один, — повторила Айвика. — Два. Три.

Он дошёл до десяти. Она повторила до десяти. Он смешал ягоды и показал: снова. Она посчитала сама, сбилась на семи, начала снова и дошла. Истома кивнул, как кивают ученику, ссыпал ягоды обратно ей в ладонь и одну оставил себе.

Соседняя лавка — та, что стояла рядом с его лавкой в избе, у окна, где в первый раз лежал пожилой с седой бородой, который отвернулся к стене, — стояла теперь на улице пустая, и на ней грелась кошка.

Айвика не спросила, где он. Она достала из телеги туес, развязала и пошла вдоль лавок, к тому, кто лежал следующим.

Следующим был молодой, почти мальчик, с веснушками по всему лицу, и дёсны у него только начинали темнеть. Она дала ему горсть клюквы. Он взял, сунул в рот всю горсть сразу и сморщился так, что веснушки собрались в одно пятно.

— Кисло, — сказал он.

— Кисло, — сказала Айвика.

Она подумала, что это слово по-русски она теперь знает лучше всех остальных.

* * *

Обратно ехали вдоль высокого берега.

Анчик правил и насвистывал русское — он научился этому в Москве, в тот год с Ургой, и с тех пор насвистывал, когда был доволен, а когда надо было позвать через поле, свистел в два пальца, так, что кони приседали. Он был доволен: Истома показал ему, как чистят пищаль, и дал поддержать шомпол, и сказал, что осенью, может, даст стрельнуть, если зелья будет вдоволь.

— Мать, — сказал Анчик, — а русские все такие?

— Какие?

— Истома. Который не умер.

— Нет, — сказала Айвика. — Не все. Некоторые умерли.

Анчик засмеялся, думая, что она шутит, и она не стала объяснять.

Солнце садилось за спиной, и Атёл внизу была широкая и розовая, и по ней уже не шёл лёд. За водой, далеко, на Луговом берегу, стоял лес — тёмная полоса по всему краю неба. Айвика смотрела на него, как смотрела всегда, когда ехала этим берегом, — одним глазом, вскользь, как смотрят на то, что знают и чего не надо видеть.

Над лесом стоял дым.

Не один дым — несколько, три, четыре. Серые столбы, прямые, потому что ветра не было, и в розовом небе они были видны хорошо, как видна нитка на белом. Они стояли в той стороне, где в лес уходила большая протока. Если подняться по протоке полдня на лодке, а потом пойти пешком по тропе через бор, — там была её деревня. Братова.

Айвика смотрела и считала. *Ик. Кок. Кум. Ныл.* Четыре дыма.

Может, жгли пал на старой гари. Весной жгут. Может, жгли сушняк под новую пашню. Может, жгли что-то другое. С этого берега не видно. С этого берега никогда не видно — она это знала двадцать пять лет.

— Мать, — сказал Анчик. — Ты что?

— Ничего.

— Там горит.

— Весной всегда горит, — сказала Айвика.

Она забрала у него вожжи.

Он не спорил: отдал. Она подобрала вожжи в одну руку, как держала всегда, и тронула коней, и кони пошли быстрее, потому что почувствовали, что руки другие. Дорога шла вдоль берега, потом поворачивала в лес, к *Сёве* «Свияге», к дому. Дымы остались справа и сзади, и она не оборачивалась, и Анчик, поглядев на неё, перестал свистеть.

Когда въехали в лес и берег закрыло деревьями, она сказала, негромко, по-своему, так, что Анчик не понял:

— *Ой, Юмо* «Ох, боже».

И правила дальше.

Глава 16. Старые книги

Бахтияр. Казань; переправа; Ылкыс; Хыркасси, апрель 1552 года

За ним пришли, когда он чинил переплёт.

Переплёт у книги сёл был кожаный, из двух досок, обтянутых сафьяном, и за двадцать шесть лет кожа на корешке протёрлась до дерева. Бахтияр сидел во дворе на колоде, на весеннем солнце, и пришивал новую полосу кожи шилом и дратвой, как сапожник, и делал это плохо, потому что никогда этого не делал. Внучка сидела рядом и подавала дратву.

Пришёл писец *дивана* «ханской канцелярии», тот же, что прошлым летом звал его писать пленных. Молодой, в хорошем халате, с чернильницей на поясе, которую он носил, как носят кинжал.

— Ты знаешь правый берег, — сказал писец.

— Знал.

— Знаешь. Кто ещё знает? Никто не знает. — Писец сел на соседнюю колоду, не спросив.

— Хан велел послать людей на Горную сторону. По сёлам. Звать назад.

Бахтияр проткнул шилом кожу и протянул дратву.

Хан был новый. Его привели с низу Волги, из Астрахани, в начале весны, когда из города выгнали московского хана и закрыли ворота перед московским воеводой. С новым ханом пришли ногаи — Бахтияр видел их на торгу: невысокие, в войлочных колпаках, на мохнатых конях, и они платили за всё не торгуясь, потому что платили не своим. Город был весёлый в ту весну, как бывает весело тем, кто долго боялся и вдруг перестал. Бахтияру весело не было. Бахтияр помнил, что было в городе в последний раз, когда было так весело, — и чем кончилось.

— Кого звать? — спросил он.

— Всех. *Чуаш* «чувашей», черемису, мурз. Сказать: хан простит. Сказать: русские в своём городе мрут, весной у них многие слегли. Сказать: ясак опять в Казань, по старине, и больше ничего не будет.

— А если не пойдут?

— Тогда сказать, что будет, — сказал писец и встал. — Тебе дадут двух конных. Едешь через три дня.

Он ушёл. Бахтияр посмотрел на шило в руке, на книгу на коленях, на внучку, которая держала дратву и ждала.

— Дед, — сказала внучка. — Ты куда?

— Туда, — сказал Бахтияр и показал подбородком за стену, на запад. — Считать.

* * *

Габдулла провожал его до пристани.

— Весы возьмёшь? — спросил Габдулла.

— Зачем?

— А вдруг дадут.

Бахтияр посмотрел на него. Габдулла не улыбался.

— Если дадут, — сказал Бахтияр, — я им на слово поверю.

Габдулла подумал и засмеялся. Он всегда смеялся не сразу, а подумав, и за это Бахтияр его и держал двадцать лет.

Конных дали двоих. Одного Бахтияр знал — сын двоюродного брата жены, Мансур, девятнадцати лет, ни разу не бывавший за Волгой и очень этим гордившийся. Второго не знал: ногай, немолодой, со шрамом через бровь, который за всю дорогу сказал Бахтияру четыре слова, и все четыре — про коней.

Переправлялись ночью, в лодке, без коней.

Лёд на Волге сошёл неделю назад, но льдины ещё шли — серые, рыхлые, по одной и кучами, — и лодочник, старый, с Кабана, вёл лодку между ними так, как ведут коня между кочками, не глядя, наощупь, одним веслом. Вода была чёрная и холодная, и от неё шёл холод, как от погреба. Мансур сидел на носу и смотрел вперёд, и Бахтияр видел, что он боится, и не говорил ему ничего, потому что сам боялся тоже.

На середине в борт ударила льдина. Лодку развернуло. Лодочник выругался и выправил.

— Каждую весну так, — сказал он. — Раньше я вас, сборщиков, осенью возил. Осенью лучше.

— Осенью лучше, — согласился Бахтияр.

На том берегу, в тальнике, их ждали. Человек из деревни за Кубнёй — из тех, что не присягали, — с тремя конями. Бахтияр знал его: деревня была не его, соседского сборщика, но человека он помнил по торгу. Человек помог ему сесть в седло и сказал, что русских на дороге нет, а русские телеги ходят, днём, и лучше ехать ночью.

Бахтияр сел в седло, и колени сказали ему всё, что они думали о седле. Он не ответил.

* * *

Два дня он ехал по земле, по которой не ездил год.

Год — это было мало. За двадцать шесть лет он видел, как на этой земле вырастали деревни, как они горели и отстраивались, как лес уходил от дорог, как на месте старых дворов вставали новые. Всё это шло медленно, по году на разворот. А за этот год выросло сразу.

Дорога к русскому городу на Зоя«Свияге» была новая. Её не было прошлой весной. Теперь она шла от реки прямо, через лес, широкая, в две телеги, и лес по обе стороны был вырублен на десять шагов, и пни стояли свежие, жёлтые, и из них сочилось. На дороге были колеи — глубокие, русские, от тяжёлых телег с высокими колёсами, какие не ходили у чуаш.

Бахтияр поймал себя на этом слове и остановил коня.

Чуаш«чуваши». Так их звали в городе все: на торгу, в диване, писец, сын. Одно слово на всех, от Зоя до Суры. Бахтияр двадцать шесть лет не звал их так. Он звал их по сёлам: Кинера, *Ѕӑлкуҫ*«Родник», *Анаткасси*«Нижний конец», сотня Ахплата, сотня у *Ѕавала*«Цивилья». В книге у него не было слова *чуаш*. Там были сёла, дворы, имена.

А теперь он смотрел на колею и подумал — одно слово. Как в городе.

— Что? — спросил Мансур. — Русские?

— Нет, — сказал Бахтияр. — Колея.

И поехал дальше.

Про себя он повторил: Кинера — сорок дворов. *Ѕӑлкуҫ* — пятьдесят восемь. *Анаткасси* — двадцать три. *Хыркасси*«Сосновый конец» — тридцать один. Помогло. Слово ушло.

* * *

К *Ѕӑлкуҫ* он подъехал на закате второго дня.

Он остановил коня на бугре над селом, там, где всегда останавливался, чтобы посмотреть сверху, сколько дымов. Дымов было столько же. Он посчитал. Может, на один больше. Сарай у сотника стоял с новой крышей, светлой, соломенной, — прошлой осенью перекрыли.

— Здесь нас не тронут? — спросил Мансур.

— Здесь меня двадцать шесть лет не трогали.

— А теперь?

— А теперь посмотрим, — сказал Бахтияр и тронул коня.

Сотник вышел к воротам сам.

Он стоял в воротах, невысокий, широкий, седой, и смотрел, как Бахтияр подъезжает, и лицо у него было такое, как всегда, когда Бахтияр подъезжал, — будто он уже посчитал, сколько тот возьмёт, и заранее не согласен. Бахтияр остановил коня. Они посмотрели друг на друга.

— Бахтияр, — сказал сотник по-казански.

— Ахплат.

— Слезай. Сам слезешь или помочь?

— Сам, — сказал Бахтияр и слез так, как слезал последние годы: держась за луку обеими руками, будто слезал с крыши. Сотник смотрел и не помогал. Он знал, что Бахтияр не любит, когда помогают.

— Колени? — спросил сотник.

— Колени умнее меня, — сказал Бахтияр. — Всё знают заранее.

Сотник кивнул, как кивал каждую осень на эти самые слова. Потом отступил в сторону и показал на двор.

* * *

Его посадили на то же место, что всегда: на лавку у стены, справа от стола, где было видно дверь. Хлеб. Соль. Молоко в кувшине — ему всегда ставили молоко, потому что он не пил пива, и сотник однажды, лет пятнадцать назад, сказал, что у них в селе коровы доятся только ради Бахтияра, а то бы пиво одно и пили.

Мансура и ногай посадили у двери. Ногай ел молча. Мансур смотрел по сторонам.

Бахтияр тоже смотрел, но так, чтобы не было видно.

На стене, у двери, на гвозде висела кольчуга. Русская, частого плетения, тяжёлая, с короткими рукавами. Рядом — шлем, островерхий. Под ними, на другом гвозде, — связка бирок на лыке, свежих, светлых.

Бахтияр посмотрел на кольчугу и перевёл глаза на бирки. Про кольчугу он ничего не сказал.

Подавала старуха.

Эрнепи. Он знал её двадцать шесть лет — сначала женой прежнего сотника, потом вдовой, матерью нынешнего. Она всегда подавала сама, хотя в избе была невестка, и всегда ставила перед Бахтияром миску так, чтобы он видел, что ставит она, а не невестка. Теперь она шла от печи медленно, держась свободной рукой за стену, и ставила миску долго, и Бахтияр ждал.

На голове у неё был тот же *хушпу* «шапка замужней», высокий, с серебром по краю. Бахтияр двадцать шесть лет видел на нём слева, у самого края, одну монету — большую, гнутую, с чужим письмом, не таким, как на казанских деньгах, — и каждую осень, глядя на неё, думал, что серебро это старое, что таких сейчас не бьют и что если бы старуха её продала, хватило бы на полбочонка мёда недоимки. Он никогда этого не говорил.

Монеты не было. На её месте висели два обрывка нитки.

— Где монета? — спросил Бахтияр.

Эрнепи поставила миску и выпрямилась.

— За письмо отдали, — сказала она. По-казански она говорила плохо, но это сказала понятно.

— За какое письмо?

— В городе. — Она кивнула на запад. — Сын к царю ездил. Писали его. За письмо — монету.

Бахтияр посмотрел на сотника. Сотник пил молоко и смотрел в кружку.

— Вот и я говорю, — сказал Бахтияр. — Вас теперь письмом берут.

Сотник поставил кружку и засмеялся. Эрнепи тоже засмеялась — тонко, по-старушечьи, прикрыв рот ладонью. Бахтияр не засмеялся, потому что никогда не смеялся своим шуткам, но двинул углом рта, и сотник это увидел и засмеялся ещё.

Мансур у двери не понял, почему смеются, и тоже засмеялся, на всякий случай.

* * *

Потом сотник сказал, чтобы все вышли, кроме Бахтияра. Мансур и ногай ушли к коням. Эрнепи ушла за печь. Жена сотника, высокая луговая, вышла последней и закрыла за собой дверь, и посмотрела на Бахтияра перед тем, как закрыть, — долго, ничего не говоря.

Они остались вдвоём за столом.

Бахтияр сказал всё так, как ему велели в диване. Только короче и без того, что велели прибавить. Он не умел говорить длинно.

— Платите опять Казани, — сказал он. — По старине. Хан новый, хан простит. Русские у себя в городе мрут — ты сам знаешь, твоя жена им ягоду возила, я слышал. С вас ясак взяли? Взяли. Где ваши три года? — Он помолчал. — Я не пугаю. Мне велели сказать — я говорю. Что будет, если не пойдёте, — ты и сам считаешь.

Сотник молчал.

Бахтияр допил молоко. Поставил кружку. Посмотрел на кольчугу на стене — один раз — и на сотника.

— Ещё одно, — сказал он.

— Говори.

— Урга жив.

Сотник поднял голову.

Бахтияр рассказал. Коротко, как рассказывают, сколько и откуда. Прошлым летом, после Арского поля, пленных писали — он писал. Урга был тридцать седьмой. Урга просил сказать своим. Бахтияр сказать не мог. Урга просил записать, что живой, — Бахтияр записал на полях. Потом, когда отпускали русский полон, Бахтияр ходил просить за Ургу, и его не взяли: не русский. Барышник Акчура, у которого Урга был, продал его на Арскую сторону.

Он назвал имя хозяина — Кулбахт, человек тихий, у него одни дочери, и работник ему нужен. И деревню. Деревня была от Арска в полдне пути, в лесу, при речке, за бором, — Бахтияр бывал там лет десять назад: мечеть без минарета и мельница.

Сотник слушал, не шевелясь.

— Вернёшься под хана — отпустят, — сказал Бахтияр. — Я сам попрошу. Хан сейчас таких отпускает, кто возвращается. Будет Урга дома к жатве.

Он сказал это прямо, как говорят цену. Это и была цена. Он не угрожал и не обещал больше, чем мог. Сотник это знал — двадцать шесть лет они так торговались, и Бахтияр ни разу не сказал ему цену выше той, за которую мог отвечать.

Сотник долго молчал. Смотрел на стол. Потом на свою левую руку, лежавшую на столе, ту, что плохо гнулась. Потом на дверь, за которой ушла жена.

— Я посчитаю, — сказал он.

Бахтияр кивнул.

Он понял, что сотник сейчас считает — не мёд, не бочонки, а то, что считают сотники, когда им называют цену за всех: сколько дворов, сколько рук, сколько детей, кто за кем стоит в порядке, кто что скажет, кто пойдёт, кто нет, что будет с Ургой так, и что будет с Ургой иначе, и что будет со ста двенадцатью дворами так и иначе. Сотник считал так же, как Бахтияр считал сам, когда в диване назначали ему сёла: всё сразу, в уме, по порядку, и сбивался, и начинал сначала.

— Считай, — сказал Бахтияр. — Я до утра.

* * *

Ему постелили на лавке у стены.

Он лежал в темноте и не спал. Колени болели. За печью дышала старуха, коротко, с при-
свистом. Жена сотника спала на полотах, и Бахтияр слышал, как она поворачивается. Сын
сотника, Анчик, — Бахтияр видел его мальчиком на телеге с бочонками, потом подростком,
потом, прошлым летом, во дворе за конюшней, не видел, потому что Анчика там не было, —
Анчик вошёл поздно, ночью, постоял у двери, посмотрел на Бахтияра, лежавшего на лавке, и
ушёл спать в сени, не сказав ни слова.

Сотник сидел за столом.

Бахтияр не видел его — лучину сотник погасил, — но слышал. Сотник сидел и шептал.
Числа. Бахтияр разбирал через слово: пятьдесят восемь... двадцать три... тридцать один...
четыре... Потом тихо. Потом снова: пятьдесят восемь...

Бахтияр лежал и слушал. Он знал все эти числа. Они были у него в книге, в сундуке, в
Казани. Пятьдесят восемь — Ылкус. Двадцать три — Анаткасси. Тридцать один — Хыркасси.
Четыре — он не знал, что четыре. Потом понял: столбы. Он слышал в городе, что на Арском
поле у сотни Ахплата побили четверых.

Он заснул на числах. Проснулся от того, что сотник сказал вслух, негромко, одно слово,
и замолчал. Слово было — Урга.

* * *

Утром сотник вышел его провожать к воротам.

Кони стояли осёдланные. Мансур уже сидел в седле. Ногай проверял подпругу.

— Ну? — сказал Бахтияр.

— Мы присягали, — сказал сотник.

Он сказал это по-казански, спокойно, как говорят, сколько мёду в этом году.

— Знаю, — сказал Бахтияр.

— Урге скажи — пусть ждёт.

Бахтияр взялся за луку, подтянулся, закинул ногу — колени сказали своё — и сел.
Посмотрел на сотника сверху.

— Кто ему скажет? — спросил он.

Сотник не ответил.

Бахтияр подождал. Потом тронул коня.

Он не обиделся. Он и не ждал другого. Он двадцать шесть лет знал этого человека и знал,
что тот сказал «посчитаю» не для того, чтобы отказать вежливо, а потому, что действительно
считал, — и посчитал, и вышло так. Бахтияр бы на его месте посчитал, может быть, иначе. А
может быть, и так же. Он не знал. Он никогда не был сотником, которого выбрали те, у кого
он берёт.

* * *

В Хыркасси его приняли, как принимают своих.

Сарый встретил его у околицы, верхом, на сером коне, и засмеялся, увидев, и развернул
коня рядом, и поехал бок о бок, и говорил всю дорогу до своего двора — громко, по-казански,
с ошибками, которых не стеснялся. Бахтияр его помнил: мальчишкой, который воровал у него
из телеги сотовый мёд, и потом десятником, который торговался за каждую кадку так, будто
его резали.

У Сарыя в избе былолюдно. Мужики из Хыркасси сидели по лавкам, и все встали, когда он вошёл. *Чўксё* «тот, кто режет на молениях» Хыркасси, тяжёлый, с деревянной чашей на поясе, сидел в углу и кивнул ему. Зять сотника — младший брат Сарыя — стоял у печи. Жена его, дочь сотника, подавала. Бахтияр помнил её девочкой: она пряталась за мать, когда он приезжал, и выглядывала. Теперь у неё на руках был мальчик, и она на Бахтияра не смотрела.

Бахтияр сказал то же, что сотнику. Мужики слушали и кивали. Сарый слушал и улыбался.

— Хан простит, — сказал Бахтияр.

— Нас не за что прощать, — сказал Сарый. — Мы у него ничего не брали. Это у нас брали — сначала он, потом эти.

— Тогда тем более.

— Тогда тем более, — согласился Сарый и засмеялся.

Бахтияр сказал и про Ургу. Не мог не сказать: Урга был из этой сотни, и Бахтияр видел, как Сарый переглянулся с братом, когда услышал имя.

— Жив? — спросил Сарый.

— Жив. На Арской стороне.

— У кого?

Бахтияр назвал.

Сарый помолчал. Потом ударил ладонью по столу — не зло, а так, как бьют, когда решили.

— Мы Ургу вернём, — сказал он. — Мы. Не московский. — Он посмотрел на мужиков, на брата, на чўксё. — Московский ему «пусть ждёт» велел передать, да? Я знаю, что он сказал. Он всегда так говорит. Вот пусть он и ждёт. А мы вернём.

Мужики зашумели. Бахтияр смотрел на Сарыя и думал, что тот говорит всерьёз, и что тот не знает, как это делается, и что хан отпустит Ургу, если хан захочет, а если не захочет, то не отпустит ни для Сарыя, ни для кого. Он ничего этого не сказал. Он сказал:

— Хорошо.

И достал из сумы книгу.

* * *

Он писал за столом у Сарыя, при лучине, долго.

Книгу он раскрыл на двадцать шестом годе, на сотне Ахплата, седьмой сверху. Под сотней было пусто — с прошлого лета, со дня пленных. Внизу разворота стояло: «не собрано».

Бахтияр обмакнул *калам* «тростниковое перо». *Бисмиллаһ* «Во имя Аллаха».

Он писал Хыркасси. Двор за двором, по порядку, как стояли в прошлом году, как стояли все двадцать шесть лет, с поправками. Сарый сидел напротив и называл: этот двор — жив, этот — отделился сын, стало два, этот — вдова, этот — Пайтушев, Пайтуша убили на Арском поле, двор остался, братья есть. Бахтияр писал. Имя хозяина, сколько рук, что с двора. Против Пайтушева двора он написал на полях: «сын убит» — и подумал, что в прошлом году этого не написал бы, потому что это не для ясака. Теперь написал.

Тридцать один двор. Он пересчитал два раза. Сошлось.

Это была первая новая строка на правом берегу за год.

Он смотрел на неё. Буквы вышли ровные. Хыркасси стояла под сотней Ахплата, как стояла всегда, — только теперь одна, без Сялкус и Анаткасси, и под ними было пусто, а под ней — тридцать одна строка.

— Что пишешь? — спросил Сарый.

— Тебя, — сказал Бахтияр.

— И что там про меня?

— Что ты мне с позапрошлой осени кадку мёда должен, — сказал Бахтияр. — Вот тут. Видишь?

Сарый посмотрел в книгу, где ничего не мог прочесть, и захохотал, и хлопнул Бахтияра по плечу так, что калам дрогнул, и Бахтияр отвёл калам от листа, чтобы не посадить кляксу, и подождал, пока Сарый отсмеётся.

Долг и правда был. В другой книге.

* * *

Обратно переправлялись на третью ночь.

Лодочник ждал в тальнике, тот же, с Кабана. Льдин было меньше. Вода стояла высокая, мутная, и лодка шла тяжело.

Мансур сидел на носу и уже не боялся: он был за Волгой, и вернулся, и теперь будет рассказывать. Ногай спал сидя.

Бахтияр сидел на корме и считал.

Одна деревня из трёх. Тридцать один двор из ста двенадцати. Сялкус — нет. Анаткасси — нет: он заехал туда на обратном пути, и там его накормили, и выслушали, и ничего не сказали, и он понял, что Анаткасси пойдёт за сотником, потому что Анаткасси всегда шла за сотником. Сотня у Савала — туда он не ездил, туда поехал другой. Кинера — тоже другой.

Тридцать один.

Он открыл книгу у себя на коленях. Луна была полная, и в её свете буквы были видны — не прочесть, но видно, где строки. Он нашёл разворот. Нашёл сотню Ахплата. Под ней — Хыркасси, тридцать одна строка, и под ними ниже — пусто.

Он обмакнул калам в чернильницу, которую держал в руке, и внизу, под Хыркасси, в лунном свете, почти не видя, написал цифру: тридцать один.

Лодку качнуло. Калам дёрнулся. Бахтияр поднёс книгу к лицу и посмотрел: цифра вышла кривая, с хвостом вниз.

Он не стал её править. Он подул на лист и закрыл книгу.

— Что там? — спросил Мансур с носа.

— Тридцать один, — сказал Бахтияр.

— Чего?

— Двор, — сказал Бахтияр. — Греби, если не спишь.

Мансур не грёб — грёб лодочник, — но взял запасное весло и стал помогать, неловко, и лодку снова качнуло, и лодочник сказал ему что-то про его мать, и Мансур засмеялся, и Бахтияр сидел на корме, держа книгу на коленях обеими руками, и смотрел, как приближается левый берег.

Глава 17. Все изменили

Ахплат. Хыркасси; город на Сёве; Ылкуп, май — июнь 1552 года

Тын вокруг двора Ахплат чинил сам, с Анчиком, три дня.

Тын был старый, ещё отцовский, из дубовых кольев в рост человека, и за двадцать лет половина кольев подгнила внизу и держалась только на поперечинах. Раньше это было не важно: от кого загоразиваться? От соседской свиньи. Теперь он выдёргивал гнилые колья, один за другим, и ставил новые, тёсанные с вечера, и Анчик забивал их обухом, а он держал и считал.

Ворота он перевесил на новые петли, кованые, выменянные у кузнеца из *Анаткасси* «Нижнего конца» на две кадки мёда, и вытесал засов из комля, толщиной в ногу. Анчик смотрел, как он вгоняет засов в скобы, и спросил:

— От кого?

Ахплат не ответил. Ответ знали оба.

Весть пришла на четвёртый день, с Анаткасси, с мальчишкой верхом без седла. Мальчишка скатился с коня у ворот и сказал, задыхаясь, что *Хыркасси* «Сосновый конец» ходила к городу. С казанскими конными, ночью, через лес. Отбили у русских стадо, что паслось на лугу под горой. Пастухов было трое. Двоих убили, третий убежал. Стадо угнали за *Сёве* «Свиягу», в лес, а оттуда, говорят, за *Атйа* «Волгу».

— Кто говорит? — спросил Ахплат.

— Все, — сказал мальчишка.

— Кто видел?

Мальчишка подумал.

— Сарый в Анаткасси за пивом приезжал, — сказал он. — Сам и сказал. Смеялся.

* * *

В Хыркасси Ахплат поехал один, на своём коне, не на московском мерине.

Мерин, рослый, буланый, с чёрной гривой, стоял в сарае; ездить на нём Ахплат жалел. Имени ему так и не дали.

Хыркасси стояла у бора, выше по реке, и была тихая. Слишком тихая для июньского дня: никто не пахал пар, никто не рубил, дети не бегали. У ворот Сарыя стояли два чужих коня под казанскими сёдлами, с высокими луками, и на заборе сушилась чужая попона.

Сарый вышел сам. Без шапки, в рубахе, с ложкой в руке — ел.

— Сотник, — сказал он. — Заходи. Или ты по делу?

— По делу.

— Тогда здесь говори. — Сарый прислонился к воротному столбу. — В избе у меня гости. Им твоё дело неинтересно.

Ахплат слез с коня.

— Под городом двое русских убиты, — сказал он.

— Пастухи.

— Пастухи.

— У них стадо было в триста голов, — сказал Сарый. — А у нас в Хыркасси с зимы коровы по две на двор. Они с нас ясак взяли, когда обещали не брать. Мы взяли назад.

— Двоих убили.

— Не мы. Казанские. Мы стадо гнали. — Сарый облизал ложку. — А ты считаешь, кто кого?

— Я считаю, кто спрашивать будет.

Сарый засмеялся, и стало видно сломанный зуб.

— Ты купил нам три года, — сказал он. — Где они?

— Я ничего не покупал.

— Ты ездил. Кланялся. Бумагу привёз. С тебя не берут. Значит — купил. Одному себе.

Из избы вышел зять — младший брат Сарыя, муж дочери. Он встал за спиной брата, у двери, и не сказал ничего. Он был выше Сарыя и тоныше, и лучше всех после брата сидел на коне, и Ахплат помнил, как четыре года назад отдавал за него дочь и как они с Сарыем полдня торговались о приданом и потом напились вместе.

Дочь стояла в глубине избы, у печи. Ахплат видел её в раскрытую дверь: она держала на руках мальчика и смотрела на отца. Не вышла.

— Бахтияр был, — сказал Сарый. — В *ака* «месяц пахоты». Ты знаешь.

— Знаю.

— Он и тебе сказал про Ургу.

— Сказал.

— И ты что?

— Я сказал — присягали.

— Ты присягал, — сказал Сарый. — А Урга сидит у чужого человека в сарае и ждёт, когда ты посчитаешь. — Он выпрямился и отлепился от столба. — Мы Ургу вернём. Мы, не московский. Хан слово дал.

— Хан — Бахтияру. Бахтияр — тебе.

— Ну и что? — сказал Сарый. — А тебе кто слово дал? Писарь?

Ахплат постоял. Потом сел на коня.

— Урга мой человек, — сказал он.

— Был твой, — сказал Сарый. — Ты его под пушки водил. — Он поднял ложку, как поднимают руку прощаясь. — Езжай, сотник. У меня щи стынут.

Зять стоял у двери и смотрел в землю. Когда Ахплат развернул коня, зять поднял голову, и они встретились глазами, и зять отвёл первым.

* * *

Через три дня из города позвали сотников.

Позвали всех, с правого берега, кого могли, — Ахплат это понял, когда увидел у съезжей избы толпу. Сотники, десятники, мурзы. Кто-то стоял у крыльца, кто-то сидел на брёвнах. Никто ни о чём не говорил. Байдеряк с *Савала* «Цивилия» стоял в стороне, отдельно, со своими, и на Ахплата посмотрел и кивнул, и больше не смотрел.

У ворот города стояла пушка, которой прошлым летом не было, и смотрела не наружу, а вдоль дороги, по которой шли из сёл.

Звали по одному.

Третьяк сидел за тем же столом. Ахплат узнал его сразу — наклон головы, близорукий прищур, как на дальнее. Он был худее, чем прошлым летом, и кашлял, и перед ним лежал не лист, а тетрадь, толстая, сшитая, и он писал в неё. Юшка сидел на лавке у стены, без гороха.

Третьяк поднял голову, прищурился, узнал. Сказал что-то Юшке.

— Он говорит — Атнеров, — сказал Юшка. — Помнит.

— Он пишет воеводам, — сказал Юшка. — А воеводы — в Москву. Что на Горной стороне делается.

Третьяк прочитал вслух, с листа, ровным голосом, как читают то, что уже написано и не переменится:

— «...а горние люди все изменили, и с казанцы ссылаются, и на государевых людей находят...»

Юшка перевёл. Перевёл медленно, слово в слово, и в конце сказал ещё раз, отдельно:
— Все изменили.

Ахплат стоял у стола.

— Не все, — сказал он.

Юшка перевёл. Третьяк посмотрел на Ахплата.

— Хыркасси, — сказал Ахплат. — Одна деревня. Тридцать один двор. Из ста двенадцати.

Юшка перевёл. Третьяк слушал, наклонив голову, и Ахплат видел, что он слушает настоящему, не для виду. Потом Третьяк положил перо, потёр переносицу двумя пальцами и сказал что-то короткое.

— Он говорит: у него сотня одна, — сказал Юшка. — Строка одна.

— Раздели.

Юшка перевёл. Третьяк ответил, не поднимая глаз.

— Не ему делить, — сказал Юшка.

— А кому?

Третьяк развёл руками — не зло, а так, как разводит руками человек, который и сам бы хотел, да нечем. Он сказал ещё что-то, долго, и показал на тетрадь, на стопку других тетрадей у стены, на окно, за которым стояли сотники,десятники, мурзы.

— Он говорит, у него тут вся сторона в одной тетради, — сказал Юшка. — Сотня за сотней. И в каждой, говорит, кто-то изменил, а кто-то нет. Если он каждую начнёт делить на дворы, его в Москве спросят, почему он пишет не донесение, а перепись. Он говорит, ему велено писать, что делается. Делается — вот это. — Юшка помолчал. — Он говорит, ему жаль.

Третьяк обмакнул перо и дописал что-то в строке, в самом конце, мелко. Ахплат смотрел на перо. Перо шло недолго.

— Что он приписал?

— Твою сотню, — сказал Юшка. — Номер. Чтобы знали, про какую.

* * *

Юшка догнал его в сенях.

— Ты не бери в голову, — сказал он.

— Я не беру.

— Берёшь. Я вижу. У тебя руки так делаются. — Юшка сжал кулак и разжал. — Его не за это ругать будут, а если не напишет. Весной тут многие легли. Воеводы злые. Казань за рекой опять с ханом. А у вас по всей стороне ночами ездят. — Он понизил голос. — Скажи спасибо, что вообще спрашивают. Что на слово зовут, а не со стрелыцами приезжают.

— Спасибо, — сказал Ахплат.

Юшка посмотрел на него, как смотрят, когда не поймут, шутка это или нет, и засмеялся, коротко, без веселья.

* * *

Дома начались ночи.

По ночам ездили. Лай шёл по реке, снизу вверх или сверху вниз, и Ахплат лежал и слушал, откуда и куда. Сверху — значит, из Хыркасси к дороге. Снизу — значит, с дороги к Хыркасси. Иногда лай шёл через овраг, к Янтуду, и там останавливался, и потом шёл обратно.

Он съездил к Янтуду через овраг, днём. Янтуду встретил его во дворе, в зелёных казанских сапогах, заляпанных грязью.

— Третью неделю сплю в них, — сказал Янтуду, заметив, куда он смотрит. — Жена ругается. Из Казани ездят — говорят, ты мурза, ты веры нашей, ты с нами. Из города ездят —

говорят, ты в росписи, ты к столу выше, ты с нами. И те и другие по-хорошему. По-плохому — я бы знал, что делать. А по-хорошему — только сапоги не снимать.

Он засмеялся, и Ахплат засмеялся с ним. Потом Янтуду перестал.

— К тебе придут, — сказал он. — Мерин у тебя. Кольчуга у тебя. Ты московский. Сарый это знает. И те, кто у него в избе сидят, знают.

— Знаю, — сказал Ахплат.

* * *

Они пришли на исходе *сёртме* «месяца пара, июня» — в самую короткую ночь, когда темно бывает только от полуночи до третьих петухов, и то не совсем.

Ахплат ждал. С того дня, как съездил к Янтуду, у него во дворе ночевали его десяток: восемь мужиков с *Җӑлкуҫ* «Родника», с луками, с топорами, с рогатинами, спали вповалку в сених и на сеновале, по очереди не спали. Собак было четыре, и все четыре спали во дворе, не на цепи. На крыше избы, у трубы, лежали два ведра с водой и мокрая рогожа. У ворот, изнутри, — бревно, чтобы подпереть, если засов не удержит.

Разбудили собаки.

Все четыре разом, не лаем, а рыком, низким, и потом лаем, и потом Ахплат уже был на ногах, в темноте, и шарил на гвозде, и нашёл кольчугу.

Он натянул её через голову, и она упала на плечи тяжело, холодно, звеня. Ремни были на боку и сзади. Левая рука не гнулась как надо, правой он не доставал. Он стоял в темноте в железе, как в мешке, и слышал, как за тыном, у оврага, фыркает чужой конь.

Айвика оказалась рядом. Он не слышал, как она встала. Её руки нашли ремни сразу, в темноте, как находили в темноте всё в этой избе, — и затанули, один, другой, туго, так что он охнул.

— Шлем, — сказала она.

— Не надо.

— Надо, — сказала Айвика и надела ему на голову шлем, и шлем сел криво, и он поправил.

Потом она сняла со стены свой лук, охотничий, и колчан.

— Ты куда?

— К матери, — сказала Айвика. — И к сараю. Мерина выводить, если что.

Во дворе уже кричали. Анчик пробежал мимо окна с луком, к лестнице на крышу. Мужики вылезали с сеновала.

Ахплат вышел.

* * *

Первый факел перелетел через тын, когда он был на середине двора.

Факел был смоляной, на палке, и крутился в воздухе, разбрасывая искры, и упал на соломенную крышу сарая, и солома сначала задымила, потом пынула вся по краю. За первым полетел второй, третий.

— Вода! — крикнул Анчик с крыши избы. — На сарай не достать!

С сарая было не достать. Крыша сарая была низкая, соломенная, и горела уже с двух концов.

В сарае стояли кони. Мерин. Казанский конь, которого Айвика взяла прошлым летом у удальца. Две рабочие лошади. Корова с тёлкой.

Айвика была уже там. Ахплат видел в свете огня её спину, у двери сарая, — она отодвинула засов и вошла внутрь, в дым, и он побежал к ней, и не успел: она вышла сама, ведя

мерина за недоуздок, и мерин храпел, косил глазом, упирался, и она тянула его, не оборачиваясь. Отдала повод мужику, который подбежал, и пошла обратно в дым.

— Стой! — крикнул Ахплат.

Она не остановилась. Она вывела казанского коня, потом рабочих, по одной, потом корову, а тёлку выгнал уже мужик, прутком, и тёлка вылетела из дыма, мыча, и понеслась по двору, и сбила с ног другого мужика.

Солома горела. Двор стал светлый, красный, и в этом свете всё было видно: тын, ворота, лица своих — и через щели между кольями, по ту сторону, чужие тени.

По тем, кто стоял во дворе, на свету, начали стрелять.

Стрела ударила в жердь у головы Ахплата и задрожала. Другая — в землю у ноги. Мужик у тына вскрикнул и сел, держась за плечо. Ахплат крикнул, чтобы уходили из света, к тыну, в тень, — и мужики пошли к тыну, пригнувшись, и стали стрелять через щели, туда, где были тени, наугад, в голоса.

С крыши избы стрелял Анчик. Ахплат видел его наверху, у трубы, чёрного против горящего сарая: он натягивал, пускал, тянулся к колчану, натягивал. Ахплат подумал, что он там как на ладони, и хотел крикнуть, чтобы слез, и не крикнул: с крыши было видно дальше.

— За Великий город! — закричал Анчик.

Он закричал это так, как кричали молодые на *кёр сәри* «осеннем пиве», через костёр, — во всё горло, весело и зло. Ахплат слышал, что у него срывается голос.

И тут же, из-за тына, у ворот, кто-то засмеялся и крикнул в ответ:

— Какой город, Анчик? Это я, Тукай! Слезай, пока не сняли!

Анчик на крыше замер, с натянутым луком. Потом опустил лук — Ахплат видел — и снова поднял, и выстрелил, и выстрелил не туда, откуда кричали, а выше, в тёмное.

Ахплат знал этот голос. Тукай, из крайнего двора Хыркасси, прошлой осенью менялся с ним косами на лугу.

* * *

В ворота ударили.

Ударили тяжёлым — бревном, наверное, или колодой, — и створки прогнулись внутрь, и засов в скобах скрипнул, и петли, новые, кованые, выдержали. Второй удар. Третий. На третьем засов треснул вдоль.

Ахплат был у ворот. С ним двое, с топорами. Третий подтаскивал бревно, подпереть.

Он слышал голоса за воротами. Не видел — слышал. Кто-то считал удары, по-суварски: раз, два, взяли, — как считают, когда тащат воз из грязи. Кто-то ругался. Кто-то говорил по-казански, быстро, двое или трое, — это были не свои, это были гости Сарыя, те, чьи кони стояли у его ворот. И кто-то сказал, негромко, у самой щели, где створки сходились:

— Правее бейте. Там петля слабее.

Ахплат узнал и этот голос.

Это был зять.

Зять четыре года назад помогал ему ставить эти ворота, прежние, и знал, где у них петли.

Бревно ударило правее. Правая створка отошла вниз, и в щель, пониже засова, пролезла рука — с факелом, чтобы поджечь ворота изнутри, или чтобы нащупать засов, — и Ахплат ударил по руке обухом.

Не лезвием. Обухом. Он сам не знал, почему повернул топор. Рука повернула.

За воротами закричали. Факел упал внутрь, во двор, и мужик рядом с Ахплатом затоптал его. Рука исчезла.

— Бревно! — крикнул Ахплат.

Бревно подтащили, упёрли в створки. Ворота вздрогнули от удара и остались.

Тогда полезли через тын.

* * *

Через тын лезли в двух местах — у сарая, где горело и где было светло, и с другой стороны, у огорода, в темноте. У сарая полезли двое и сразу отпрянули: там было горячо, и там стояли мужики с рогатинами, и один из лезущих получил рогатиной в бок, не остриём, а плашмя, и свалился обратно. А у огорода один перелез.

Ахплат увидел его, когда тот уже был во дворе — тёмный, пригнувшийся, с саблей. Казанец. Молодой, в стёганом кафтане, без шапки. Он пробежал вдоль тына к воротам — открыть изнутри — и одна из собак кинулась ему под ноги, и он споткнулся, и выпрямился, и ударил собаку саблей, и собака отлетела, визжа.

Ахплат пошёл к нему.

Он шёл и знал, что казанец моложе и быстрее, и что в кольчуге он сам тяжёл, как мешок с зерном. Бежать в ней он не умел. Казанец увидел его, повернулся и поднял саблю.

И упал.

Он упал вперёд, на колени, и потом лицом, и больше не двинулся. Ахплат остановился в трёх шагах. Он не понял, что случилось. Он не бил. Он даже не поднял топора.

С крыши крикнул Анчик — не клич, а просто крикнул, без слов.

Ахплат подошёл. Казанец лежал ничком. Из спины у него, под лопаткой, торчала стрела. Ахплат посмотрел на крышу — Анчик стоял у трубы и смотрел вниз, и лук у него был опущен, и Ахплат видел, что сын не понимает, так же как он.

Стрелы летели из-за тына. Со всех сторон. В темноту, в огонь, во двор. Кто стрелял из-за тына — не знал ни один из тех, кто стрелял.

* * *

Потом Ахплат обернулся на избу и увидел мать.

Эрнепи стояла в дверях избы, на пороге. Она не выходила ночами уже год, у неё не шли ноги, и Айвика, уходя к сараю, оставила её на лавке за печью. Теперь она стояла в дверях. Одна. В рубахе до пят, в *хушпу* «шапке замужней» — надела, значит, в темноте, на ощупь, — и в руке у неё был светец с горящей лучиной, и она держала его высоко, над головой, как держат, когда встречают гостей во дворе и хотят разглядеть, кто пришёл.

Свет от лучины падал на её лицо. Старое, белое, спокойное. И на шапку, на серебро по краю, и на пустое место слева, где висела когда-то гнутая монета.

Она стояла и смотрела в темноту, за тын, туда, откуда летели стрелы.

— Мать, — сказал Ахплат. — Уйди.

Она не ушла. Может, не услышала. Может, услышала.

За тыном, у ворот, стало тихо.

Потом кто-то сказал — Ахплат узнал и этот голос, он узнал бы его из тысячи, — громко, коротко:

— Назад.

И ещё раз, громче, так, что было слышно на весь двор и за тын:

— Назад, говорю! Уходим!

Это был Сарый.

Сарый видел то же, что он: старуху в дверях, со светцом над головой. Эрнепи, которая лет тридцать назад взяла его, маленького, к себе на всю зиму, когда его мать лежала в горячке, и кормила лепёшками у этого самого очага, и он спал за этой самой печью.

За тыном кто-то спорил по-казански, зло. Сарый рявкнул на него одно слово, и тот замолчал. Бревно у ворот бросили. Потом — кони у оврага, топот, и лай, который пошёл вверх по реке, к Хыркасси, и затих у бора.

Эрнепи опустила светец.

— Гости ушли, — сказала она. — Ворота закройте.

И повернулась, и пошла в избу, держась рукой за косяк, и Ахплат увидел, что у неё трясутся ноги, и подбежал, и подхватил её, и она сказала ему, чтобы не хватал, она сама, и он довёл её до лавки.

* * *

Сарай догорел к рассвету.

Отстояли избу, амбар и тын. Сарай сгорел до земли, с сеном и упряжью. Кони были целы. Тёлку нашли утром в капусте, и она не хотела выходить.

Раненых было двое. Мужик с Ылқуш, со стрелой в плече: Айвика вынула стрелу и перевязала, и он сидел на завалинке, серый, и просил пива. И бортник, сосед Ахплата по меже, — он выдернул горящую жердь из тына голыми руками и теперь держал руки в ведре с водой и молчал.

Собаку, которую ударили саблей, Анчик закопал за огородом сам.

А у ворот лежал казанец.

Ахплат перевернул его на спину, утром, когда стало светло. Мальчишка — лет двадцати, может, меньше. Усы только пробивались. Лицо было удивлённое, как бывает у спящего, которого окликнули. Ахплат закрыл ему глаза. Потом вынул стрелу — она вышла легко — и посмотрел.

Стрела была не суварская. Казанская: длиннее наших, с тремя перьями, серыми, гусиными, подрезанными ровно, как режут в казанских мастерских. На древке у оперения — метка: два косых надреза.

Его убили свои. В темноте, из-за тына, по огню. Он бежал к воротам на свету, а за тыном стреляли по всему, что двигалось на свету.

Ахплат стоял со стрелой в руке. Анчик подошёл, посмотрел на стрелу, на казанца, на отца.

— Это не я, — сказал Анчик.

— Знаю.

— Я не туда стрелял.

— Знаю, — сказал Ахплат. — Смотри. Не наша.

Анчик посмотрел на стрелу долго. Потом отошёл и сел на бревно у ворот, на то самое, которым подпирали, и сидел, и губы у него шевелились, но что он повторял — строку или что-то другое, — Ахплат не спросил.

* * *

Как хоронить казанца, Ахплат не знал.

По-своему было нельзя: у казанцев своя вера. А как по-ихнему — он не знал.

Он послал Анчика через овраг к Янтуду.

Янтуду пришёл сразу. Пешком, в тех же зелёных сапогах, с двумя своими людьми и с куском белого холста под мышкой. Он посмотрел на казанца, наклонился, посмотрел в лицо. Сказал что-то тихо, по-арабски, и потом перевёл сам, по-суварски, для Ахплата, не глядя на него:

— *Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун* «Все мы принадлежим Богу и к Нему возвращаемся».

Больше он ничего не говорил.

Он делал всё быстро, как делают то, что знают с детства. Велел принести воды, тёплой, и его люди обмыли мальчика, за сараем, за пепелищем, отгородив рогожей, и Ахплат не смотрел. Потом завернули в холст. Янтуду сам завязывал концы — у головы и у ног. Потом сказал, где копать: не на *масаре* «кладбище», а в стороне, у дороги, под отдельным деревом, — и сказал, куда головой, и показал рукой на юг и немного к закату, туда, где за лесами был не *Хусан* «Казань», а что-то дальше, чего Ахплат не знал.

Копал Ахплат. Он не просил об этом и никто не просил. Он взял лопату и копал, и Анчик копал с ним, и люди Янтуду копали, и Янтуду стоял и смотрел, чтобы яма была правильная, — сбоку в яме ещё делали нишу, и это Ахплату было ново.

Потом Янтуду прочёл над ямой длинное, по-арабски, нараспев, негромко. Ахплат не понял ни слова и стоял, сняв шапку, потому что так стоят, когда над ямой говорят, на любом языке.

Когда засыпали, Янтуду вытер руки о траву.

— Чей он? — спросил Ахплат. — Откуда?

— Не знаю. — Янтуду помолчал. — Родня не узнает, где лежит. Это плохо. Но хоть лежит как надо.

Он пошёл обратно через овраг. У края обернулся.

— Сотник, — сказал он. — Ты кольчугу-тоними. Всё уже.

Ахплат только теперь понял, что стоит в кольчуге. С ночи. Он копал в ней, и она звенела на каждом взмахе, и он не слышал.

Снять её сам он не смог. Айвика сняла.

* * *

Вечером он сидел на крыльце.

Двор пах гарью. На месте сарая лежали чёрные брёвна, и из-под них ещё шёл дымок. Кольчуга висела на гвозде, в гари.

Мать спала за печью. Спала с вечера, крепко, как не спала давно.

Ахплат сидел и считал. Вслух, негромко, как считал всегда, когда было тревожно, и Анчик сидел рядом на ступеньке и слушал.

— Тридцать один, — сказал Ахплат. — Туда.

— Восемьдесят один. Здесь. Сто двенадцать — в книге. Там.

Он начал сначала, потому что всегда начинал сначала, когда уставал.

— Тридцать один — туда. Восемьдесят один — здесь.

Анчик сказал:

— В книге — сто двенадцать.

— Там, — сказал Ахплат.

Анчик кивнул. Потом спросил, не глядя:

— Тукай — это который косами с тобой менялся?

— Он.

— Я его чуть не убил.

— Не убил.

— Я выстрелил выше, — сказал Анчик. — Я услышал, что это он, и выстрелил выше. А потом стрелял в темноту. Я не знаю, в кого я стрелял в темноту.

Ахплат ничего не сказал. Он положил руку сыну на плечо — левую, ту, что гнулась хуже, — и так они и сидели, пока не стемнело совсем и пока в Хыркасси, за бором, не залаяла собака, одна, и не замолчала.

Глава 18. Горшок

Айвика. Ылжус; лес над рекой, июль 1552 года

Рожь у дороги в этот год поспела раньше дальней, и жать начали с неё.

Айвика жала с краю, где колос был тяжелее, и вязала сама, не отдавая вязальщицам, потому что вязала быстрее всех, и считала снопы про себя. *Ик, кок, кум* «один, два, три». Серп у неё был свой, луговой, привезённый из-за Волги двадцать пять лет назад в приданом, с узким лезвием, и сотник говорил, что таким только траву для кур резать, а она им жала больше, чем он своим.

Мужиков на поле было мало. Сотник держал десяток при дворе — после той ночи в *сёртме* «месяц пара» они так и ночевали у него, по очереди, и днём спали, а ночью сидели у тына. Анчик ушёл с табуном на дальний луг. Жали бабы, девки, старики, подростки, и дети таскали снопы к суслонам, по два, волоком, и роняли, и им не говорили ничего.

Эрнепи сидела дома. Ноги у неё с той ночи не шли совсем: она дошла до лавки, держась за косяк, и с тех пор вставала только до стана и обратно. Ткать ткала. Айвика оставила ей горшок каши и кувшин и ушла жать до света.

К полудню связали сорок снопов. *Нылле* «сорок». Айвика выпрямилась, приложила ладонь к пояснице и посмотрела на овраг.

Через овраг бежал человек.

Бежал он с той стороны, от Янтуду, по склону, не по тропе, напрямик, через орешник, и Айвика узнала его по белой войлочной шапке: пастух Янтуду, старик, который пас его овец на горе за оврагом и никогда никуда не бегал. Он бежал, падал, вставал и бежал, и махал рукой, и что-то кричал, и крик не долетал.

Бабы на поле перестали жать. Выпрямились, одна за другой, и стояли с серпами.

Пастух добежал до края поля и сел на землю.

— Русские, — сказал он, когда смог. — По дороге. От *Хыркасси* «Соснового конца». Конные. Много. — Он показал рукой вверх по реке. — Мурза велел сказать — ваших жечь идут. Прячьтесь.

— Сколько много?

Пастух развёл руками — так широко, как смог.

Айвика воткнула серп в сноп и пошла к дому. Не побежала — пошла, быстро, и на ходу считала, что брать.

* * *

Село уходило в лес так, как уходили при матерях, — Айвика делала, как делала её мать за Волгой, в тот год, когда ей было десять и по их лесу прошли казанские.

Скот — вперёд. Коров, овец, коз гнали мальчишки по тропе вдоль ручья, вверх, к старому загону в ельнике, где пасли в засуху. Кони — туда же. Московского мерина вёл Анчик, прибежавший с луга, и мерин шёл послушно, как будто понимал. Казанского коня вела соседская девочка, и конь шёл за ней, как собака.

Прошлогоднее зерно лежало в ямах с весны. Новое было в поле, в суслонах. Его оставили.

Детей — вперёд, со скотом. Стариков — на телеги, пока тропа позволяла, а дальше — как получится.

Эрнепи посадили на телегу, на сено, со станом. Стан она велела взять — «без стана не поеду», — и Айвика не спорила, и стан положили рядом со старухой, разобранный, связанный лыком. Эрнепи сидела на телеге прямо, в *хуипу* «шапке замужней», держала руками края и смотрела на избу.

Айвика вошла в избу последней.

Сундук стоял у стены, под окном. Она открыла его. Сверху лежала Анчикова беличья шуба. Под шубой — холсты, её, ещё девичьи. Под холстами, на дне, — лист в трубке, перевязанный ниткой, с красной печатью на шнурке.

Она взяла его в руки. Он был лёгкий.

Потом огляделась. На полке у печи стояли горшки — для каши, для молока, для трав. Она взяла один, средний, глиняный, с крышкой, в котором держала сушёную малину. Высыпала малину на стол. Протёрла горшок изнутри подолом. Положила лист, свёрнутый, стоймя, — он вошёл целиком, и печать легла на дно. Закрыла крышкой. Обвязала крышку тряпкой, крест-накрест, и затянула узел.

Так она делала с семенами: семенное зерно в горшок, горшок — в сухое место, крышку — под тряпку, узел — туго. Мыши не достанут, сырость не возьмёт. Она не думала об этом, руки делали сами.

Сотник стоял в дверях и смотрел.

— Что это? — спросил он.

— Бумага, — сказала Айвика.

Он посмотрел на горшок.

— Дай.

Она подала. Он развязал её узел, снял крышку, вынул лист. Горшок вернул ей.

— Кольчугу, — сказал он.

* * *

Она затягивала на нём ремни, а он стоял и смотрел в окно, на дорогу.

Кольчуга пахла гарью ещё с той ночи. Она оттирала её песком два раза, а запах не уходил. Ремни были жёсткие, и она затягивала их, упираясь коленом, и он охал, и не жаловался. Шлем она надела ему сама.

— Ты куда? — спросила она, хотя знала.

— Навстречу.

— Одного убьют.

— Одного не убьют, — сказал он. — Одного прочитают.

Он показал ей лист. Она поняла.

— А если не прочитают?

Он не ответил. Взял лист, сунул за пазуху, под кольчугу, к рубахе. Потом вышел, и она вышла за ним, и видела, как он садится на мерина — Анчик подвёл его обратно от тропы, — как не может сразу закинуть ногу, потому что железо тянет вниз, и как Анчик подставляет ему руки под колено.

— Уводи всех, — сказал сотник Айвике с седла. — Анчик — с тобой. Десяток — с тобой. — Он посмотрел на Анчика. — Людей, которым присягали, не бить. Слышишь? Стрелять — не в людей.

— А если они?

— Не в людей, — повторил сотник.

И поехал. Один, по дороге, вверх по реке, туда, откуда шли. Мерин шёл ровно. Кольчуга на спине сотника блестела, где солнце попадало на кольца, и тускнела, где он въезжал в тень от раkit.

Айвика стояла у ворот, пока не увидела, что Анчик смотрит на неё. Тогда она повернулась и пошла к лесу, и понесла горшок, пустой, под мышкой, и зачем несёт пустой, не знала.

* * *

Опушка была на бугре над селом, и оттуда было видно всё: дорогу, дворы, поле с суслонами, реку.

Айвика не пошла дальше, к загону. Она отправила вперёд баб с детьми, стариков с телегами, Эрнепи на телеге, — а сама легла за корнем старой ели, на мох, и смотрела вниз. С ней остались две бабы. Им тоже надо было видеть.

Русские пришли из-за поворота дороги, со стороны Хыркасси.

Сначала она слышала их — глухо, как дальний гром, по земле. Потом увидела пыль. Потом — их самих. Конные, в тегилях, в шапках, кто в железных, кто в меховых, с луками, с саблями. Десяток, два, ещё. Она перестала считать. За ними — пешие, в красном, с длинными пищалями на плечах. Стрельцы. Ещё телеги.

Навстречу им по дороге ехал сотник. Один.

Она видела, как передние конные придержали коней. Как двое поскакали к нему, с саблями наголо. Как он остановил мерина и поднял руку — пустую, открытую. Как они подскакали, и кружили вокруг, и один схватил мерина за повод.

Потом сотник полез за пазуху.

Двое вокруг него дёрнулись — она увидела, как поднялась сабля, — и замерли. Он вынул лист. Поднял его над головой. Печать на шнурке болталась, красная, и Айвика видела её с бугра — маленькую точку, как ягода.

Один из двоих взял лист и поскакал назад, к передним.

Там, впереди отряда, на гнедом коне в богатой сбруе сидел человек в железной шапке с перьями. Голова отряда. Ему подали лист. Он развернул его, не слезая с коня, и стал читать.

Он читал долго. Айвика лежала за корнем и смотрела, как он читает, и не дышала. Две бабы рядом тоже не дышали. Внизу, на дороге, сотник сидел на мерине между двумя конными, и мерин переступал, и сотник держал повод.

Голова отряда поднял голову и сказал что-то. Кому-то сбоку. Тот поскакал назад, вдоль отряда.

И тогда на дальнем конце *Ѕӓлкуҫ* «Родника», у самой дороги, ниже по реке, поднялся дым.

Айвика увидела его краем глаза. Сначала серый, тонкий. Потом гуще. Потом, у соседнего двора, — второй. Третий. Горели крайние дворы, те, что стояли у дороги, у брода, где жил бондарь, где жила вдова Элмена. Туда, видно, зашли раньше, с другой стороны, пока голова отряда читал.

Айвика вцепилась пальцами в мох.

Дым рос. Он рос, и шёл вверх, и сносило его ветром вдоль реки, к ним, к опушке, и она почувствовала запах — горелой соломы, горелого дерева.

А потом дым перестал расти.

Он стоял над крайними дворами — серый, густой, — и не шёл дальше. Новые дымы не поднимались. Горело то, что горело, а к следующему двору огонь не переходил, — или его не переносили. С бугра не было видно, кто что делает там, внизу, у дворов. Было видно только, что дым больше не растёт.

Бумага ли это сделала. Или конный, которого голова отряда послал вдоль строя. Или ветер, который повернул к реке. Или у тех, кто жёг, кончились факелы. Айвика смотрела и не знала. Она никогда этого не узнает, и сотник не узнает, и никто.

Внизу голова отряда отдал лист тому, кто подавал. Тот поскакал к сотнику и отдал лист ему. Двое, что держали мерина, отъехали. Сотник сидел на мерине и не двигался.

Отряд пошёл дальше по дороге. Мимо него, мимо *Ѕӓлкуҫ*, мимо суслонов на поле, — вниз по реке, к *Анаткасси* «Нижнему концу». Кони шли прямо по суслонам у дороги, и суслоны валились, и копыта втапывали снопы в землю.

Сотник стоял на мерине посреди дороги, и они шли мимо него, обтекали его, как вода обтекает камень, и никто на него не смотрел.

* * *

— Айвика, — сказала баба рядом. — Смотри.

Она показала вверх по реке.

Над бором, там, где стояла Хыркасси, стоял дым. Не такой, как над крайними дворами Сялкус, — другой: широкий, чёрный, во всё небо над бором, и в нём было видно, как клубится, и переваливается, и поднимается выше. Так горит не двор. Так горит всё.

Айвика смотрела на этот дым и думала о дочери.

Дочь была там. С мальчиком. Муж её ушёл с Сарьем после той ночи — сотник говорил, что зять был у ворот, и Айвика не спросила, откуда он знает, — ушёл в лес, к казанцам, и дочь осталась в Хыркасси одна, в мужниной избе, со свекровью.

Айвика встала.

— Куда? — спросила баба.

— Туда.

— Не ходи. Там русские.

— Там моя дочь, — сказала Айвика.

Она не успела пойти. По лесной тропе, от бора, вдоль опушки, кто-то бежал. Женщина, с ребёнком на руках, в разорванном на плече платье, без *сурпана* «покрывала замужней», простоволосая, — и Айвика узнала её раньше, чем увидела лицо: по тому, как она бежала, держа мальчика не на руках, а на боку, на бедре, как держат ведро, когда торопятся. Так бегала она сама, в молодости.

Дочь добежала и остановилась. Мальчик у неё на боку не плакал. Он смотрел на бабу широко открытыми глазами и держал мать за волосы.

— Мама, — сказала дочь. И больше ничего не сказала.

Айвика взяла у неё мальчика. Он был тяжёлый и тёплый, и от него пахло дымом.

— Свекровь где?

— Ушла. С соседями. В другую сторону. — Дочь села на мох и обхватила колени. — Я к вам. Я знала тропу.

— Муж?

Дочь подняла голову и посмотрела на неё. Айвика больше не спрашивала.

* * *

К загону в ельнике Айвика пришла, когда солнце уже клонилось.

Загон был старый, из жердей, в человеческий рост, на поляне среди елей, у ручья. В нём стоял скот — весь, что успели угнать, — и мычал, и блеял, и толкался. Вокруг, под елями, сидели бабы, дети, старики. Эрнепи сидела на телеге, на сене, со своим станом.

Анчик стоял у загона с луком. С ним пятеро мужиков из десятка, тоже с луками. Остальные трое ушли назад, к опушке, — смотреть.

— Отец? — спросил Анчик.

— Жив, — сказала Айвика. — Его прочитали.

Анчик не понял. Потом понял.

Она хотела сказать ещё, про крайние дворы, про Хыркасси, — и не успела. Из-за елей, с той стороны, откуда шла тропа от дороги, слышались голоса. Русские. И треск веток, и конский храп.

Анчик повернулся на звук.

— В ёлки, — сказал он бабам. Тихо. — Детей — в ёлки. Живо.

Бабы похватали детей и ушли под ели, вглубь, в тень. Айвика отдала мальчика дочери и толкнула её туда же. Сама не пошла. Она сняла с плеча свой лук — охотничий, короткий, на птицу, — и стала за ствол ели у самого загона.

Из-за деревьев вышли русские.

Их было десять. Может, одиннадцать. Не конные — трое вели коней в поводу, остальные пешие: тропа была узкая для коня. Двое с пищальями. Остальные — с саблями, с топорами, один с рогатиной. Молодые, почти все. Отбились, видно, от отряда — шли по следу скота, по навозу на тропе, и пришли.

Они увидели загон, скот в нём, и остановились. Старший — рыжебородый, в тегиле, с саблей на боку — сказал что-то, и все засмеялись. Потом увидели Анчика с луком у жердей. И пятерых мужиков.

Перестали смеяться.

Старший сказал что-то Анчику — громко, по-русски. Айвика поняла «скот» и ещё какое-то слово, ругательное.

Анчик натянул лук.

Он натянул его не на старшего. Айвика видела из-за ели: он натянул и повёл стрелу чуть в сторону, выше, мимо головы, и отпустил, и стрела ударила в ствол ели за спиной рыжебородого, на ладонь выше шапки, и задрожала там.

Русские шарахнулись. Двое с пищальями стали раздувать фитили. Мужики у загона натянули луки тоже — и тоже, Айвика видела, выше голов, в стволы, в ветки.

— Стой! — закричал Анчик по-русски. — Государевы! Государевы!

Он кричал это слово, которому его учил Истома, и Айвика не знала, что оно значит, и Анчик, кажется, тоже не знал точно, — кричал, потому что это было единственное русское слово, которое он знал, про то, чьи они.

Рыжебородый остановился. Посмотрел на Анчика. На стрелу в ели над своей головой.

Один из пищальщиков раздул фитиль, приложил пищаль к плечу и выстрелил.

Грохнуло так, что у Айвики заложило уши, и белый дым встал над тропой, густой, вонючий, и в загоне закричал скот, и заметался, и навалился на жерди. Пуля ушла в загон. Айвика видела, как упала корова — пёстрая, соседская, — упала на колени и завалилась на бок, и другие коровы шарахнулись от неё и стали давить жерди.

Одна жердь треснула.

Под елями закричали дети.

Второй пищальщик раздувал фитиль. Молодой. Совсем молодой, безбородый, в красной шапке, съехавшей на ухо. Он раздул и поднял пищаль, и Айвика видела, что он целится — в Анчика. В её сына, который стоял у загона открыто, на свету, с опущенным уже луком, и кричал «Государевы!».

Айвика натянула свой лук.

Она не думала. Руки делали сами, как делали прошлым летом у телег, когда у соседки дрожали руки, а у неё нет. Она натянула до уха и пустила стрелу в ель — в ту, у которой стоял безбородый, — в кору, на ладонь от его руки, от его пальцев на ложе пищали.

Стрела вошла в кору с сухим стуком.

Безбородый дёрнулся и посмотрел на стрелу. Потом — туда, откуда она прилетела. На Айвику за стволом. На бабу в сурпане с птичьим луком.

Она уже держала вторую стрелу на тетиве.

Он смотрел на неё. Пищаль у него в руках смотрела в Анчика. Фитиль тлел. Айвика видела, как у него дрожат губы.

Он не выстрелил.

Он опустил пищаль медленно, как опускают тяжёлое, и сказал что-то рыжебородому, негромко, почти жалобно.

Рыжебородый стоял и смотрел. На Анчика у загона. На мужиков с натянутыми луками. На стрелу в ели над своей головой и на стрелу у руки безбородого. На Айвику за стволом. На ели вокруг, под которыми было неизвестно сколько ещё луков. Потом сплюнул.

Сказал что-то своим. Двое пошли к загону — не к Анчику, в обход, — выломали треснувшую жердь, вывели двух коров. Одну — чёрную, сотникову. Вторую — чужую, из Анаткасси. Никто им не мешал. Анчик стоял и смотрел. Мужики стояли и смотрели.

Рыжебородый ещё раз посмотрел на Анчика.

— Государевы, — сказал он по-русски и засмеялся, коротко. — Ну, государевы.

И они ушли. Тем же путём, по тропе, с двумя коровами, с конями в поводу. Безбородый уходил последним и дважды оглянулся — оба раза на ель, за которой стояла Айвика.

Когда треск веток затих, Айвика опустила лук.

Руки у неё не дрожали. Задрожали потом, когда она стала вынимать стрелу из коры, — и она не смогла её вынуть, и оставила там.

* * *

Сотник пришёл в сумерках, пешком, ведя мерина в поводу.

Он подошёл к Айвике, достал из-за пазухи лист и отдал ей.

Она взяла. Лист был тёплый, от его тела, и немного влажный с одного края. Она вынула из-за пояса горшок, развязала тряпку, сняла крышку, опустила лист внутрь, стоямя, печатью вниз, закрыла, обвязала.

— Крайние дворы, — сказала она.

— Семь, — сказал он. — Пока я ехал назад, горели семь. Может, больше. Не видел.

— Хыркасси?

— Вся.

Он сел на землю, рядом с загонем, прислонившись к жердям, в кольчуге, и сидел. Айвика стала расстёгивать на нём ремни.

* * *

В лесу были три ночи.

Возвращаться было нельзя: отряд стоял у Анаткасси, и оттуда ездили по дорогам, и по ночам на реке горели огни. Сотник ходил к опушке смотреть, возвращался и говорил: стоят. Ели, что взяли. Корову, которую убили пищалью, разделали на второй день и варили в котлах, и ели, и дети ели, и никто не вспоминал, чья она.

Эрнепи сидела на телеге и молчала.

На второй день телегу пришлось бросить: сотник решил отойти глубже, за ручей, к старым вырубкам, потому что русские конные днём прошли по опушке и видели следы. Тропа за ручьём была для людей, не для телег.

Эрнепи попробовала встать с телеги сама — и не смогла. Ноги не держали совсем.

Анчик подошёл, повернулся к ней спиной и присел.

— *Кинеми* «бабушка», — сказал он. — Садись.

Она посмотрела на его спину. Потом обхватила его за шею, и он подхватил её под колени и встал. Она была лёгкая. Он сказал потом Айвике, что легче мешка с зерном.

Стан она оставила на телеге. Оглянулась на него один раз.

Анчик нёс её весь день. По тропе, через ручей, по вырубкам, между пнями. Айвика шла сзади и видела бабкину руку на плече сына, белую, с синими жилами, и *хуипу*, который покачивался над его головой, и пустое место на нём слева, с обрывками ниток.

На ручье, когда Анчик шёл по камням, Эрнепи сказала:

— Так и тогда несли.

— Когда, *кинеми* «бабушка»?

— Когда из Великого города шли. Старых на спине несли. Мне бабка говорила.

Анчик шёл по камням, осторожно, глядя под ноги.

— Кто тогда жёг, *кинеми*? — спросил он.

— С востока пришли, — сказала Эрнепи.

Анчик перешёл ручей. На том берегу остановился перевести дух.

— А эти откуда? — спросила Эрнепи.

Анчик не ответил. Он поправил её на спине и пошёл дальше, к вырубкам, и Айвика шла за ними и тоже ничего не сказала.

* * *

Вечером второго дня, у костра на вырубке, Эрнепи позвала сына.

Сотник сел рядом с ней на хвою. Она лежала на рогоже, укрытая Анчиковой шубой, которую Айвика вынула из сундука вместе с листом и не положила обратно.

— Ты там спросил? — сказала Эрнепи.

— Что?

— Про Великий город. В Москве. Я тебе говорила — спроси.

Айвика сидела по ту сторону костра и видела лицо мужа. Он помолчал.

Айвика знала, что он не спрашивал. Он сам ей сказал, в первую ночь, как вернулся: «Не спросил. Не знал, как сказать». Сказал и отвернулся к стене.

— Спросил, — сказал сотник.

— И что?

— Сказали — знают.

Эрнепи полежала молча.

— Знают, — сказала она. — Ну вот. Значит, написано.

Она закрыла глаза. Сотник посидел рядом, потом встал и отошёл от огня в темноту, и Айвика не пошла за ним.

* * *

На третью ночь Эрнепи не проснулась.

Айвика поняла это утром, до света, когда встала будить остальных. Она подошла к рогоже, где спала свекровь, наклонилась поправить шубу — шуба сползла с плеча — и тронула её руку.

Рука была холодная. Не так, как холодеет рука у спящего ночью в лесу. По-другому.

Айвика постояла на коленях. Потом наклонилась и закрыла Эрнепи глаза — они были приоткрыты, чуть-чуть, и в них ничего не было. Поправила на ней *хуипу*, который съехал набок. Подоткнула шубу.

Потом встала и пошла будить остальных. Потому что надо было вставать, и кормить детей, и поить скот, и решать, возвращаться ли, — и всё это надо было делать, пока светло.

Мужа она разбудила последним. Тронула за плечо. Он открыл глаза и посмотрел на неё, и она ничего не сказала, и он понял по тому, как она не сказала, и встал.

* * *

Вернулись на четвёртый день, когда отряд ушёл за *Сёве* «Свиягу».

Сотник пошёл первым, посмотреть. Вернулся и сказал, сколько. Айвика потом ходила по селу сама и считала сама, по-своему, по дворам, и у неё вышло так же.

В *Ѕӑлкуҫ* сгорело семнадцать дворов. *Латшым* «семнадцать». Из пятидесяти восьми. Все с нижнего конца, у дороги, у брода: бондарев двор, двор вдовы Элмена, ещё пятнадцать. Выше огонь не пошёл. Их двор стоял цел — изба, амбар, новый тын. Только сарая не было, его не было и до того.

Анаткасси стояла целая: там отряд три дня стоял сам, а где стоят, там не жгут. Часть скота, что не успели угнать в лес, увели. Рожь у дороги была вытоптана — вся полоса, где жали в тот день, суслоны разметаны, снопы втоптаны в землю копытами. Айвика прошла по полосе, подобрала один сноп, растрёпанный, пустой — колос выбило, — и положила обратно.

А дальше поле, за оврагом, стояло целое. Туда никто не ходил. Рожь стояла ровная, жёлтая, под ветром, и никто по ней не проехал.

Эрнепи похоронили на *масаре* «кладбище» на следующий день.

Амак назвал её. Долго, всю: чья дочь, откуда мать, из какого рода, за кого отдана, сколько лет прожила в этом дворе, кого родила. Айвика стояла и слушала, и считала годы вместе с ним, и у неё вышло пятьдесят два года в этом дворе — на двадцать семь больше, чем у неё самой.

Хуипус Эрнепи сняли перед тем, как опустить. Так велел Амак: шапку — внучке. Сотниковой дочери, которая стояла тут же, простоволосая, с мальчиком на руках, в разорванном платье. Айвика сама надела шапку ей на голову. Шапка была велика и сидела низко. На ней слева было пустое место, и два обрывка нитки, и Айвика видела их у дочери над ухом.

Столба не ставили. Столбы ставят в *юна* «месяц столбов».

* * *

Вечером, когда все легли, Айвика взяла горшок.

Он стоял на лавке у двери, куда она его поставила, когда вернулись, — всё ещё обвязанный тряпкой, с листом внутри. Она развязала узел, сняла крышку и заглянула. Потом вынула лист, развернула — чуть-чуть, край, — поднесла к лучине.

Бумага была сухая. Целая. Печать на шнурке — целая, красная. Ни гари, ни сырости, ни мышей.

Она свернула лист обратно и положила в горшок. Закрыла крышкой. Обвязала тряпкой, крест-накрест, и затянула узел — туго, как затягивала на семенах.

Сундук стоял у стены открытый. Она постояла над ним. Потом закрыла его, а горшок поставила в угол, за печь, на земляной пол, туда, где стояли горшки с семенным зерном на будущий год.

Глава 19. Стол на Суре

Ахплат. Ъӓлкӹс; город на Сёве; берег Сӓр, конец июля — начало августа 1552 года

Стан матери Ахплат привёз из леса на третий день после похорон.

Телега стояла там, где её бросили, у ручья, на краю вырубки, с оглоблями в траве. Сено на ней отсырело и почернело. Стан лежал на сене, разобранный, связанный лыком, как его связала Айвика, и на нём сидела сорока. Сорока улетела, когда он подошёл.

Он развязал лыко, осмотрел каждую часть — навой, бёрдо, подножки, раму. Бёрдо разбухло от дождя. Одна подножка треснула вдоль. Остальное было цело. Он сложил всё на плечо и понёс, и нёс до дому полдня, потому что стан был тяжёлый, а оставить телегу с лошадыю у ручья, чтобы вернуться с ней, он не захотел. Лошадь он вёл в поводу пустую.

Дома он собрал стан у окна, на том месте, где тот стоял пятьдесят лет. Заменял подножку — выстрогал новую из берёзы. Бёрдо положил сушиться на печь. Натянул основу, какая была, — ту, что мать не доткала, с узором, который он не знал, как называется.

Айвика смотрела от печи. Потом подошла, провела пальцами по основе, по нитям, — все ли целы, — и отошла.

Ткать за этим станом никто не стал. Он стоял у окна, собранный, с основой, и когда Ахплат проходил мимо, он иногда трогал рукой раму, проверяя, не шатается ли.

* * *

Нижний конец Ъӓлкӹс«Родника» отстраивали всем селом.

Семнадцать дворов. Он посчитал, сколько нужно брёвен, если ставить хоть по одной избе на двор, без сараев и клетей, — вышло столько, что лесу за рекой не хватит до зимы. Решили так: сначала крыши. Где сруб устоял — а у многих обгорели только верхние венцы и кровля, — там крыть. Где не устоял — ставить шалаш, а сруб рубить к осени.

Ахплат крыл с мужиками вдовый двор, Элменов. Вдова была молодая, и ей помогали все, и она этого стыдилась и всё время что-нибудь носила — воду, лыко, дранку, — чтобы не стоять. Её свекровь сидела на бревне и смотрела.

С крыши было видно всё село. Чёрные пятна на нижнем конце. Целый верхний конец. Реку. Дорогу, по которой ушёл отряд. И дальше поле за оврагом — жёлтое, целое, под ветром.

— Его жать пора, — сказал бортник, который крыл рядом. Руки у него были ещё в тряпках, но дранку он подавал.

— Дождём, — сказал Ахплат.

— Когда? Все на крышах.

— Сначала крыши. Потом поле. Потом опять крыши.

Бортник покачал головой и подал дранку.

Вечером того же дня Ахплат сказал Айвике, что поедет в город.

— Зачем?

— Просить.

— Чего?

Он не ответил сразу. Он сидел у стола и смотрел на стан у окна.

— Чтобы больше не жгли, — сказал он.

Айвика ничего не сказала. Она подошла к стене и сняла с гвоздя кольчугу.

* * *

В городе его приняли быстро — быстрее, чем он думал. Будто ждали.

Юшка встретил его у съезжей избы, и повёл не к Третьяку, а дальше, в воеводскую избу, и там за столом сидел не воевода, а дьяк, седой, с тяжёлыми веками, и при нём ещё двое. Ахплат стоял у двери. Юшка переводил.

Ахплат сказал, что пришёл просить. Что его сёла присягали и не изменяли. Что изменила одна деревня, *Хыркасси* «Сосновый конец», тридцать один двор, и Хыркасси сожжена вся, до последнего двора. Что в *Ѕӑлкуҫ* сгорело семнадцать дворов, а *Ѕӑлкуҫ* не изменял. Что у него умерла мать — в лесу, когда уходили. Что он показывал голове отряда бумагу, и голова читал.

Дьяк слушал, не перебивая. Потом сказал что-то, коротко.

— Он говорит — знает, — сказал Юшка. — Про бумагу. Голова доложил.

— И что?

Дьяк сказал ещё. Юшка слушал, кивал и потом переводил не сразу, а подумав, как переводил, когда хотел, чтобы вышло понятно.

— Государь идёт, — сказал Юшка. — С войском. Уже близко — на Суре будет через неделю, может, через десять дней. Вашим велено встречать его на Суре. С хлебом. Всем, кто присягал, — и мурзам, и сотникам. Кто встретит — тем служить. А кто из вашей Хыркасси из лесу выйдет и тоже встретит — тех тоже простят.

— Простят — за что?

Юшка посмотрел на него.

— Ты не спрашивай, за что, — сказал он по-суварски, негромко, не переводя. — Тебе говорят — простят. Бери и неси домой. Пока дают.

Дьяк сказал ещё что-то, и все трое за столом засмеялись. Ахплат спросил, что смешного.

— Он говорит, крымцы были у Тулы, — сказал Юшка. — Государь задержался. Поэтому к вам нынче, а не в июне. Он говорит: вам повезло — у вас на месяц больше было, чтобы успеть и изменить, и покаяться.

Ахплат не засмеялся. Дьяк посмотрел на него, перестал смеяться и махнул рукой: иди.

* * *

На Суру поехали через четыре дня, ещё до рассвета.

Ахплат ехал впереди, в кольчуге, на московском мерине.

Он ехал на нём второй раз: первый — навстречу отряду. До этого мерин стоял в сарае — потом сарая не стало, и мерин стоял под навесом, — и его чистили, и кормили, и выводили, и все три села приходили на него смотреть, а в седле на нём Ахплат без нужды не сидел: жалел. Теперь сел. Мерин шёл ровно, высоко, и земля с него была далеко, дальше, чем с его коня, и Ахплат держал повод правой рукой и чувствовал себя так, будто сидит на крыше.

Кольчуга давила на плечи. Она была тяжёлая на коне иначе, чем стоя: не тянула вниз, а наваливалась, и на каждом шаге мерина кольца звякали, тихо, мелко, и этот звук шёл с ним всю дорогу.

Под этот звук он думал о матери. Не о том, как она умерла, — об этом он не думал, это было сделано и лежало на *масаре* «кладбище», — а о том, что он ей сказал на вырубке. «Спросил. Сказали — знают». Он ничего не спрашивал. В Москве он не знал, как это спросить, и кого, и на каком языке, и потом, на обратной дороге, не вспоминал. А она сказала: «Значит, написано». И закрыла глаза, и больше ни о чём его не спрашивала.

Он думал: теперь, если кто-нибудь когда-нибудь спросит, знают ли там про Великий город, внук скажет — знают, бабка говорила, отец спрашивал. И это будет неправда, которую сказал он. Он думал это и ехал, и звенели кольца, и он не знал, что с этим сделать, и ничего не сделал.

За ним ехал Янтуду — на серой кобыле, в шёлковом кафтане, в лисьей шапке, с двумя своими людьми. За Янтуду — двадцать мужиков из *Ѕӑлкуҫ* и *Анаткасси* «Нижнего конца», кто

верхом, кто на телегах. На телегах был хлеб. Мешки ржаной муки, печёные хлебы в холстине, крупа, мёд в кадках. Всё, что смогли собрать после пожара и не отдать на крыши.

— Ты хорошо сидишь, — сказал Янтуду, поравнявшись. — Как боярин.

— Я сажу как мешок.

— Бояре тоже сидят как мешки, — сказал Янтуду. — Только мешки у них дороже.

К полудню стало жарко. На привале, у ручья, Ахплат слез с мерина и стянул кольчугу через голову — стянуть он мог, это было просто, — и сидел в одной рубахе, мокрой на спине насквозь, и пил воду из ручья пригоршнями.

Когда стали собираться, он взял кольчугу, надел через голову и стал искать ремни. Левая рука не гнулась. Правой он не доставал.

Анчик подошёл, ничего не говоря, и затянул. Сначала один ремень, потом второй. Туго, как затягивала мать.

— Сильнее, — сказал Ахплат.

— Сильнее не надо. Дышать не сможешь.

— Мать сильнее затягивает.

— Мать выше тебя, — сказал Анчик. — Ей сверху видно, где тянуть.

Ахплат не нашёл, что ответить, и полез на мерина. Анчик подставил руки под колено.

* * *

Сура была широкая, мутная, с песчаными отмелями. Ахплат видел её прошлым летом, ниже, у устья, где была русская крепость на горе. Здесь было выше, и берег был пологий, и на нём было городище — старый вал, поросший травой, — и у вала стояли мосты.

Мосты уже стояли.

Два. Через Суру и через протоку рядом. Широкие, из толстых брёвен, на сваях, с настилом, по которому могли пройти две телеги рядом. Новые — брёвна ещё жёлтые, щепы на берегу ещё не потемнели. Кто их строил, Ахплат не знал. Он спросил у русского, который стоял у моста с бердышом. Русский пожал плечами и сказал что-то, из чего Ахплат понял только «велено».

Он постоял у моста. Потрогал сваю. Свая сидела крепко.

Потом пришло войско.

Он не увидел его сразу. Сначала он услышал — гул, долгий, ровный, как бывает, когда весной идёт вода подо льдом, — и почувствовал его ногами, через землю. Потом увидел пыль. Пыль стояла над дальним лесом, за рекой, широко, во весь край неба, и не оседала. Потом из леса стали выходить.

Выходили конные — полками, под знамёнами. Потом пешие, в красном, с пищалями на плечах. Потом телеги. Потом снова конные. Потом пушки на колёсах, каждую тянули шесть или восемь коней. Потом снова телеги, и снова пешие, и снова знамёна. Выходили из леса и шли к мостам, и переходили, и вставали на этом берегу, на лугу, и за ними выходили ещё, и ещё, и луг кончился, и они вставали дальше, в поле, и поля не стало видно.

Ахплат стоял и не считал. Он пробовал. Он начал считать знамёна — сбился на двадцати. Начал считать пушки — сбился, потому что они шли не по одной. Начал считать телеги — и бросил.

— Сколько? — спросил Анчик рядом.

— Не знаю.

— Ты не знаешь?

— Не знаю, — сказал Ахплат.

Анчик посмотрел на него, как смотрят на человека, который сказал, что не знает, где у него левая рука.

* * *

Встречающих поставили у дороги, за мостом, на пригорке.

Там было много людей с Горной стороны. Мурзы — в шёлку, на хороших конях. Сотники,десятники. Мужики с телегами. Ахплат узнавал лица — кого по росписи прошлого лета, кого по Москве. Байдеряка с *Савала* «Цивилия» он не увидел.

Их выстроили. Русский голова в богатом кафтане прошёл вдоль, посмотрел на всех, сказал что-то и ушёл. Потом пришёл другой, с бумагой, и стал выкликать. Читал он громко, нараспев, как читают, чтобы слышали далеко:

— Янтуду-мырза! Бузкей! Кудабердей! С товарищи!

Янтуду выехал вперёд и поклонился, не слезая с кобылы. За ним — двое других мурз, которых Ахплат не знал: один старый, в белом, второй помоложе, с чёрной бородой.

Выкликавший свернул бумагу.

Больше он никого не выкликнул.

Ахплат стоял среди «товарищей». В Москве, прошлым летом, стольник выкликнул его имя через весь стол — «Ахплатко!» — в чужой форме, из росписи, но его. И весь нижний конец смотрел, как он встаёт и принимает хлеб. Теперь было три имени — и «с товарищи». Он был в «с товарищи», вместе с двадцатью своими мужиками, и с сотниками, которых не знал, и со всеми, кто стоял за мурзами на пригорке.

Он подумал, что так, наверно, и должно быть. Всех не выкликнешь.

Он оглядел пригорок. Здесь стояли сувары со всех рек — с *Савала*, с Кубни, с малых речек, что в *Сър* «Суру», — в своих шапках, в своих рубахах, с вышивкой каждый своего села, и говорили каждый своим говором, и у каждого был свой порядок родов, и свой *юмйς* «хранитель имён» дома, и своя переключка. А для того, кто выкликал, они все были «с товарищи». Одно слово. *Чйваш* «чуваши», подумал Ахплат, — и подумал это своим словом, коротким, как сказал его на *кёр сйри* «осеннем пиве». Слово пришлось впору. Он не знал, радоваться этому или нет.

Он всё равно подумал это ещё раз, по дороге домой.

* * *

Русские шли мимо пригорка и смотрели на них.

Ахплат видел, как смотрят. Пешие, в пыли, с пищалями на плечах, поворачивали головы, и на лицах у них было что-то — не злоба и не насмешка. Как будто они видели на пригорке людей, которые радуются, что они пришли. Кто-то махал рукой. Кто-то кричал что-то весёлое.

Сувары стояли, как стояли.

Ахплат не знал, радуется он или нет. Он стоял в кольчуге, на мерине, и смотрел на войско, которое шло мимо, и думал о семнадцати дворах, о Хыркасси, о матери под Анчиковой шубой на вырубке, — и о том, что это войско идёт на *Хусан* «Казань», и что за Хусан, может, больше никто не придёт жечь. Всё это было одновременно. Он не мог сказать, что из этого главное.

Мужик из Анаткасси рядом с ним снял шапку и поклонился проходящим. Русский стрелец в ответ засмеялся и тоже снял шапку. Мужик надел свою обратно и сказал Ахплату, негромко:

— Бороды у них какие. Как у козлов.

— У козлов короче, — сказал Ахплат.

Мужик засмеялся. Русский стрелец, уже прошедший, обернулся на смех и засмеялся тоже, не зная над чем, и помахал им рукой.

Со стороны, наверно, выглядело так, будто они радуются. Может, так и было. Может, нет. Ахплат не знал. Он потом думал об этом много раз и так и не узнал.

* * *

Их позвали есть.

Столов не было — вернее, столы были, длинные, из досок на козлах, но их поставили для мурз и для русских голов, у шатров, в стороне. Для остальных постелили на траве холсты, и на холсты поставили котлы с кашей, и положили хлеб — их хлеб, суварский, который они привезли на телегах. Ахплат узнал его по холстине, в которой он был завёрнут: Айвикина холстина, с синей полосой по краю.

Они сели на траву. Ели.

Потом встал дьяк — не тот, что в городе, другой, молодой, с громким голосом, — развернул бумагу и стал читать, нараспев, поворачиваясь то к мурзам, то к траве, где сидели остальные:

— ...государь вас пожаловал, вины ваши вам отданы, а велено вам на реках мосты мостить и тесные места чистить по дороге...

Юшки рядом не было. Переводил кто-то из людей Янтуду — коротко, тоже нараспев, передразнивая.

— Простили, — сказал он. — И велели мосты.

— Какие мосты?

— На реках. По дороге. От Суры до города. Чтобы войско прошло.

Ахплат положил ложку.

Он сидел на траве, в кольчуге, с ложкой каши, сваренной из чужой крупы, и с куском своего хлеба, и думал: простили. Он не спрашивал за что. Юшка сказал — не спрашивай. Он не спрашивал.

* * *

Государя он увидел один раз.

Это было уже к вечеру, когда ели. Ахплат встал, чтобы размять ноги, и отошёл от холстов к краю пригорка, туда, откуда было видно шатры. Шатров было много, разных цветов, и у одного, самого большого, белого с золотом, толпились люди — так густо, что между ними не было просвета. Бояре в высоких шапках. Воеводы в доспехах. Стрельцы у входа. Кто-то входил, кто-то выходил.

Потом толпа раздвинулась на миг — кто-то вышел, и за ним вышли ещё, — и в просвете, между двумя спинами в парчовых кафтанах, Ахплат увидел его.

Он стоял у входа в шатёр и говорил с кем-то, с воеводой в золочёном шлеме. Высокий. Худой. Молодой. Всё то же, что прошлым летом в палате, — только тогда он сидел неподвижно и смотрел, а теперь стоял и говорил. Борода у него была гуще, чем год назад, — это Ахплат заметил, потому что год назад она была редкая, как у Анчика. Воевода сказал что-то, и государь засмеялся — коротко, откинув голову, как смеются молодые, когда им смешно по-настоящему.

Потом спины сошлись, и просвета не стало.

Ахплат постоял ещё. Просвет не открылся.

Он вернулся к холстам. Анчик спросил, где он был. Он сказал — смотрел.

— На что?

— На шатры, — сказал Ахплат.

Дома он потом скажет Айвике, когда она спросит, видел ли он государя: «Государь был там, где больше всего людей». Больше он ничего не скажет. Он не скажет, что государь смеялся. Он не знал, как это рассказать, чтобы не вышло, будто государь смеялся над ними. Он смеялся не над ними. Он их не видел.

* * *

Обратно ехали через пепелище Хыркасси.

Можно было объехать — дорога шла ниже, у реки, — но Ахплат повернул мерина вверх, к бору, и мужики поехали за ним, не спрашивая.

Хыркасси не было.

Были печи. Тридцать одна печь, чёрные, стояли среди золы на тех местах, где стояли избы, и трубы у некоторых торчали вверх, а у некоторых обвалились. Между печами росла уже крапива. Обгорелые яблони в огородах. Колодезный журавль у двора Сарыя — целый, почему-то не сгоревший, торчал над золой, как палец.

Ахплат остановил мерина у бывших Сарыевых ворот. Ворот не было. Столбы остались — обугленные.

Из бора вышли люди.

Шестеро. Мужики из Хыркасси, в драных рубахах, без шапок, худые, двое с луками, остальные без ничего. Впереди шёл зять.

Он остановился шагах в десяти. Остальные остановились за ним. Ахплат сидел на мерине и смотрел на зятя сверху, и зять смотрел на него снизу.

— Сказали — простят, — сказал зять. — Кто выйдет. Мы слышали. Люди из Анаткасси в лес приходили, сказали.

— Сказали, — сказал Ахплат.

— Простили — так простили, — сказал зять.

Он сказал это не весело и не зло. Как говорят про погоду, которую не выбирают. Ахплат смотрел на него и слышал другой голос — тот, из-за ворот, в темноте: «Правее бейте. Там петля слабее». Зять тоже это помнил. Ахплат видел по тому, как зять держит руки — опущенные, пустые, ладонями назад.

— Сарый где? — спросил Ахплат.

— Ушёл, — сказал зять. — В Арский лес. За *Атйл* «Волгу». К казанским конным. С ним ещё пятеро и *чйксь* «тот, кто режет на молениях».

— А ты?

— А я — к жене, — сказал зять. — Она у вас?

— У нас. С мальчиком. Живы.

Зять кивнул. Потом спросил, не поднимая глаз:

— Бабушка?

Ахплат помолчал.

— В *юпа* «месяц столбов» столб поставим, — сказал он.

Зять опустил голову. Постоял так. Мужики за ним стояли тоже с опущенными головами, и Ахплат понял, что они знают, про какую ночь он думает, и что они тоже были там, у тына, — не все, может, но кто-то. Он не стал спрашивать кто.

— Садитесь на телеги, — сказал он. — Там хлеба осталось.

* * *

Дома Айвика вышла к воротам.

Она увидела зятя на телеге — и дочь выбежала из избы, босая, с мальчиком на руках, и остановилась у ворот, и зять слез с телеги и подошёл к ней, и они стояли друг перед другом и ничего не говорили. Потом мальчик потянулся к отцу руками, и зять взял его. Дочь заплакала — первый раз с того дня, как прибежала из Хыркасси, — и ушла в избу. Зять пошёл за ней, с мальчиком.

Ахплат слез с мерина. Анчик стянул с него кольчугу — стянуть было просто.

— Ну? — сказала Айвика.

— Сказали — простили, — сказал Ахплат. — Сказали — мосты.

— Какие мосты?

— На реках. По дороге, где войско пойдёт. Мостить.

Айвика помолчала.

— Кого простили? — спросила она.

Ахплат не ответил.

Он пошёл под навес, где лежал инструмент. Взял топор — свой, плотницкий, с длинным топорищем, — провёл пальцем по лезвию, проверяя. Лезвие было тупое после крыш. Он сел на чурбак, достал из-за пояса брусок и начал точить.

Айвика постояла у ворот и пошла в избу.

Он точил долго, ровно, с одной стороны и с другой, пробуя лезвие ногтем. Из избы было слышно, как зять говорит что-то дочери, негромко, и как мальчик смеётся. Мерин под навесом жевал сено. Стан у окна стоял с основой, и в сумерках его было видно через раскрытую дверь.

Когда лезвие стало брать ноготь, Ахплат взял второй топор — Анчиков — и стал точить его.

Глава 20. Мосты и гати



Ахплат. Малые реки между Сяр и Сёве, август 1552 года

Сваю били бабой.

Баба была дубовая колода в обхват, с четырьмя ручками, вбитыми по бокам, и поднимали её вчетвером, на верёвках, через перекладину на козлах, и отпускали, и она падала на торец сваи, и свая уходила в речное дно на палец. Потом снова. Раз — поднять, два — отпустить. Мужики считали вслух, и Ахплат считал с ними, стоя по пояс в воде у сваи и держа её, чтобы не повело.

— Сорок один, — сказал бортник наверху, у верёвки.

— Сорок два, — сказал Ахплат.

— Сорок один. Ты один раз два раза сказал.

— Сорок два, — сказал Ахплат. — Ты один раз не поднял.

Бортник подумал и не стал спорить.

На шестидесятом свая перестала уходить. Ахплат потрогал её — стоит. Вылез на берег, мокрый до груди, и пошёл к следующей.

* * *

Истома приехал на третий день после Суры.

Он приехал верхом, с десятью стрельцами на телеге, и Ахплат не сразу узнал его: так он был худ. Кафтан висел на нём, как на жерди. Щёки провалились. Рыжая борода отросла, но росла клочьями, а под ней было видно, что лицо ещё жёлтое. Но сидел он в седле прямо и слез сам, и когда слез, не качнулся.

— Сотник, — сказал Истома по-русски, и Ахплат это понял, это слово он знал.

Истома сказал ещё что-то, длинно. Юшки не было, и переводил Анчик, спотыкаясь:

— Говорит, он теперь над нами голова. Над сотней. Велено ему. Говорит — мосты будем мостить вместе. Говорит — он считать не умеет, а ты умеешь, так что считать будешь ты.

— Скажи — хорошо.

Анчик сказал. Истома кивнул и посмотрел на Ахплата, на его мокрую рубаху, на сваю в реке, на козлы с бабой, — и улыбнулся одной стороной рта, левой, потому что правую, видно, ещё берёт.

— Авика, — сказал он и показал на свой рот. Потом на зубы. Потом ещё что-то.

— Говорит, жена твоя его ягодой кормила, — перевёл Анчик. — Говорит, он её каждый день вспоминает, когда жуёт.

— Скажи ему — сосну пусть пьёт, — сказал Ахплат. — Она велела до осени.

Анчик сказал. Истома засмеялся и закашлялся.

* * *

Сотню Истома велел выстроить наутро, у первого моста, и назвать.

Ахплат выстроил. Не рядом — рядом сувары не строились, — а кучками, по десяткам, как стояли на перекличке. Десяток за десятком. По пять человек от каждого, кого десятники дали: самых крепких, кому не на жатву, у кого дома есть ещё руки. Сорок. И шестеро с краю, отдельно, из *Хыркасси* «Соснового конца»: зять и пятеро, те, что вышли из бора.

Истома ходил вдоль с писарем — молодым, из стрельцов, который умел писать, — и смотрел на Ахплата. Ахплат называл.

Он называл так, как называл бы Амак: двор, чей, кто. Кашманов сын с отцовским луком. Уйпулат, который с Арского поля ступал на одну ногу короче. Ильмук с *Ѓӑлкуҫ* «Родника». Бортник, сосед по меже, с руками ещё в розовых пятнах от ожогов. Ильпек, сын кузнеца из *Анаткасси* «Нижнего конца», восемнадцатый год, тот самый, что кричал через костёр на *кёр сӑри* «осеннем пиве». Десятник из Анаткасси. Ахтупай, один из двоих, кого вернули из девяти, — после монастырских работ он так и не стал говорить больше, чем надо, и топором работал молча и лучше всех. Анчик.

Писарь писал. Ахплат слышал, что писарь пишет не то, что он говорит: имена выходили короче, и без дворов, и без отцов. «Уйпулат». «Ильмук». «Ильпек». Писарь писал имя и ставил палочку.

Дошли до шестерых из Хыркасси.

— Этих? — спросил Истома. Анчик перевёл.

— Этих тоже, — сказал Ахплат. — Хыркасси.

Писарь спросил что-то Истома, негромко. Истома ответил коротко. Анчик не перевёл. Ахплат посмотрел на него.

— Он спросил, те ли это, которые изменили, — сказал Анчик. — Истома сказал: теперь не те.

Ахплат назвал шестерых. Зятья — последним. Своим зятем, мужем дочери, младшим братом Сарыя из Хыркасси. Писарь написал имя и поставил палочку.

— Сорок шесть, — сказал Истома по-русски и показал на пальцах. Четыре, потом шесть.

— Сорок шесть, — сказал Ахплат по-суварски.

Они посмотрели друг на друга, и Истома кивнул, и Ахплат понял, что считать дальше будет он.

* * *

Работа была такая, какую он знал, только больше.

Мост — это сваи, насадки, прогоны, настил. Сваи — из дуба или из сосны, смотря что ближе. Бить бабой, пока не станет. На сваи — насадки, поперёк. На насадки — прогоны, вдоль, толстые брёвна, по четыре на пролёт. На прогоны — настил, из половинок, плоской стороной вверх, плотно, чтобы копыто не провалилось. Всё это он ставил и раньше, через свою речку, — мостик в два пролёта, у Анаткасси, лет пятнадцать назад, и тот мостик стоял до сих пор. Только этот надо было такой, чтобы по нему шла пушка.

Лес валили тут же, на берегу. Сосну — на прогоны и настил, дуб — на сваи. Валили с утра, к полудню обрубали сучья, к вечеру тащили к воде. Лошадей было мало — свои, да казённые у стрельцов, — и больше тащили на себе, на верёвках, по десятку на бревно, раз-два-взяли, как тащат воз из грязи.

Через болото клали гать.

Болото было за вторым мостом — низина в полверсты, с кочками, с чёрной водой между кочками, с осокой в человеческий рост. Дорога шла через него старая, по бродам, по кочкам, для верхового. Для телеги — нет. Для пушки — тем более.

— Гать, — сказал Ахплат Истому и показал руками: брёвна поперёк, хворост, снова брёвна.

Истому не понял слова. Потом увидел, что показывают руки, и понял и повторил по-русски своё слово, и Ахплат не понял его, а понял руки. Они поняли друг друга.

Гать клали три дня. Брёвна — поперёк дороги, одно к одному, комлями то вправо, то влево, чтобы ровнее. На брёвна — хворост, толсто, в локоть. На хворост — снова брёвна, вдоль. На них — земля, какая есть, из-под корней, с песком, лопатами. Брёвна тонули. Клали ещё. Хворост тонул. Клали ещё. Гать шла через болото медленно, как идёт человек по глубокому снегу, и за ней вода подступала к краям и стояла там, чёрная, в пене.

Комары ели так, что к вечеру у всех лица были в крови. Мазались дёгтем. Не помогало. Мазались глиной. Помогало до первого пота.

Руки у Ахплата были в смоле и в крови, и смола присыхала к порезам, и он отдирал её с кожей. Спину он не чувствовал, потом чувствовал так, что не мог разогнуться, потом опять не чувствовал.

Он считал брёвна.

Он не считал людей — людей было сорок шесть, он знал это, это не менялось. Он считал брёвна: сколько свалили, сколько обрубили, сколько протащили, сколько легло в гать, сколько в настил. Числа он резал на бирке вечером, у огня, одну зарубку на десять брёвен, и бирка росла быстрее, чем он думал.

Первый мост — четыре дня. Второй — два. Гать — три. Третий мост, через ручей, в один пролёт, — день.

— Быстро, — сказал Истому, глядя на третий мост. Перевёл Анчик.

— Руки привыкли, — сказал Ахплат.

* * *

По третьему мосту пошли передовые обозы.

Это были ещё не войско, а те, кто впереди войска: телеги с мукой, с овсом, с сухарями; кони в поводу; несколько пушек, малых, на двухколёсных повозках. Они шли весь день, и сувары стояли у моста и смотрели, и Ахплат смотрел, как ложится на настил каждое колесо.

Третью пушку тянули шесть лошадей. Она была тяжелее первых двух — длинная, в железных обручах, — и когда она въехала на середину пролёта, настил под левым колесом хрустнул, и колесо ушло вниз, в пролом, по ступицу, и пушку повело вбок, к краю.

Возница закричал. Лошади рванули. Русские, что шли рядом, закричали тоже и схватились за колесо, и пушка встала — косо, одним колесом в дыре, другим на настиле.

Ахплат был уже там. Он не помнил, как добежал. Лёг на настил, посмотрел в пролом. Половинка под колесом переломилась — сук внутри, не видно было снаружи. Прогон под ней цел.

Русский голова, при пушке, кричал на него. Ахплат не понимал слов. Он понимал, что тот кричит. Анчик подбежал и стал переводить — «говорит, чуваша гнилое кладёте, говорит, пушку государеву утопить хотите», — и Ахплат сказал Анчику, чтобы тот замолчал, и встал.

— Рычаг, — сказал он своим. — Два. И половинку новую.

Пушку подняли рычагами — сувары и русские вместе, по десять человек на рычаг, раз-два-взяли, — и подложили под колесо брёвна, и выкатили на целое. Пушка ушла дальше. Русский голова ушёл за ней, ругаясь, и больше не оглядывался.

Ночью пролом чинили при огне. Ахплат сам выбирал половинку — стучал обухом по каждой, слушал, — и сам клал. Наутро по мосту пошли снова.

Никого не наказали. Ни сувар, ни возницу, ни голову. Ахплат ждал, что приедет кто-нибудь, спросит. Никто не приехал.

— Им некогда, — сказал Истома, когда Ахплат спросил. Анчик перевёл. — Им вперёд надо. Сломалось — починили, пошли. Кто наказывать будет? Кто считать?

— Я считаю, — сказал Ахплат.

Истома засмеялся.

— Вот ты и накажи, — сказал он.

* * *

На четвёртом мосту их ждали.

Четвёртый ставили через речку, у которой в сотне было два названия — у Анаткасси одно, у Хыркасси другое, — а у русских ни одного. Речка была узкая, но глубокая, с обрывистыми берегами, и пойма у неё была болотистая, в ольхе, и мост вышел длинный, в три пролёта. Ставили его пять дней. На пятый вечер положили последнюю половинку настила и сложили у въезда, на своём берегу, штабеля брёвен — остаток, для починки. На ночь остались тут же, у моста, на берегу, у огня.

Туман пришёл перед рассветом.

Он поднялся с реки, белый, густой, и лёг на пойму, на ольху, на мост, так что с одного конца моста не было видно другого. Ахплат проснулся от холода. Встал, пошёл к мосту — посмотреть. Стрелец у въезда сидел, обхватив пищаль, и дремал.

С той стороны, с того берега, в тумане, звякнуло.

Тихо. Как звякает удило, когда конь мотнёт головой.

Ахплат остановился. Стрелец поднял голову.

Потом на том конце моста, в тумане, вспыхнуло — жёлтое, низкое, — и полетело через туман на настил, и упало, и разбилось, и по настилу рассыпались угли, и там, где рассыпались, поднялся огонь. За первым — второй. Третий. Горшки с углями. И за ними — связки бересты, скрученной, смолистой, горящей, — их кидали на настил, и береста трещала, и пламя шло по ней, как по сухой траве.

— Вставай! — закричал Ахплат. — Мост!

* * *

Сотня поднялась так, как поднимаются, когда спали одетые: сразу. Кто-то закричал. Кто-то схватил лук. Стрелец у въезда вскочил и, не раздув фитиля, наставил пищаль в туман, и понял, и стал раздувать.

С того берега, из тумана, полетели стрелы.

Их не было видно — только слышно: шорох в воздухе, и стук, когда стрела втыкалась в бревно, и крик, когда не в бревно. Кто-то рядом с Ахплатом охнул и сел.

— За брёвна! — крикнул Ахплат. — За штабеля! Бить на огни!

Мужики побежали за штабеля. Оттуда было видно огни на том конце моста — и в свете этих огней, в тумане, тени: люди, пешие, у самого въезда на мост, на том берегу. Сколько — не понять. Много. Десять, двадцать, тридцать. И конные позади, в ольхе, — их выдавали кони: храп, звяканье.

Сувары стали бить из-за штабелей. На огни, на тени. Навесом, потом прямо. Анчик был рядом с Ахплатом, за крайним штабелем, и Ахплат видел его лицо в свете горящего моста — злое и весёлое, с оскаленными зубами, такое, какого он у сына никогда не видел. Анчик натягивал, пускал, тянулся к колчану, натягивал.

Истома был уже у въезда. Он стоял в тумане во весь рост, без шапки, с саблей, и кричал своим стрельцам что-то одно и то же, коротко, и стрельцы строились у въезда в ряд, на колено, и раздували фитили, и Ахплат видел, как у одного не раздувается — сырой туман, сырой фитиль, — и как тот дует на него, и руки у него трясутся.

— Пали! — крикнул Истома.

Грохнуло. Белый дым встал над въездом, гуще тумана, и смешался с туманом, и стало не видно совсем ничего — ни моста, ни того берега, ни огней. Потом дым потянуло над водой, и огни проступили снова. На том берегу кто-то кричал.

Настил горел.

Горел на дальнем пролёте, у того берега, где упали первые горшки, и огонь шёл по настилу к середине. Медленно — сырые половинки брались не сразу, — но шёл. Береста трещала. Смола из свежих брёвен закипала и шипела.

Если дойдёт до прогонов — мост сгорит. Пять дней.

— Воду! — крикнул Ахплат. — Вёдра! Песок!

И побежал на мост.

* * *

Он не думал, что бежит. Он думал: пять дней, три пролёта, двенадцать брёвен на прогоны. Он бежал по настилу, с ведром, которое схватил у огня, — ведро было пустое, он черпанул с края моста, из реки, наклонившись, чуть не упал, — и бежал дальше, к огню, и за ним бежал кто-то, он слышал шаги, и не оглядывался.

Стрелы шли с того берега. Сквозь туман, сквозь дым. Одна ударила в перила у его руки. Одна прошла над головой, он слышал, как она прошла. Он был в рубахе, без кольчуги, — кольчуга лежала у огня, он спал без неё, — и он подумал это, и побежал дальше.

Он выплеснул ведро на горящую бересту. Зашипело, пар ударил в лицо. Береста погасла, но под ней настил тлел, и дым шёл из щелей.

— Песок! — крикнул он назад.

Сзади был зять.

Зять бежал с мешком песка на плече — из тех, что держали у моста на случай, — и он добежал, и сбросил мешок, и разорвал его руками, и стал сыпать песок на тлеющие доски, горстями, широко, как сеют. За зятем — Ильмук с ведром. За Ильмуком — ещё двое, с рогожами, мокрыми, и стали бить рогожами по огню.

С того берега, из тумана, кто-то закричал — по-суварски. Ахплат услышал слова: «Вон они! На мосту!» И голос он знал. Не по имени — по говору: так говорили в Хыркасси, чуть в нос.

Зять тоже услышал. Он замер с горстью песка. Потом посмотрел туда, в туман, откуда кричали. Потом бросил песок и взял следующую горсть.

Стрела ударила в настил у ноги Ахплата. Ещё одна — в мешок с песком, и песок потёк из дыры. Ильмук вскрикнул — стрела задела ему плечо, вскользь, разорвала рубаху, — и не выпустил ведра.

С той стороны на мост побежали.

Трое. Из тумана, с того конца, по горящему пролёту, — с факелами и с топорами: добить настил, разрубить, поджечь снова. Ахплат увидел их близко — шагах в двадцати. Молодые. Луговые — по шапкам, по рубахам. Один — впереди — с горшком в руках, с углями, отводит руку, чтобы кинуть.

Сзади, с берега, из-за штабеля, свистнула стрела.

Тот, что с горшком, остановился. Горшок выпал у него из рук и разбился у его ног, и угли рассыпались по мокрому, по песку, и зашипели. Он постоял. Потом сел на настил, медленно, и завалился набок, к перилам.

Двое других остановились над ним. Потом схватили его под руки и поволокли назад, в туман, на тот берег.

Ахплат обернулся.

У крайнего штабеля стоял Анчик. Лук у него был опущен. Он стоял во весь рост, не прячась, и смотрел на мост, туда, где только что был тот, с горшком.

— За Великий город! — закричал Анчик.

Он закричал это хрипло, сорванным голосом, во всё горло, и крик пошёл над рекой, над туманом, и отдался от того берега.

Рядом с ним, за штабелем, Кашманов сын, немолодой мужик, лет пятидесяти, опустил свой лук и посмотрел на Анчика долго, странно, как смотрят на того, кто заговорил во сне.

— Какой город? — сказал он. — Мост это.

* * *

Потом с дороги, из-за поймы, ударил рог.

Русский. Долгий, низкий, — и за ним топот. Много коней. На выстрелы шёл русский конный дозор — тот, что ходил по дороге перед войском, — и шёл быстро.

На том берегу это слышали тоже. Там закричали, коротко, и затопали, и в тумане захрипели кони, и треск пошёл по ольхе — уходили. Стрелы с того берега перестали. Ещё одна, последняя, прилетела и ушла в воду.

Потом стало тихо. Только настил шипел под песком, и дымился, и где-то на берегу стонал человек.

Русские конные вылетели из тумана к въезду, человек тридцать, в тегилях, с саблями, и старший спросил что-то у Истома, и Истома показал на тот берег, и конные поскакали по мосту — по мосту, по его мосту, по песку, по мокрым доскам — и ушли в туман на ту сторону. Погнались. Вернулись через час, ни с чем. Туман к тому времени поднялся.

Ахплат стоял на мосту и считал.

Настил на дальнем пролёте прогорел в трёх местах — дыры в две-три половинки. Прогонны — целы. Обгорели сверху, почернели, но целы. Он лёг, постучал обухом — звенят. Целы.

Своих ранено двое. Мужик из Анаткасси — стрела в бедро, у штабеля, в самом начале; Айвики нет, перевязывали сами, стрелец помогал — у стрельцов был свой лекарь, но он был при войске, а не здесь. И Ильмук — плечо, вскользь, — он сам себе завязал рубахой и сказал, что пустое. Убитых нет.

На том конце моста, у въезда, на досках, осталось тёмное пятно, где сидел тот, с горшком. Его унесли свои. Больше ничего не осталось. Разбитый горшок. Черепки. Угли.

К вечеру дыры заделали. Ахплат сам выбирал половинки, стучал обухом, слушал. Сам клал.

* * *

Анчик весь тот день работал плохо.

Ахплат видел. Анчик забивал нагель в прогон — деревянный гвоздь, в дыру, обухом, — и не попадал. Бил по краю, по дереву рядом, по своим пальцам. Один раз попал себе по большому пальцу, и палец почернел, и Анчик замотал его тряпкой и стал бить снова, и снова не попадал.

Ахплат подошёл, взял у него обух и забил нагель сам, в три удара. Отдал обух.

— Следующий, — сказал он.

Анчик взял обух. Посмотрел на отца.

— Я в него попал, — сказал он.

— Видел.

— Я хотел попасть. — Анчик смотрел на обух в руке. — В муромском лесу я не хотел. Там было темно, и я не знал. А тут я видел его. Он горшок держал. Я целился. Я хотел.

— Он мост жёг.

— Я знаю, что он жёг. — Анчик помолчал. — Я кричал про Великий город. Я не знаю, зачем я кричал. Кашманов сын говорит — мост это. Мост.

Ахплат ничего не сказал. Он положил руку сыну на плечо — левую, которая плохо гнулась, — и подержал. Потом убрал.

— Следующий нагель, — сказал он.

Анчик забил следующий. С третьего удара. Потом следующий — со второго.

* * *

Через два дня, когда ставили пятый мост, из города приехал конный.

Он привёз бумагу Истому. Истома прочитал, потом позвал Ахплата и Анчика и сказал — Анчик переводил сам себе, запинаясь, — что из города велют прислать человека. Который знает Арское поле, где было прошлым летом. И который говорит по-казански. В разъезд, на ту сторону *Атӑл* «Волги», к *Хусан* «Казани», — посмотреть дороги перед войском.

— Анчик, — сказал Истома. И показал на Анчика пальцем.

Ахплат посмотрел на сына. Анчик смотрел на Истому.

— Ты хочешь? — спросил Ахплат.

Анчик подумал.

— Я знаю поле, — сказал он.

Ахплат кивнул.

Наутро Анчик уехал с конным в город. Ахплат смотрел ему вслед с берега, пока конские хвосты не скрылись в ольхе. Потом повернулся к пятому мосту. Сваю надо было бить.

* * *

Пятый мост поставили за день — последний, самый малый, в один пролёт через ручей. Всего пять мостов и гать. Больше двух недель.

А потом пошло войско.

Оно шло по их мостам — по всем пяти и по гати — два дня. Ахплат стоял у четвёртого, у своего, длинного, с чёрными прогонами, и смотрел. Конные — полками, под знамёнами, — и копыта били в настил так, что настил гудел, как бубен. Пешие — стрельцы, в красном, с пищалями на плечах, с бердышами. Телеги. Пушки — большие, в железных обручах, по

восемь, по десять лошадей, — и под каждой настил прогибался, и Ахплат смотрел на прогиб и считал про себя, сколько ещё выдержит, и настил выдерживал.

Говорили, государь с этим полком. Ахплат его не видел. Он стоял у сваи.

Он начал считать телеги. Считал долго — до трёхсот. Потом сбился, потому что две пошли рядом, и одна свернула, и он не понял, считал он её или нет. Начал снова. Сбился на ста. Начал снова.

— Не считай, — сказал Истома рядом. Он тоже стоял и смотрел, и Ахплат понял его без Анчика — по руке, которая легла на плечо, и по тому, как Истома покачал головой.

Ахплат перестал считать. Стоял и смотрел.

Два дня.

На второй вечер ушёл последний обоз — телеги с сеном, с дровами, с котлами, и за ними двое конных, которые оглядывались, не отстал ли кто. Мост опустел. На настиле лежал конский навоз, солома, чья-то потерянная рукавица. Над рекой висела пыль, и её медленно сносило к ольхе.

Ахплат вышел на мост.

Он прошёл его до того конца — три пролёта, сорок шагов. Остановился. Потопал ногой — сначала левой, потом правой, — по настилу, по тем половинкам, которые клал сам, после огня. Настил не шевельнулся.

Он повернулся и прошёл обратно. На середине снова топнул.

Держит.

Он сошёл на свой берег, взял топор, закинул на плечо и пошёл к огню, где мужики уже сворачивали рогожи — домой. Пять мостов, гать. Брёвна — по счёту. Сорок шесть на бирке.

Одна зарубка из сорока шести была на той стороне Атъл.

Глава 21. Арское поле

Анчик. Город на Сёве; Атӑл; Арское поле, август 1552 года

Атамана звали Семейка, и он был ниже Анчика на голову.

Он сидел на перевёрнутой бочке у коновязи, за стеной города, среди шатров, и ел огурец. Огурец был жёлтый, переросший, и Семейка ел его вместе с кожурой, хрустя, и смотрел на Анчика снизу вверх, прищулив один глаз. Ноги у него были кривые, как бывают у тех, кто с малолетства на коне, и сапоги — красные, стоптанные, с загнутыми носами, казанской работы.

— Этот? — спросил Семейка конного, который привёз Анчика с мостов.

Конный сказал, что этот.

Семейка доел огурец, вытер руки о штаны и сказал что-то Анчику по-русски, быстро. Анчик понял два слова: «поле» и «знаешь».

— Знаю, — сказал Анчик по-русски.

Семейка перешёл на казанский. Говорил он плохо, с русским выговором, путая слова, но понятно.

— Арское поле знаешь? Где вы прошлым летом бегали?

— Знаю.

— По-казански понимаешь?

— Понимаю.

— А говоришь?

— Говорю лучше тебя, — сказал Анчик.

Семейка посмотрел на него и захохотал, и хлопнул себя по коленям, и казаки у коновязи тоже засмеялись, хотя не поняли, над чем.

— Годится, — сказал Семейка по-русски. — Ночью идём.

* * *

Город был не тот, что весной, когда Анчик возил с матерью ягоду.

Весной он был пустой, серый и больной. Теперь он был набит так, что между шатрами нельзя было пройти, не наступив на чью-нибудь руку. Шатры стояли за стенами, на лугу, на склонах горы, до самой воды, — белые, серые, пёстрые, — и между ними кони, телеги, пушки, котлы, костры, люди. Люди в кафтанах, в тегиляях, в кольчугах, в красных стрелецких шапках, в меховых шапках, без шапок. Говорили по-русски, и по-казански, и по-мордовски, и ещё на каких-то языках, которых Анчик не знал. Пахло дымом, конским потом, кашей, навозом и сырой кожей. Войско подходило к городу уже неделю, по частям, и всё подходило, и конца ему не было.

Анчик шёл за конным к коновязи и смотрел по сторонам и думал, что эти люди пройдут по отцовым мостам. По тем, которые он бил бабой.

Казаков у Семейки было тридцать.

Анчик пересчитал их у коновязи, когда стемнело и они стали седлать. Тридцать и Семейка. Лёгкие, без железа, в кафтанах и в шапках, с саблями, с луками в налучах, двое с пищалями, короткими, в чехлах. У многих по два коня: один под седлом, другой в поводу. Кони — низкие, мохнатые, выносливые, степные, не такие, как отцов московский мерин.

У Анчика был свой конь — пегий, пятилетний, из дому, которого он сам выездил. Семейка посмотрел на пегого, обошёл кругом, потрогал бабки.

— Не резвый, — сказал он.

— Зато не устаёт.

— Нам не надо, чтоб не уставал. Нам надо, чтоб уносил, — сказал Семейка. — Ну, какой есть.

Задачу он объяснил коротко, у огня, палкой на земле, как объясняют детям. Вот река. Вот тот берег. Вот поле. Вот город. Ночью — через реку. На рассвете — на поле. Посмотреть дороги: где казанские стоят, где ходят, где копают. Взять одного — живого, чтобы говорил. И назад. Не драться.

— Не драться, — повторил Семейка и посмотрел на Анчика. — Ты понял? Мы не воевать идём. Мы смотреть идём.

— Понял.

— Вот и хорошо. — Семейка бросил палку в огонь. — А если начнётся — держись за мной и не лезь.

* * *

Переправлялись ночью, без огня.

Лодки были большие, плоскодонные, по шесть человек в каждой, и кони плыли за лодками в поводу. Анчик держал пегого за повод, перегнувшись через борт, и пегий плыл, фыркавая, вытянув шею, и в темноте было видно только его голову над чёрной водой и белые глаза.

Атёл «Волга» была широкая. Прошлым летом, когда плыли на Арское поле первый раз, он этого не заметил: было не до того. Теперь заметил. Она была шире, чем казалась с берега, и течение сносило лодку вбок, и гребцы гребли молча, долго, и Анчик считал гребки — дошёл до трёхсот и перестал.

Луговая сторона. Материн берег.

Он думал об этом и в прошлый раз, в прошлом июне. Тогда он думал про дядю — материнского брата, который где-то там, вверх по реке. Анчик его почти не помнил. Помнил свистульку из липы, которую дядя привёз ему однажды зимой, когда Анчику было лет десять, — свистулька свистела тонко, как птица, и мать смеялась, а потом свистулька потерялась. Лица дяди он не помнил. Помнил, что тот был высокий, как мать.

Теперь он думал про дядю снова — и перестал, потому что лодка ткнулась носом в песок.

* * *

К рассвету вышли на край леса, на опушку, откуда было видно поле.

Анчик узнал его сразу.

Та же ширь, ровная, с кустами по оврагам. Та же дорога через неё — к городу, к воротам. Тот же город на горе, стены из дубовых срубов, башни, и над стенами — верхушки мечетей, тонкие, как веретёна. Всё то же. Только посадка перед стеной не было. Посад сгорел — не в этом году, в прошлом, ещё до Арского поля, когда русские на лодках сходили и пожгли, — и не отстроился, и на его месте было чёрное, и печи, и трава.

И вокруг города, перед стеной, — ров.

Свежий. Рыжая земля, выброшенная наверх валом, и за валом частокол — новый, из светлых кольев, ещё не потемневших. И люди. Много людей, маленьких отсюда, как муравьи, — копали, таскали землю в корзинах, ставили колья. Их было видно по движению: вверх-вниз, вверх-вниз, лопаты, корзины.

— Черемису согнали, — сказал казак рядом с Анчиком. Анчик понял «черемиса». — Хан согнал. Копать.

Анчик смотрел на маленьких людей у рва.

Луговые. Мать была луговая. Те, кто копал, были с того берега, где материна деревня, где дядя. Он смотрел и не думал об этом. Он думал: сколько их, и сколько до рва, и где дорога, и где стоят казанские конные. Это была задача. Семейка велел смотреть. Он смотрел.

Он не знал, что среди тех, кто копал, был его дядя. Он узнает это не скоро — и не наверняка — и никогда не увидит его лица.

Потом он посмотрел туда, где у тына, прошлым летом, лежал Тимеш.

Тына там не было — сгорел с посадом. Было чёрное место. Трава. Анчик нашёл место по дороге: дорога шла там же, поворачивала там же. Где-то там, слева от поворота, у тына, Тимеш упал, когда земля прыгнула. И Урга побежал назад. И отец бежал впереди, в шубе, с луком в руке, и Анчик видел его спину.

Он смотрел на это место, и у него пересохло во рту, как тогда. Он не заметил, что сжал повод так, что пегий мотнул головой.

— Ты что? — спросил Семейка.

— Ничего.

— Бегал тут?

— Бегал.

Семейка кивнул и больше не спрашивал.

* * *

Дозор они нашли у дороги, у оврага, на полпути от леса к городу.

Пятеро конных. Казанские — по шапкам, по сёдлам с высокими луками. Стояли у куста, спешившись, держали коней в поводу, двое сидели на земле, один мочился в овраг. Утро было тихое, росистое, и они, видно, стояли тут с ночи и устали.

Семейка поднял руку. Казаки остановились в кустах, у края оврага.

Семейка показал: половина — туда, в обход, по оврагу. Половина — с ним, прямо. Анчик — с ним.

Анчик кивнул. Во рту было сухо. Он потрогал колчан — стрелы там, двадцать восемь, Кашмановы, — и снял лук с плеча, и наложил стрелу, и понял, что руки у него не трясутся. Он удивился.

Семейка махнул.

Они вылетели из кустов разом, пятнадцать коней, и пошли на дозор в карьер, и земля загудела. Казанские вскочили. Тот, у оврага, обернулся с раскрытым ртом. Двое бросились к коням. Один успел вскочить и погнал к городу, пригибаясь к гриве. Второму не успел — казаки из оврага вылетели ему навстречу, и он повернул коня, и конь встал на дыбы.

Анчик не стрелял. Не в кого было: всё было слишком быстро. Он видел, как Семейка налетел на того, что у оврага, — пешего, с раскрытым ртом, — и сбил его конём, и соскочил, и сел ему на спину, и заломил руки. Как двое казаков сдёрули с коня того, что встал на дыбы, и скрутили. Как оставшиеся двое казанских побежали пешими по оврагу, бросив коней, и казаки не погнались.

Всё кончилось за время, пока Анчик успел бы досчитать до тридцати.

— Двоих взяли, — сказал казак рядом. — Лишний.

Семейка поднялся с пленного. Пленный был молодой, безусый, в стёганом кафтане, с ободранной щекой, и смотрел на казаков, и губы у него тряслись.

— Спроси его, кто таков, — сказал Семейка Анчику.

Анчик слез с коня. Подошёл. Пленный поднял на него глаза и увидел — не казака, а кого-то другого, в суварской рубашке, в войлочной шапке, — и в глазах у него что-то переменялось. Он не понял, кто это.

— Ты кто? — спросил пленный. Спросил первым, хотя спрашивать было не ему.

— *Чуаш* «чуваши», — сказал Анчик.

Он сказал это по-казански, коротко, как сказал бы Юшка, и сам удивился, как легко вышло. Пленный посмотрел на него и ничего не понял, кроме слова.

— А ты кто? — спросил Анчик по-казански.

Пленный ответил. Он ответил длинно, быстро, задыхаясь, как отвечают, когда спрашивают по-своему: имя, чей сын, из какой деревни, какого бека люди, где деревня — за Арском, у речки, три дня как пришли к городу, стоят в дозоре...

— Что говорит? — спросил Семейка.

— Казанский, — сказал Анчик. — Конный. Из дозора. Из-под Арска.

Семейка кивнул, довольный.

Анчик постоял над пленным. Он подумал, что пленный сказал ему гораздо больше, и что он всё это понял, и что сказал Семейке пять слов, — и что Семейке больше и не надо. Он подумал это и не понял, почему подумал, и отошёл к пегому.

* * *

Из леса они вышли, когда казаки уже садились.

Анчик слышал раньше, чем увидел, — топот, со стороны опушки, справа, не с той, откуда пришли. Много коней. И крик — высокий, протяжный, не казанский. Луговой.

Он обернулся. Из леса, из-за края опушки, на поле выходили конные. Десять, двадцать, ещё. Не так, как ходят казанские, лавой, а кучами, россыпью, на низких лохматых конях, в серых шапках, с луками, с копьями. Выходили и сразу разворачивались к ним — к дороге, к оврагу.

— Луговые! — крикнул кто-то. — Япанчины!

— По коням! — крикнул Семейка. — Пленных на седло! Уходим!

Пленных перекинули через сёдла, как мешки. Казаки вскочили на коней. Анчик вскочил на пегого.

И пошла погоня.

* * *

Он потом не мог вспомнить её по порядку. Помнил куски.

Помнил, как пегий шёл тяжело, не так, как степные казачьи кони, и как Анчик бил его пятками и кричал на него, и пегий старался и не мог быстрее, и казаки уходили вперёд, а он отставал.

Помнил стрелу, которая прошла у самого уха, — он услышал её, как слышат шмеля, — и вторую, которая воткнулась в землю впереди пегого, и пегий шарахнулся от неё.

Помнил, как обернулся в седле и выстрелил назад, не целясь, туда, где были луговые, — и не видел, куда ушла стрела.

Помнил, как казак, скакавший впереди, — молодой, с рыжим чубом из-под шапки, — вдруг выпрямился в седле, как будто его окликнули, и потом стал заваливаться вбок, медленно, и упал, и конь его поскакал дальше без него, с пустым седлом, со стремянами, которые бились о бока.

Анчик проскакал мимо. Он видел, что там лежит, в траве. Не остановился. Не мог.

Помнил, как земля ударила снизу.

Пегий упал. Сразу, на полном скаку, передними ногами, — как будто провалился, — и Анчик перелетел через его голову и ударился о землю плечом, спиной, головой, и небо перевернулось, и снова перевернулось, и он лежал на спине и смотрел вверх, и не мог вздохнуть.

Потом смог.

Он поднялся на колени. Пегий лежал рядом. В шее у него, у самой гривы, торчала стрела, а ещё одна — в боку. Пегий бил ногами по траве и хрипел, и глаз у него был белый, и смотрел на Анчика.

Анчик не мог его бросить и не мог остаться. Он встал.

Лук был в руке. Он не выпустил лук, когда летел. Он не знал, как это вышло.

Казачи были далеко впереди, у края поля, у леса, где лодки. Луговые — позади и сбоку, и они приближались.

Анчик побежал.

* * *

Он бежал по полю, по росе, по высокой траве, и ноги у него не шли — гнулись, как тряпочные. Он бежал так, как бежал год назад по этому же полю, к лодкам, под пушками, — только тогда впереди была отцова спина, а теперь впереди не было никого. Он слышал за собой топот. Один конь. Близко.

Он обернулся.

На него скакал конный. Один. Отделился от остальных, скакал прямо на Анчика, низко пригнувшись, с копьём наперевес. Серый конь. Серая шапка. Лицо под шапкой — тёмное от солнца, с усами.

Анчик остановился. Бежать было бесполезно. Он поднял лук, потянулся к колчану — и понял, что колчан пустой: стрелы высыпались, когда он падал. Одна осталась. Одна. Он наложил её. Натянул.

Конный был в двадцати шагах. В пятнадцати. Копьё смотрело Анчику в грудь.

Анчик увидел лицо.

Сломанный зуб. Рот открыт — конный кричал что-то на скаку, и зуб был виден, передний, отколотый наискось.

Сарый.

Сарый увидел его тоже. Анчик понял это по тому, как изменилось лицо — не сразу, а за один конский скок, — как рот закрылся, и глаза стали другие, и копьё дрогнуло.

Копьё опустилось.

Сарый опустил его — остриём в землю, в траву, — и рванул повод, и серый конь, всхрапнув, развернулся на задних ногах, в трёх шагах от Анчика, так близко, что Анчика обдало конским потом и землёй из-под копыт. И Сарый поскакал в сторону, к лесу, не оглядываясь, пригнувшись к гриве, и копьё волочилося за ним по траве.

Анчик стоял с натянутым луком. Стрела смотрела в спину Сарыя.

Он не выстрелил.

Он стоял и держал тетиву, и рука у него начала дрожать от натяжения, и тогда он опустил лук.

* * *

Сзади свистнули — по-русски, в два пальца.

Анчик обернулся. К нему скакал казак — тот, что вёл в поводу запасного коня, — и за ним, на поводу, бежал конь с пустым седлом. Рыжий. Тот самый, чей хозяин лежал в траве позади.

— Садись! — крикнул казак. — Живо!

Анчик схватил повод, сунул ногу в стремя, закинул себя в седло — руки не слушались, он чуть не сорвался, — и рыжий пошёл за казачьим конём, сам, как привык ходить в паре.

Они скакали к лесу. Позади кричали луговые, но уже не так близко, и стрелы больше не долетали. У опушки Анчик обернулся. Луговые остановились посреди поля, кучкой. Не гнались. Кто-то из них спешил к у того места, где лежал казак с рыжим чубом.

Серого коня среди них Анчик не увидел.

* * *

У лодок пересчитались.

Двадцать девять казаков. Семейка. Анчик. Двое пленных, связанных, на дне лодки. Один казак — нет. Тот, с рыжим чубом. Его звали Гаврилко, сказал Семейка, и сказал это, не глядя ни на кого, отвязывая лодку.

— А тело? — спросил Анчик.

Семейка посмотрел на него.

— Какое тело, — сказал он по-казански. — Там луговые.

Потом отвернулся и сказал уже по-русски, своим, коротко. Анчик понял: «после». Никто не спорил. Анчик знал, что «после» не будет.

Рыжего коня Гаврилки погрузили на плот и повезли через реку. Анчик держал его за повод. Конь смотрел на тот берег, откуда пришёл, и ржал, негромко, и никто его не одёргивал.

Пегого Анчик не держал. Пегий остался на поле.

— Он живой был, — сказал Анчик Семейке, уже на плоту. — Когда я побежал.

— Кто?

— Конь.

Семейка посмотрел на него, не понимая, потом понял.

— Луговые добьют, — сказал он. — Или себе заберут, если выходят. Или съедят. Хороший конь не пропадёт.

Анчик отвернулся к воде. Он хотел сказать, что у них коня не режут, что его нельзя — ножом, — что пегий пятый год ходил за ним по двору, как собака, и брал хлеб с ладони. Он ничего не сказал. Семейка был казак. У казаков конь — это конь.

Рыжий Гаврилкин тронул его мордой в плечо, и Анчик, не глядя, положил руку ему на шею.

* * *

На берегу *Сёве* «Свияги», у костров, Семейка сел на свою бочку и позвал Анчика.

— Хорошо переводил, — сказал он. — Коротко. Мне так и надо.

— Он длинно говорил.

— Все длинно говорят. Кому надо — тот коротко слушает. — Семейка достал из-за пазухи огурец, откусил, подумал и протянул Анчику половину. — На. Коня тебе дадут. Рыжего бери, Гаврилкиного. Ему теперь не надо.

Анчик взял огурец. Не ел.

— Там один конный был, — сказал Семейка. — На сером. Я видел — он на тебя шёл. А потом повернул. Что это он?

Анчик смотрел на огурец.

— Не знаю, — сказал он.

— Может, узнал кого?

— Не знаю.

Семейка поглядел на него, прищулив один глаз, долго. Потом пожал плечами.

— Ну, повезло, — сказал он. — Бывает.

И ушёл к своим.

Анчик никому не сказал. Ни Семейке, ни отцу, когда увидел его через три дня. Ни зятю — брату Сарыя, мужу сестры, который сыпал песок на мосту, когда с того берега кричали говором *Хыркасси* «Соснового конца». Ни матери. Никому. Он не знал, как это сказать, — «Сарый опустил копьё», — чтобы не вышло, что он хвалит Сарыя, который ушёл к казанцам. Или что он его выдаёт. Или что он сам ничего не сделал, а стоял с одной стрелой. Всё было правдой, и ничего нельзя было сказать.

* * *

Ночью он лежал у костра, на рогоже, и не спал.

Рыжий Гаврилкин конь стоял у коновязи и переступал. Над головой были звёзды, много, и дым от костров стоял над станом, и в дыму звёзды мигали. Где-то пели русские — долгое, тоскливое, одним голосом, потом многими. Где-то смеялись.

Он шевелил губами.

«Горние стороны черемиса, а по их — чуваша, сотник Ахплатко Атнеров с товарищи. Три деревни, сто двенадцать дворов».

Он сказал это про себя целиком, от первого слова до последнего, с теми остановками, которые делал Третьяк. Помнил. Всё помнил. Каждое слово стояло на своём месте, как стоят кольца в тыне.

Потом он подумал про Великий город.

Он думал про него весь этот год. Кричал про него через костёр на *кёр сйри* «осеннем пиве», и с крыши у себя во дворе, и на мосту. Бабка говорила — сожгли. Истома говорил — татары. Анчик складывал это, как складывают бирки: бабкин город, Истомины татары, казанские. Одно.

Он лежал и пробовал сложить снова. Бабкин город. Сожгли. Кто?

С востока, говорила бабка. Истома говорил — татары, которые жгли Рязань. А бабка говорила — как-то их звали, не помню.

Он не мог вспомнить, кто это был. Не мог вспомнить, как говорила бабка — «татары» или «с востока». Не мог вспомнить, говорила ли она вообще «жгли», или «горел», или «вышли». Бабку он помнил: как она сидела у стана и как лежала на вырубке под его шубой. Как говорила — «так и тогда несли». Что несли, откуда, кого, — он не помнил.

Слово было. Великий город. А за словом ничего не было — ни стен, ни людей, ни тех, кто жёг. Как за свистулькой из липы не было дядино лица.

Анчик повернулся на бок. Рыжий у коновязи вздохнул.

«Горние стороны черемиса, а по их — чуваша...» — начал он снова, с начала, потому что это он помнил, и дошёл до конца, и начал снова, и уснул на «с товарищи».

Глава 22. Землекопы

Бахтияр. Казань: ров, острог, дом, июль — начало августа 1552 года

Хлеб на ров возили на двух телегах, и Габдулла взвешивал его прямо на телеге, на ручных весах, по буханке.

Буханка на десяток в день. Так велели в *диване* «ханской канцелярии». Бахтияр посчитал и сказал писцу, что буханки на десяток мало, если они копают от света до света, — писец пожал плечами и сказал, что хлеба в городе столько, сколько есть, а землекопов столько, сколько согнали, и если Бахтияр знает, как одно поделить на другое, чтобы вышло больше, пусть скажет хану. Бахтияр не знал. Он взял доску, *калам* «тростниковое перо», чернильницу, книгу — не свою, казённую, серую, в которой было двести листов и ни одного исписанного, — и пошёл на ров.

Ров копали вокруг посада. Посада не было — он сгорел ещё прошлой весной, когда русские сходили на лодках, и не отстроился, — но место было, и на месте хан велел копать ров и ставить за рвом острог: частокол из брёвен, в два роста, с землёй внутри, чтобы русские, когда придут, сперва упёрлись в него, а уже потом в стену.

Копали луговые.

Их согнали из деревень по левому берегу — с протоков, из лесов, с Кокшаги, с Ветлуги, отовсюду, куда дошли ханские люди, — и пригнали к городу, и поставили на ров. Сколько — Бахтияр не знал. Никто не знал. Их было столько, что ров с одного конца не было видно другого, и везде внизу, в рыжей земле, шевелились спины.

Бахтияр сел на чурбак у телеги, положил доску на колени, раскрыл серую книгу.

Бисмиллаһ «Во имя Аллаха».

Он был сборщик. Двадцать шесть лет он писал людей — по сёлам, по дворам, по именам. Теперь ему надо было писать землекопов.

* * *

Первый десяток он написал по именам.

Старший десятка подошёл к телеге за хлебом, и Бахтияр спросил, кто в десятке, и старший стал называть — медленно, коверкая казанский, — и Бахтияр писал: имя, отцово имя, деревня. Десять строк. Он написал и поднял голову, и увидел за старшим следующего старшего, и за ним ещё, и очередь уходила вдоль рва, за поворот, в пыль.

Он посчитал, сколько времени ушло на десять строк. Посчитал, сколько десятков в очереди. Посчитал, сколько часов до темноты.

Второй десяток он написал по деревне. Одна строка: деревня, десяток, сколько человек, одна буханка.

Третий — так же.

К полудню у него было исписано шесть листов, и ни одного имени, кроме первых десяти. Деревни. Десятки. Числа. Он смотрел на лист и думал, что у него в книге сёл, дома, за двадцать шесть лет, нет ни одной строки без имени. Даже когда писал недоимку — писал, с кого. Даже когда писал «сгорел» — писал, чей двор.

А здесь — «с такой-то протоки, четыре десятка, четыре буханки».

Габдулла подавал хлеб. Он брал буханку с телеги, клал на весы, смотрел на стрелку, отдавал. Если буханка была лёгкая — отламывал от следующей и прибавлял. Бахтияр видел и не говорил.

— В диване увидят, — сказал он всё-таки к вечеру.

— В диване хлеб не взвешивают, — сказал Габдулла. — В диване считают буханки.

— Буханок выйдет больше, чем выдали.

— Не выйдет, — сказал Габдулла. — Я от лёгких отламываю к лёгким. Получается — ровно. Весы ровные, я же подпилил.

Бахтияр посмотрел на него. Габдулла не улыбался.

Вечером, когда стемнело и землекопов погнали с рва к кострам за посадом, к телеге подъехал ханский человек, старший над рвом, — ногой, на мохнатом коне, с плетью, заткнутой за пояс. Плеть он не вынимал ни разу, Бахтияр видел, но носил её так, чтобы все видели.

— Сколько? — спросил ногой.

Бахтияр сказал, сколько выдал буханок и на сколько десятков.

— А утром сколько было?

Бахтияр посмотрел в книгу. Утром десятков было на два больше.

— Бежали, — сказал ногой. — Ночью через лес. Каждую ночь бегут. Пиши — бежали. С каких деревень?

Бахтияр нашёл строки. Две деревни, с дальней протоки. В каждой утром было по десятку. Вечером — никого.

Он не написал «бежали». Он написал число, которое было вечером, под числом, которое было утром, и ничего между ними.

— Что пишешь? — спросил ногой.

— Сколько есть, — сказал Бахтияр.

Ногой посмотрел на него, на книгу, которую не умел читать, пожал плечами и уехал. Бахтияр закрыл книгу. Он подумал, что ханский человек завтра доложит про беглых сам, словами, и что слова уйдут, а число в книге останется. Число было верное. Больше он ничего о них не знал.

* * *

На третий день к телеге подошёл высокий луговой.

Он был выше всех в очереди на голову, сухой, жилистый, лет сорока, с длинными руками, и шёл за своим старшим, неся на плече две лопаты — свою и чужую. Старший его десятка назвал деревню: протока, и деревня при ней, и сколько десятков оттуда. Бахтияр записал.

Высокий стоял за старшим и смотрел на книгу.

— Ты сборщик? — спросил он по-казански. Говорил он лучше старшего, чище.

— Был, — сказал Бахтияр.

— С Горной стороны?

Бахтияр поднял голову.

— С Горной.

— У меня сестра там, — сказал высокий. — Замужем. За сотником. На речке, что в Зоя«Свиягу» слева, в двух днях от устья. Может, знаешь.

Бахтияр знал. Он знал все речки, которые в Зоя слева, и все сёла на них, и всех сотников. Их было не так много.

— Какая она? — спросил он.

Высокий подумал.

— Высокая, — сказал он. — Как я. Выше мужа. Муж у неё невысокий, широкий. — Он показал рукой — до своего плеча. — Сотник. Двадцать пять лет как взял. Она у нас в деревне первая была, кто за Волгу пошла.

Бахтияр смотрел на него.

Он видел её в апреле. Высокая луговая жена сотника, выше мужа, стояла в дверях избы и смотрела на Бахтияра перед тем, как закрыть дверь, — долго, ничего не говоря. Он видел её все двадцать пять лет, каждую осень: она выносила мёд вместе с сотником, и ставила кадки на

весы, и считала про себя — губы шевелились, — и Бахтияр однажды понял, что она считает не по-суварски.

Он опустил глаза в книгу.

Написал: «луговые» — и название протоки, по которой жила деревня высокого, — «сорок человек». Одна строка. Четыре буханки.

— Знаешь? — спросил высокий.

— Там много сотников, — сказал Бахтияр.

Высокий кивнул. Он и не ждал, видно. Постоял ещё, опираясь на лопату — на свою, вторую он поставил у телеги. Вторая была соседского парня, который второй день лежал у костров в жару, и высокий копал за двоих, чтобы парню давали буханку, и старший десятка это знал и молчал. Потом посмотрел на ров, на спины, на рыжую землю, на частокол, который рос за рвом, на стену за частоколом.

— Нас что хан, что царь, — сказал он, — землю копать.

Бахтияр посмотрел на свою доску.

— А меня — считать, как вы копаете, — сказал он.

Высокий засмеялся. Коротко, тихо, одними глазами больше, чем ртом. Бахтияр не засмеялся — он не смеялся своим шуткам, — но двинул углом рта, и высокий увидел и засмеялся ещё.

Габдулла подал ему буханку. Высокий взял, взвесил на ладони — по-своему, как взвешивают все, кто получает, — и сунул за пазуху.

— Если увидишь её, — сказал он. — Сестру. Скажи, что я живой.

— Мне туда теперь нельзя, — сказал Бахтияр.

Он сказал это так же, как сказал прошлым летом Урге, во дворе за конюшней: ровно, как говорят о весе. И это и был вес. Перевоз закрыт, на Зоя русский город, по Горной стороне русские разъезды, и Бахтияр в апреле ездил туда в последний раз и вернул себе одну деревню из трёх.

Высокий кивнул. Он не удивился. Он поднял вторую лопату, закинул обе на плечо и пошёл за своим старшим к рву.

Бахтияр посмотрел ему вслед. Спина у него была прямая, несмотря на лопаты.

Имени он не спросил.

* * *

В книге сёл против *Хыркасси* «Соснового конца» стояла тридцать одна строка — те, что он написал в апреле, у Сарыя за столом, при лучине. Под ними — кривая цифра с хвостом, которую он написал в лодке.

В июле, в конце месяца, с того берега пришла весть. Её принёс лодочник с Кабана, которому рассказал кто-то, кому рассказал кто-то. Русские ходили по Горной стороне. Жгли тех, кто отложился. Хыркасси сожгли всю.

Бахтияр в тот вечер открыл книгу.

Он раскрыл её на двадцать шестом годе, на сотне Ахплата, седьмой сверху, на Хыркасси. Посмотрел на тридцать одну строку. Каждая — имя хозяина, сколько рук, что с двора. Против Пайтушева двора — «сын убит».

Он обмакнул калам.

Под тридцатую одну строкой, под кривой цифрой, он написал одно слово: *яндырылды* «сожжено».

Буквы вышли ровные. Он посмотрел на них. Одно слово на тридцать один двор. Раньше он писал «сгорел» против одного двора, если горел один. Теперь написал одно — на всех.

Он подумал, что так, наверно, пишет и тот русский писарь, в городе на Зоя. Одно слово на всех. Он подумал это и закрыл книгу.

* * *

Через два дня к нему пришёл Сарый.

Бахтияр не сразу его узнал. Сарый стоял у ворот его дома, вечером, в драном кафтане, без шапки, с пыльным лицом, и за ним стояли пятеро мужиков из Хыркасси — Бахтияр узнал двоих, — и тяжёлый *чўксё* «тот, кто режет на молениях» с деревянной чашей на поясе. Кони у них были худые, в мыле.

— Сборщик, — сказал Сарый.

— Сарый.

— Хыркасси нет, — сказал Сарый. — Русские сожгли. Всю. Мы ушли.

— Я слышал.

Сарый смотрел на него. Лицо у него было не такое, как в апреле, за столом, — тогда он смеялся и хлопал Бахтияра по плечу. Теперь он не смеялся, и сломанного зуба не было видно.

— Урга где? — спросил Сарый.

Бахтияр молчал.

— Ты сказал — хан отпустит. Ты сказал — вернёмся под хана, и Урга будет дома к жатве. Мы вернулись. Жатва — вон она. — Сарый показал подбородком куда-то за стену, на запад, туда, где за рекой была его сожжённая деревня. — Урга где?

— Я ходил в диван, — сказал Бахтияр.

Это была правда. Он ходил в мае, сразу как вернулся, и потом ещё раз, в июне. Писец дивана выслушал его оба раза и оба раза сказал одно и то же: хан занят. Хан готовит город. Русские идут. Про одного *чуаш* «чуваша», проданного на Арскую сторону, — после. Когда отобьёмся.

— И что? — спросил Сарый.

— Сказали — после.

— После чего?

Бахтияр не ответил.

Сарый постоял. Потом засмеялся — коротко, в нос, без звука почти. Не так, как смеялся раньше.

— Ахплат мне сказал зимой, — сказал Сарый. — «Ты всегда чей-то». Нет, это я ему сказал. Что он всегда чей-то. А я свой. — Он помолчал. — Я теперь тоже чей-то. Твой? Хана? Не знаю.

— Куда ты?

— В Арский лес, — сказал Сарый. — К Япанче. Там конные. Там хоть на коне. Здесь меня тоже рыть поставят.

Он повернул коня. Мужики повернули за ним. Чўксё задержался, посмотрел на Бахтияра, на его ворота, на его дом, — долго, как смотрят, запоминая, — и тоже повернул.

Бахтияр стоял у ворот и смотрел, как они уезжают по улице к Арским воротам. Потом вошёл во двор и закрыл засов.

* * *

Дома ели под навесом, как летом всегда.

Жена поставила похлёбку. Хлеба было меньше, чем весной: лепёшка на всех, и та тонкая. Жена резала её на части ровно, не глядя, и каждому клала его часть, и Бахтияру — не больше и не меньше, чем сыну.

Дочь с детьми приходила теперь редко. Она жила с мужем у его родни, у Ногайских ворот, на другом конце города, и муж её хотел везти семью на Арскую сторону, в лесную деревню к дядьям, — подальше от города, пока русские не пришли. Бахтияр сам ему это советовал. Родня мужа решила иначе: за стеной надёжнее. Остались. Внучка, когда приходила, лезла к деду на колени, как всегда, и Бахтияр держал её и не говорил, что думает про стену.

Теперь под навесом их было трое.

Сын пришёл со стены. Он теперь каждый день был на стене: учил посадских стрелять, стоял в карауле, таскал с другими камни наверх. Руки у него были в ссадинах. Ханскую саблю он по-прежнему не отстёгивал за едой.

— Слышал? — сказал сын.

— Что?

— Твои чуаш царю мосты мостят.

Бахтияр опустил ложку.

— Мне сегодня на стене сказали, — сказал сын. — С того берега перебежал один. Говорит — русское войско идёт от Суры, и вся Горная сторона ему навстречу вышла, с хлебом. И им велели мосты мостить. И они мостят. На всех реках. Чтобы пушки прошли. — Он отломил от своей лепёшки. — Твои. Которых ты двадцать шесть лет писал.

Бахтияр смотрел на сына.

Сын говорил не зло. Он говорил, как говорят то, что думают, и думал он это давно, с прошлого лета, когда Бахтияр вернулся со двора за конюшней с листом, на котором было пятьдесят имён. Сын был на стене. Сын видел, кто бежит к посаду. Сын не видел двадцати шести лет — ни мёда, ни весов, ни того, как сотник Ахплат ставит кадку правой рукой, потому что левой держит ребёнка, пока жена считает.

— Мои чуаш землю копают, — сказал Бахтияр.

Сын поднял голову.

— Там — мосты. Здесь — ров. — Бахтияр взял ложку. — Мои луговые копают ров. Мои чуаш мостят мосты. Все копают. — Он подумал. — Я вот сижу у рва и считаю, сколько накопили. Тоже, выходит, копаю.

Сын помолчал. Потом засмеялся, одним горлом.

— Ты всегда так, — сказал он. — Всё у тебя одно и то же.

— Всё и есть одно и то же, — сказал Бахтияр. — Только считают по-разному.

Жена у котла ничего не сказала. Она собрала пустые миски и понесла мыть, и Бахтияр видел, как она остановилась у колодца и постояла, держа миски, и потом стала мыть.

Ночью, когда сын ушёл спать, жена села рядом с Бахтияром на колоду у колодца. Она редко садилась рядом — всегда было что делать, — а тут села и сложила руки на коленях.

— Дочь не поедет, — сказала она. — Сегодня приходила. Родня мужа говорит — за стеной надёжнее.

— Может, и надёжнее, — сказал Бахтияр. — Стена крепкая.

Жена помолчала.

— А сына? — спросила она.

Бахтияр смотрел на колодец. Вода в колодце стояла низко: лето было сухое.

— Он не поедет, — сказал Бахтияр.

— Ты его спрашивал?

— Не спрашивал. Я знаю.

Жена кивнула. Она тоже знала. Она посидела ещё, потом встала, взяла ведро, которое стояло у колодца пустое, опустила его в колодец и вытащила, полное, и понесла в дом, хотя в доме воды было довольно. Бахтияр слышал, как она поставила ведро у печи и как долго ничего не делала.

* * *

В пятницу, после молитвы, *сеид* «потомок Пророка» говорил у мечети.

Бахтияр стоял во дворе мечети, в толпе, у стены. Толпа была такая, что во двор не все вошли, и люди стояли за воротами, на улице, и влезали на заборы. Посадские, купцы, *шакирды* «ученики медресе» в белом, ногаи в войлочных колпаках, беки со своими людьми. Сеид говорил с крыльца. Голос у него был высокий и сильный, и слышно его было далеко, дальше, чем видно.

Он говорил о городе. О том, что город стоит сто лет и двести. О том, что Аллах не оставит тех, кто не оставит Его. О том, что русские придут — и уйдут, как уходили раньше, — а город будет стоять. О том, что кто уйдёт из города сейчас, тот уйдёт от своих отцов.

Бахтияр слушал. Он слышал такие слова и раньше: в других годах, при других ханах, перед другими русскими. Русские приходили и уходили. Город стоял.

Он смотрел не на сеида, а на людей. На их лица. Лица были такие, какими бывают лица у людей, которые уже решили и слушают только затем, чтобы им подтвердили. Никто не спорил. Никто не уходил.

Город решил стоять.

* * *

Через три дня писец дивана принёс ему лист.

— Подпиши, — сказал писец.

Бахтияр взял. Лист был длинный, в два столбца, и на нём были имена — посадские люди, с улицы, с его улицы и с соседних, — кто пойдёт на стену, когда придут русские. Не в караул, как сейчас, по очереди, — а на стену, насовсем, до конца. Против каждого имени — к каким воротам. Список составил старший улицы, а Бахтияр, как старший писец улицы, должен был подписать, что верно.

Он читал. Он всегда читал, прежде чем подписать, — каждую строку, от начала до конца.

Соседа он знал. Водоноса знал. Гончара. Двух кожевников. Шакирдов из медресе, которых сосчитал однажды, когда давали милостыню. Сына соседа, пятнадцатилетнего.

Своего сына.

Имя сына стояло в правом столбце, одиннадцатым сверху. Отцово имя — его, Бахтияра. Улица. И против — «к Арским воротам».

Бахтияр смотрел на строку. Строка была ровная. Писал её не он — старший улицы, у которого почерк был хуже, и буквы шли вкось, — но строка кончалась там, где надо, и в ней было всё, что полагалось: имя, отец, улица, ворота. Ничего лишнего. Ничего не пропущено.

Писец ждал.

— Верно? — спросил писец.

— Верно, — сказал Бахтияр.

Он взял калам, обмакнул и внизу листа, под двумя столбцами, написал своё имя. Ровно. Буквы вышли ровные. Он подул на лист и отдал.

Писец свернул лист и ушёл.

Бахтияр сидел на колоде во дворе и смотрел на свою руку. Правый указательный палец был в чернилах, как всегда, и чернила уже высохли.

Потом он встал и пошёл к Арским воротам.

Он не знал, зачем идёт. Ноги пошли. Он вышел со двора, повернул налево, мимо соседских ворот, мимо колодца, мимо бани, по Арской улице, мимо мечети, мимо лавок, которые стояли закрытые, — и считал шаги. Он ходил этой улицей сорок лет, в мечеть, к колодцу, на торг, и ни разу их не считал. Теперь считал.

У ворот он остановился. Ворота были закрыты, над ними на стене стояли люди, караул, и один из них — не его сын, чужой — смотрел вниз, на Бахтияра, и не понимал, что старик тут делает.

Шагов вышло четыреста двенадцать. Он запомнил.

Потом повернулся и пошёл обратно и насчитал четыреста десять, потому что обратно срезал угол у бани. Он подумал, что надо бы запомнить второе число, а не первое, — короче. И запомнил первое: своим шагом, без срезанных углов.

Вечером сын пришёл со стены, в пыли, со ссадинами на руках, с ханской саблей на боку, и сел под навес, и жена поставила ему миску. Бахтияр смотрел, как он ест.

— Ты что? — спросил сын.

— Ничего, — сказал Бахтияр.

— Смотришь.

— Ешь медленнее, — сказал Бахтияр. — Подавишься.

Сын засмеялся и стал есть медленнее. Бахтияр взял свою ложку и тоже стал есть. Медленно, как всегда. Жена за тридцать лет перестала его торопить.

Глава 23. Хлеб слаще калача

Айвика. Дорога на город; город на Сёве, 13 августа 1552 года

Хлеб пекли два дня, во всех печах *Ѕăлкуç* «Родника», какие уцелели, и в *Анаткасси* «Нижнем конце».

Пекли по-своему. Тесто ставили с вечера на старой закваске, которую каждая хозяйка держала в своём горшке и никому не давала, а если давала — то соседке, с которой дружила, и это считалось как подарок. Месили до света. Сажали в печь на капустных листьях, чтобы низ не пригорал и пах. Вынимали, смачивали верх водой, чтобы корка блестела, и заворачивали в холстину, пока тёплый, и складывали на телеги, как складывают снопы, — рядами, один к одному.

Айвика пекла так же. Двадцать пять лет назад, когда она пришла из-за Волги, она пекла по-своему, по-луговому, и свекровь ничего не сказала, а на другой день поставила рядом с её хлебом свой, и отломил от обоих, и дала сыну. Сын съел оба и сказал, что вкусно. Свекровь посмотрела на невестку. На третий день Айвика пекла, как свекровь. С тех пор так и пекла, и закваску держала свекровину, и когда соседки говорили, что у сотниковой хлеб лучше всех, она не спорила, но знала, чей это хлеб.

— Чей хлеб везём? — спросила вдова Элмена, укладывая свои караваи на Айвикину телегу, потому что своей телеги у неё после пожара не было.

— Наш, — сказала Айвика.

— Им скажут — черемисский.

— Пусть говорят, — сказала Айвика. — Черемиса — это я. А хлеб — ваш.

Вдова засмеялась, первый раз за лето.

Телег было семь. Бабы, подростки, двое стариков. Мужики были на мостах — чинили настилы после обозов, — и когда их отпустят, никто не знал. Айвика ехала на передней. На коленях у неё сидел внук — дочь осталась дома с поздней рожью на дальнем поле, а внука отдала: «Пусть посмотрит город». Внук держал в кулаке деревянную лошадку, которую ему вырезал дед, и смотрел на дорогу.

* * *

Город было слышно раньше, чем видно.

Шум шёл над лесом, ровный, низкий, как шумит вода на мельнице, только без перерыва. Потом, когда выехали на высокий берег, стал виден дым — не один, как весной, из труб, а сотни дымов, над горой, над лугом, над водой, и все они сливались в одно серое облако, которое висело над городом и не расходилось.

Потом стал виден город.

Айвика знала его пустым и больным, весной, когда возила ягоду. Теперь его не было видно за шатрами. Шатры стояли везде: на лугу под горой, на склонах, у воды, на том берегу *Сёве* «Свяги», — белые, серые, пёстрые, с флажками, с конскими хвостами на шестах. Между шатрами — кони, тысячи, стояли на привязи, паслись, ржали. Телеги. Пушки — Айвика видела их издали, длинные, чёрные, на колёсах, и возле них людей, которые что-то делали с ними, как делают с конём. Костры. Люди.

Людей было больше, чем она видела за всю жизнь. Больше, чем во всех сёлах, какие она знала, вместе.

— *Кинем* «бабушка», — сказал внук. — Это кто?

— Войско.

— Чьё?

Айвика подумала.

— Царёво, — сказала она.

Внук посмотрел на войско долго, с тем выражением, с каким смотрел на реку в половодье.

— Много, — сказал он.

— Много, — сказала Айвика.

Запах дошёл до них, когда спустились к лугу. Дым, конский навоз, каша, пот, кожа, железо, отхожие ямы — запах тысяч людей, которые стоят на одном месте неделю. Бабы на задних телегах прикрыли носы концами *сурпанов* «покрывал замужних». Айвика не прикрыла. Она правила.

* * *

Торг был у ворот, на лугу, между шатрами и стеной.

Его не ставили — он встал сам, как встаёт торг везде, где много людей и мало хлеба. Телеги с Горной стороны стояли рядами: суварские, мурзины, из русских сёл с Суры. С телег продавали хлеб, крупу, мёд, сало, лук, репу, яйца в корзинах, живых кур в плетёнках. Покупали ратные — стрельцы, казаки, дети боярские, их слуги, — подходили к телегам, щупали, нюхали, спрашивали цену и платили.

Платили много. Айвика поняла это сразу, по тому, как торговались соседние: не торговались. Называли цену, и ратный доставал из кошельа деньги и отсчитывал, морщась, и брал.

Айвика поставила телеги рядом, развязала холстины, открыла хлеб. Запах пошёл — тёплый ещё, с кислинкой, с капустным листом, — и к телегам сразу подошли.

Первым подошёл стрелец, молодой, в красной шапке, с пищалью на плече. Взял каравай, понюхал, подержал на ладони.

— Почём? — спросил он по-русски.

Айвика поняла. Этому слову её тоже научили, весной, в городе.

Она назвала цену — по-русски, словами, которым её научил Истома на лавке, когда выкладывал ягоды в ряд. Цену она придумала сама, по дороге: вдвое против того, за что продали бы хлеб на торгу в *Хусан* «Казани» в хороший год.

Стрелец покачал головой и сказал что-то. Айвика не поняла, но поняла, что много.

Она не уступила. Она стояла у телеги, высокая, выше стрельца на полголовы, в луговой рубаше с красным узором и в суварском сурпане, и держала каравай, и смотрела на стрельца сверху.

Стрелец постоял. Потом полез в кошель.

Он отсчитал ей на ладонь деньги — маленькие, серебряные, неровные, тонкие, как рыба чешуя, каждая с ноготь мизинца, с каким-то знаком, который она не разобрала: всадник, что ли, с копьём. Айвика смотрела на них. Она никогда не держала в руках московских денег. В сотне их не было ни у кого, кроме сотника: царские деньги лежали у него в сундуке, в холщовом мешочке, и Айвика видела мешочек, но развязывать его не развязывала — сотник их не тратил, берёг, сам не зная на что.

Стрелец взял каравай и ушёл, отламывая на ходу.

Айвика сжала деньги в кулаке. Они были лёгкие. Так мало весили, что она разжала кулак и посмотрела, не выронила ли.

* * *

К полудню у неё в кулаке была горсть.

Она сыпала деньги в тряпицу, завязала узлом и положила за пазуху, и потом снова развязала и пересчитала, по-своему, про себя. *Лу, коло, кумло* «десять, двадцать, тридцать». Больше,

чем она думала. Меньше, чем, наверно, стоило бы, если бы она знала, сколько стоит хлеб у русских. Она не знала. Она брала, сколько давали, когда давали по её цене, и не уступала, когда не давали.

Она сидела на телеге, держала узелок и думала про свекровину монету.

Одну гнутую серебряную монету, с чужим письмом, которую свекровь носила на *хушпу* «шапке замужней» пятьдесят лет, и её мать до неё, и её бабка, — сотник отдал в городе за строку в бумаге. За одну строку, в которой было написано не то, что он сказал. А она сегодня отдала полтелеги хлеба — своего хлеба, суварского, свекровиноного, два дня у печи, — и за это ей дали горсть вот этих, чешуйчатых, лёгких.

Она не могла сложить одно с другим. Монета — одна, тяжёлая, гнутая. Эти — тридцать, лёгкие, ровные. Строка в бумаге — одна. Хлеб — полтелеги.

Она завязала узелок и убрала за пазуху. Внук спал на мешках, сунув лошадку под щёку.

* * *

Потом подошёл дворянин.

Айвика поняла, что это не стрелец и не казак, — по тому, как он был одет, и по тому, как шёл: в кафтане с золотыми пуговицами, в шапке с меховым околышем, с саблей в ножнах, обтянутых зелёным бархатом. За ним шёл слуга. Дворянин был немолодой, с густой русой бородой, в которой была седина, и с усталыми глазами, и шёл медленно, глядя по сторонам, как ходят по торгу те, кто не считает денег.

С ним был Юшка.

— Айвика! — сказал Юшка по-суварски и помахал рукой, как старой знакомой. — Сотникова! Вот кто хлеб привёз!

Дворянин остановился у телеги. Посмотрел на хлеб. Сказал что-то слуге, и слуга взял каравай и подал ему. Дворянин отломил — не от края, а от середины, как ломают, когда хотят понять, какой хлеб внутри, — и положил в рот. Пожевал. Постоял.

Потом сказал что-то Юшке, длинно, и засмеялся.

— Он говорит, — сказал Юшка, — черемисский хлеб слаще калача. Калач — это у них такой белый хлеб, в Москве пекут, дорогой. Он говорит, ваш слаще.

Айвика посмотрела на дворянина.

Она не знала, похвала это или насмешка. Русские много смеялись, и не всегда было понятно, над чем. Дворянин стоял и жевал её хлеб и смотрел на неё, и глаза у него были усталые и немного насмешливые, и немного — нет. Бабы на соседних телегах замолчали и смотрели.

— Черемисский, — сказала Айвика.

— Он так сказал, — сказал Юшка. — Для них все, кто не русские и не татары, — черемиса.

— Скажи ему, — сказала Айвика, — что хлеб не черемисский. Хлеб — суварский. Пекли суварские бабы. Черемиса здесь одна — я.

Юшка перевёл. Дворянин поднял брови. Посмотрел на Айвику, на её рубаху с красным узором, на сурпан, на баб на соседних телегах в суварских рубахах, с суварской вышивкой по вороту, в суварских сурпанах. Сказал что-то.

— Он спрашивает, какая разница, — сказал Юшка.

Айвика подумала. Потом сказала по-своему, по-луговому, громко, чтобы слышали бабы: — *Пондашан — ушан огыл* «С бородой — ещё не с умом».

Юшка засмеялся раньше, чем перевёл. Потом перевёл.

Дворянин посмотрел на неё — и захохотал. Громко, запрокинув голову, так что шапка чуть не слетела, и схватился за бороду обеими руками, как будто проверял, на месте ли. Бабы на телегах засмеялись следом, все разом, и вдова Элмена смеялась так, что у неё слёзы пошли, и

слуга дворянина засмеялся, и стрельцы у соседней телеги, которые не поняли ни слова, засмеялись тоже, глядя на дворянина.

Дворянин отсмеялся. Вытер глаза. Сказал что-то Юшке и полез в кошель — не слуге велел, а сам полез.

— Он говорит — правильно говоришь, — перевёл Юшка. — Говорит, у него в полку бород много, а ума — как у тебя в одной телеге. Берёт всё. Всю телегу.

Дворянин отсчитал ей деньги сам, в ладонь, не торгуясь. Больше, чем она просила. Айвика не стала отдавать лишнее. Она подумала, что это за шутку, и что шутка стоила.

Слуга забрал хлеб. Дворянин отломил ещё кусок от того каравая, что держал, и пошёл дальше по торгу, жуя, и один раз оглянулся на Айвику и покачал головой, и засмеялся снова.

— Кто это? — спросила Айвика Юшку.

— Князь какой-то, — сказал Юшка. — Воевода, что ли. Их тут как грибов. Я при нём сегодня толмачом. Он всё ходит, всё пробует. Говорит — надо знать, чем войско будет сыто, когда за Волгу пойдём.

— Когда пойдёте?

— Завтра, говорят. Или послезавтра. Как государь скажет.

* * *

Колокола ударили после полудня.

Сначала один, в городе, на соборе, — тяжёлый, низкий. Потом второй, выше. Потом все, сколько их там было, — и звон пошёл над городом, над шатрами, над лугом, над водой, и люди на торгу перестали торговаться и повернули головы.

— Что это? — спросила Айвика.

— Государь, — сказал Юшка. Он вдруг заторопился, стал поправлять шапку, кафтан. — Государь едет. В город. Мне к князю надо. — И убежал.

Толпа на торгу качнулась к воротам. Люди бросали телеги, лавки, котлы — и шли, бежали туда, к дороге, что вела от реки в город, через ворота, мимо собора. Стрельцы побежали. Казаки. Мужики с Суры. Бабы с соседних телег слезли и пошли тоже.

Айвика не пошла. Она встала на телеге, во весь рост, держа внука за руку, и смотрела поверх голов.

С телеги было видно. Она была высокая, а телега — ещё выше.

По дороге от реки шли конные. Много, в ряд, по четыре, в блестящем — в кольчугах, в шлемах, в шапках с перьями, — и над ними знамёна, большие, с золотом, и ветер разворачивал их и сворачивал снова. За ними — ещё конные. И посередине — один, на белом коне.

Она поняла, что это он, по тому, как люди у дороги падали на колени, когда он проезжал. Волной. Проезжал — и падали, проезжал — и падали, и шапки снимали, и крестились, и кто-то кричал что-то, одно и то же, много голосов.

Конные остановились у собора — деревянного, высокого, с луковицами. Всадник на белом коне сошёл с седла. Ему подали руку — он не взял. Сошёл сам.

Айвика смотрела.

Он был высокий. Худой. В длинном тёмном кафтане с золотом, тяжёлом. Он стоял у собора, и люди вокруг него расступились, и он снял шапку — высокую, с мехом, — и держал её в руке, и смотрел на двери собора, на кресты. Волосы у него были светлые, стриженные в кружок. Борода — небольшая, рыжеватая. Лицо молодое.

Совсем молодое. Айвика смотрела на это лицо издали, через головы, через сто шагов, и думала: молод. Как наши женихи. Как парни, которые у них осенью ходят свататься, в новых рубахах, в первый раз с бородой, и стоят у ворот, не зная, куда деть руки.

Он постоял с шапкой в руке. Перекрестился. Потом пошёл в собор, и за ним пошли, и двери закрылись.

Люди вокруг стояли на коленях.

Соседка, вдова Элмена, стояла на коленях у телеги, на земле, и крестилась, как крестились русские, неумело, не с той руки. Она не была русской веры. Она видела, как делают другие, и делала.

Айвика не знала, надо ли. Она стояла на телеге с внуком. Потом посмотрела на вдову, на людей вокруг, — все стояли на коленях, во всю ширь торгового двора, до самых шатров, — и слезла с телеги, и встала на колени рядом с вдовой, на траву. Внука поставила рядом. Внук тоже встал на колени, потому что встала бабушка, и держал лошадку.

— Киними, — прошептал внук. — Это кто был?

— Царь.

— Который дедушке хлеб дал?

— Тот.

Внук подумал.

— Он молодой, — сказал он.

— Молодой, — сказала Айвика.

Больше она его никогда не видела.

* * *

Когда поднялись и толпа разошлась по торговому двору, мимо телег проехал Истома.

Он ехал верхом, шагом, с двумя стрельцами, по краю торгового двора, и смотрел по сторонам, и увидел её. Остановил коня.

Он был худой ещё, но не такой, как весной. Лицо было не жёлтое. Рыжая борода выросла ровнее. Он сидел в седле прямо.

Он снял шапку и поклонился с седла. Ей. Сотниковой жене, луговой, в сурпане, у телеги с хлебом. Стрельцы за ним переглянулись.

— Авика, — сказал он.

Потом сказал что-то ещё, медленно, по-русски, ломая слова так, чтобы ей было легче понять, — показал на свой рот, на зубы, и сказал «ягода», и «кислая», и «помню». Айвика поняла. Помнит ягоду.

— Сосна, — сказала она по-русски. — Пей.

Истома засмеялся и закивал. Показал рукой — пью, пью.

Потом увидел внука, который стоял у колеса и смотрел на него, задржав голову. Истома полез за пазуху, достал что-то маленькое, медное, наклонился с седла и протянул внуку. Медную монету, маленькую, круглую, стёртую.

— На зубок, — сказал Истома по-русски.

Внук посмотрел на монету, потом на Айвику. Айвика кивнула. Внук взял. Он сжал монету в кулаке, в том, где не было лошади, и спрятал кулак за спину.

Истома засмеялся, надел шапку, тронул коня и поехал дальше, к воротам. Один раз оглянулся.

* * *

Весть пришла к вечеру, с Юшкой, который вернулся к телегам за оставленной шапкой.

— Завтра переправляются, — сказал он. — Через Волгу. Всё войско. На тот берег, к Казани. И ваши с ними — сотни с Горной стороны. Все, кто на мостах. Им уже послали сказать.

— И мой?

— Твой — первым, — сказал Юшка. — Истома — ему голова. Истома уже спрашивал, где он. — Он посмотрел на неё. — Ты езжай домой. Тут тебе ночевать нечего. Тут ночью такое будет — не уснёшь.

Айвика стала грузить телеги.

Телеги были пустые. Холстины она свернула и положила под сиденья. Корзины — одну в другую. Узелок с деньгами — за пазухой, она потрогала его через рубаху, на месте. Бабы грузились тоже, молча. Вдова Элмена считала свои деньги и сбивалась и начинала снова, и Айвика подошла и посчитала за неё, по-своему, про себя, и сказала вслух — по-суварски.

Выехали, когда солнце садилось.

* * *

На развилке, у ручья, в сумерках, навстречу им шли свои.

Айвика увидела их издали: конные и пешие, кучками, по десяткам, с топорами на плечах, с луками, с котлами на телегах. Сотня. Шли к городу. Впереди на буланом рослом мерине ехал сотник, в кольчуге.

Она остановила телегу. Он подъехал.

Он был чёрный от смолы и загара, и руки у него были в ссадинах, и на скуле — комариные укусы, расчёсанные до крови. Кольчуга на нём сидела криво: затягивал, видно, кто-то не так.

— Продала? — спросил он.

— Продала.

Она полезла за пазуху, достала узелок, протянула ему.

Он посмотрел на узелок. Не взял.

— Себе оставь, — сказал он. — Тебе зиму.

— А тебе?

— Мне там не на что, — сказал он. — Там не торгуют.

Она убрала узелок обратно.

Внук проснулся, увидел деда, протянул к нему руки. Дед наклонился с мерина — неловко, кольчуга тянула — и потрогал внука по голове. Внук разжал кулак и показал медную деньгу.

— Мне дали, — сказал внук. — Русский. Рыжий.

— Истома, — сказала Айвика.

Сотник посмотрел на деньгу и ничего не сказал.

За сотником, в сумерках, среди пеших, Айвика увидела зятя — он шёл с топором на плече и смотрел на неё, и она кивнула ему, и он кивнул. Увидела Ильмука с перевязанным плечом. Бортника. Кашманова сына. Анчика она не увидела.

— Анчик где?

— В городе. — Сотник помолчал. — Ходил на ту сторону. С казаками. Вернулся. Коня потерял. Живой.

Айвика кивнула.

— Кольчугу поправить? — спросила она.

— Поправь.

Она слезла с телеги. Он слез с мерина, стал рядом, и она расстегнула ремни, один и другой, и затянула снова, как надо, упираясь коленом, в сумерках, у развилки, и мужики сотни стояли вокруг и ждали, и никто ничего не говорил. Он охнул, когда она затянула второй.

— Держит, — сказала она.

Он сел на мерина. Посмотрел на неё сверху. Хотел, видно, что-то сказать — и не сказал. Тронул мерина. Сотня пошла мимо телег к городу — десяток за десятком, — и Айвика стояла

у телеги и считала их про себя, по-своему, как шли. *Нылле куд* «сорок шесть». Нет, сорок пять: одного нет, Анчик в городе.

Потом села на телегу и поехала домой.

* * *

Домой приехали затемно. Но до того, как стемнело совсем, дорога шла мимо дальнего поля за оврагом.

Айвика остановила телегу.

Рожь стояла. Дочь дождала её не всю — треть осталась, дальний угол, у леса, — и эта треть стояла в сумерках ровная, высокая, тяжёлая, со склонёнными колосьями, и ветер шёл по ней от леса к оврагу, и она ходила волнами, как вода.

Никто по ней не проехал. Ни казанские прошлым летом, ни русские этим. Ни одного следа копыта, ни одной колеи, ни одного вытоптанного круга. Весь год по этой земле ходили войска — туда и обратно, те и другие, — а сюда не зашёл никто.

Айвика смотрела на рожь. Внук спал на мешках с лошадкой под щекой и с медной деньгой в кулаке. Бабы на задних телегах тоже остановились и смотрели, куда смотрит она, и не понимали, что она там видит.

Она смотрела, пока не стало совсем темно и рожь не слилась с лесом. Потом взяла вожжи и тронула коней.

Час

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.